

Виктор Коротаев • НА СВИДАНИЕ

повесть и рассказы



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1978

ЗОЛОТОЕ ДОНЫШКО

повесть





Миша открыл окно и, перегнувшись через подоконник, дотянулся до веток ближнего тополя. Желтые прохладные листья еще хранили недавнюю упругость и силу. Но зеленый свет внутри едва мерцал и на глазах исцеливал.

Утро стояло солнечное и тихое. Было слышно, как на соседней колокольне ворковали голуби. Миша потер лицо руками и улыбнулся: от ладоней до сих пор вкусно пахло жареными пирожками, которыми он лакомился вчера вечером.

Студенты Мишиного курса, как самые старшие, жили на третьем этаже: он считался привилегированным и довольно тихим. Общежитие было деревянное, старое и с такой копмарной слышимостью, что если под окнами проезжала телега или самосвал, то казалось, что транспорт катится по коридору.

Ребята жили теперь по трое, бессились меньше, но гадели часто до полуночи и порядком обленились. Комнату подметали раз-два в неделю, а иногда по две недели вообще не мели, хотя уговор требовал делать это ежедневно. Мишину коммуну давно расселили. Стало не так тепло, но бывшие соседи по комнате жили за стенкой и никак не могли обходиться друг без друга — поминутно на-ведывались то за одним, то за другим.

Спали подолгу и просто объясняли свою лень: «Когда я сплю, я ем». Чтобы утром не мешал уличный шум, с вечера наглоухо закрывали форточки, задергивали занавески, а о погоде безошибочно судили по температуре воды в кранах: если текла холодная — на улицу без шапки не выглядывай, если теплая — можно идти в плаще.

За вино администрация сурово карала, но, когда перед стипендией падал жизненный тонус, непременно под кроватями и шкафами отыскивался десяток запыленных и порожних бутылок, которые можно было сдать и тем самым скрасить унылую пору безденежья.

Миша Колябин встал сегодня раньше всех, умылся, посмотрелся в мутное зеркало, что висело над этажеркой,

и отправился в столовую один. Проходя мимо сверкающих витрин булочной-кондитерской, он обычно замедлял шаг и осматривал свою статную фигуру. «А что? Ничего!» — подумал он и на этот раз удовлетворенно.

В столовой, которую студенты именовали «рабоче-крестьянской», кормили не всегда вкусно, зато всегда дешево.

Когда он брал котлету, знакомая пухленькая девчушка на раздаче спрашивала у него из-за стойки:

— Вам с чем: с рожками или с капустой?

Он морщил нос и отвечал в таких случаях:

— Наполовину. — Выбирал в железном ящике вилку попримее, но все были с изогнутыми зубьями: вечно музыкам нечем было выковыривать туго заглаженные пробки из импортных бутылок.

Миша любил наблюдать, как люди ели за соседними столиками, здесь особенно зримо проступали их темпераменты.

Одни жевали торопливо, часто черпая ложкой, не задумываясь и не разбираясь в том, что им подали, будто куда-то спешили и не хотели терять так много времени на дурацкую необходимость набить желудок.

Другие ели, низко склонившись над тарелкой, не торопясь, сосредоточенно, точно решали сложную алгебраическую задачу. Сам он ел как человек, который не очень увлекается математикой и которому некуда особенно спешить.

Миша уже допивал свой чай, когда к нему подсел белобрысый однокашник Гошка Печников, из никольчан, как раз оттуда, куда Мишу Колябина направляли на годовую практику.

— Что вкушают служители Парнаса? — съязвил Гошка шепеляво, намекая на известную слабость Миши к стихописанию.

— Они кушают чай...

— Я бы советовал кофе. Чаю они успеют нахлебаться в Никольщине. Читал ваше последнее сочинение в нашей гуманитарной стенгазете.

— И что же? — в тон Печникову спросил Миша.

— Если вы хотите написать выдающееся стихотворение, то придется начать новое.

— Уже начал.

— Наверно, много сил потратили?

— Много, — признался Миша.

— И каков коэффициент бесполезного действия? Впрочем, трудитесь, трудитесь упорно, каждодневно. Глядишь, бронзовый памятник поставят.

— Мои формы неудобны для отливки. — Мишу увлекла эта словесная перестрелка. Они не были друзьями, но поизощряясь в остроумии оба любили, и это сближало их.

— Вы недооцениваете себя, Колябин. В вас столько добродетели, ума, чуткости, благодушия... Но почему-то блеск вашего стиха холoden.

— Кажется, вы хотите сделать мне комплимент, Печников, но путаете понятия. Поэт должен быть велико-душным, а не благодушным. А насчет холодного блеска... Так ли уж неприятен блеск луны или, скажем, звезд? И вообще, Печников, вы так меня расхваливаете, что, боюсь, сглазите. Дайте мне почувствовать себя человеком, а не бюстом. — Миша встал из-за стола. — Вынужден вас покинуть. Желаю приятного аппетита.

— Счастливой вам дороги, — отозвался Печников. — Я не буду вам писать, но я буду вас помнить!

...Декан неторопливо вошел в аудиторию с прямой откинутой спиной. Он так всегда ходил. Как будто поднялся только что с рабочего места, распрямил ноги, и они пошли из кабинета, а脊на, задержавшись, продолжала сидеть в кресле. За деканом следовали агитатор их группы и инспектор из облоно.

Декан поднялся на кафедру и начал говорить. Его шея убралась словно куда-то внутрь, и казалось, голова растет прямо из плеч. Но вдруг, чтобы разглядеть что-то впереди, он поднимал голову, и оказывалось, что шея у него растягивается, как пружина, и не такая уж она короткая.

Это наблюдение настолько увлекло Мишу, что он не рассыпал, когда декан задал ему вопрос:

— Я к вам обращаюсь, Колябин. У вас нет просьб? Ведь у вас самый отдаленный — Никольский — район. Мы можем связаться с роно и помочь устроиться получше, к более квалифицированному директору.

— Нет, нет, Павел Иванович! Пусть все остается по-прежнему. Я согласен ехать в любую школу. Только вместе с Силкиным.

Потом взял слово инспектор облоно Петр Капитонович Перерепенко. Миша знал его немного: одно время он работал директором их базовой школы, и ученики заглазно звали его Глобусом. Он действительно походил на глобус: тучный, приземистый, с наголо обритой и постоянно вращающейся головой; по бокам ее, где еще проглядывали корни волос, она синела, словно великие океаны, а середина была совершенно голой, потому что волосы там давно выпали и лысина сияла, как отполированная.

Инспектором Петр Капитонович был назначен недавно. Говорили, что с директорского поста его проводили скромно: обвиняли в формализме, намекали на недостаточность образования. А молодежь на практику теперь приходит грамотная, зубастая, нередко послужившая в армии и постоявшая у станка.

Он постоянно вступал в конфликт с этой молодежью, но в спорах чаще всего проигрывал, из-за этого злился, обижался и при каждом удобном случае старался выместить зло, хотя от этого легче не становилось: директорское кресло было потеряно навсегда.

Ну с кем чего не бывает! Теперь Перерепенко с воодушевлением трудился на новой должности. И вот сегодня он призывал всех студентов смелее смотреть на будущую работу: их ждут жаждущие знаний ученики. Педагогические коллективы с радостью примут новое пополнение, а в Вологодской области много живописнейших уголков, и школы именно там всегда и располагаются...

Много еще душевных слов он произнес, но закончил деловито:

— Еще раз хочу всех предупредить: не считайте, что вы практиканты. Вы едете работать на целый учебный год. По всей области не хватает учителей, и ваша годовая практика продиктована необходимостью. С вас будут спрашивать как с настоящих педагогов. С нашей стороны все будет сделано: вас встретят, устроят с жильем. Школа обязана обеспечить на зиму дровами. На колхозных фермах будут отпускать молоко. Зарплата пойдет полная. На зимнюю сессию вас вызовут через рено. По окончании практики каждый студент должен привезти характеристику. Без нее не будут приниматься госэкзамены. А отметка по педагогике будет выводиться из суммы теоретических и практических знаний с учетом характеристики. Так что старайтесь...

В дверь постучали.

— Минуточку, я в разобранном виде, — отозвался Миша и быстро впрыгнул в штаны. — Впрочем, если это мужчина, то пусть войдет.

— Это я, — в приоткрытую дверную щель просунулось узкое большеглазое лицо его младшего брата Игоря.

— А, князь? Входите. И простите, что я в декольте, — сказал Миша и заправил в штаны старую застиранную майку. — Не раздумал со мной ехать?

— Не-е...

— Ну смотри. Условия остаются те же. Будешь учиться в моем классе. Значит, с тебя двойной спрос. Да, да, да! Не хочу, чтобы думали, будто по блату пятерки ставлю брату, — сказал Миша и подмигнул. — Принимаешь условия?

— Ага!

— То-то. И чтобы у меня на уроках никаких улыбочек или ужимок. А то получишь по хихикалке. Понял?

Игорь последние два года жил с матерью под Москвой, в Черкизово. Александру Ивановну направили туда от производства учиться в институт местной промышленности. Она давно разошлась с мужем, собственный домик был продан, деньги прожиты. Миша поддерживал развод матери, поэтому решительно согласился жить в общежитии. Мать с Игорем тоже сначала поселились под Москвой в общежитии, но вскоре им пришлось снимать комнату — мальчик вырос, и женщины при нем не могли ни переодеться, ни поболтать.

Заниматься Александре Ивановне приходилось много. Она уставала быстро: возраст давал себя знать; поэтому ее с трудом хватало, чтобы по субботам просматривать дневник сына; а следить за его развитием по-настоящему не было времени. Игорь этим пользовался и скрашивал свой досуг, как умел. Соблазнов в столице оказалось достаточно, и он постоянно клянчил у матери деньги то на кино, то на лакомства и приучил ее к мысли, что не отвяжется, пока не получит своего. Мать сначала не уступала его капризам, потом не выдерживала и сдавалась с каждым разом все быстрее.

В летние каникулы семья Колябина собиралась вместе в домике бабушки Катерины, матери Александры Ивановны. Она жила тоже в Вологде. Миша, наблюдая за младшим братом, увидел, что столичная жизнь его изрядно избаловала. Недобрые изменения были налицо.

Игорь приехал из Москвы при галстуке (в тринацать-то лет), в сером клетчатом костюме; вместо челки носил «кок», нечто вроде стоящего торчком набриолиненного петушиного гребня, матери грубил, не стесняясь старшего брата. Она с горечью не то чтобы пожаловались Мише, но призналась, как не однажды замечала, что от Игоря попахивало табаком.

— Этого еще не хватало! А ты куда смотрела?

— Да что, Миша, я могу поделать. Он уже в седьмой класс перешел. Совсем большой стал. Перезнакомился с местными мальчишками. А среди них всякие есть. Где тут усмотреть. Я ведь и за тобой никогда не следила, однако ты не научился ни курить, ни ругаться, ни пить. А с нашим отцом ко всему можно было привыкнуть...

— Ну а зачем ты его так вырядила-то? К этому костюму сама собой просится гаванская сигара, не только что сигарета, — первничал Миша.

— Да что... пристал ко мне, говорит, у всех ребят есть такие костюмы. И прически, говорит, такие разрешаются. А если не куплю, грозится уехать к отцу. Вот и потолкуй с ним...

— Ну ладно. Я сделаю все, что он захочет — и не хуже паны. Я на нем испытую систему Макаренко, — грозно пообещал Миша.

С матерью договорились, что этот год Игорь будет жить в деревне, где Миша должен проходить педагогическую практику. Тем более что Александра Ивановна должна закончить институт, а младший сын требовал от нее слишком много внимания и времени.

Раньше летом Игорь гостил у бабушки в лесной деревушке Липовице. О том времени у него сохранились самые живые воспоминания: с купаниями, ловлей раков, грибными и ягодными походами, сенокосом... Он думал, что и на этот раз сумеет получить от деревни все ее удовольствия.

И вот теперь Миша расхаживал перед ним в линялой майке и, строго глядя на его клетчатый костюм, говорил:

— В сущности, я не против модной одежды. Я только против дисгармонии, то есть несоответствия между формой и содержанием. Если ты носишь такое платье, то должен и вести себя сообразно. Согласен?

Игорь кивнул головой.

— Поэтому, если ты обнаружишь недостаточное знание правил поведения в обществе (в чем я лично не со-

мневаюсь), я найду это соответствие... И не вздумай вя-
кать! Я достаточно ясно выражаюсь?

Игорь опять кивнул головой. Он был на все согласен. Во-первых, он знал, что брат только с виду такой строгий, но сейчас, под горячую руку, ему лучше не перечить. Во-вторых, со временем многое из продиктованных условий забудется. Нельзя же при такой тяжелой и нервной работе упомянуть все мелочи...

«Ничего, — думал Игорь, — там, в деревенской школе, наверное, такие ребятки попадутся, что я ангелом покажусь. И в-третьих, неужели я сам буду сидеть сложа руки и ничего не придумаю для своей защиты?»

— Что ты все головою киваешь! Скажи лучше, какие у тебя оценки по русскому и литературе?

— Четверки, — с некоторым вызовом ответил Игорь и приподнял одну бровь.

— Ладно, проверим их прочность.

Миша сидел над своим дневником, вести который как-то незаметно привык, и записывал: «...сентября 196... го-да.

Итак, мы в Никольске. Это и есть родина известного нашего поэта Александра Яшина. Раньше мне казалось, что знаменитые люди рождаются только в столицах, в пышных особняках, при ярком блеске зажженных огней и чуть ли не в белых манишках с бриллиантовыми булавками. Оказывается, нет. Вот здесь, среди бесконечных болот и лесов, возле широкой и чистой, но почти безвестной речки Юг поэтическая молния вошла в сердце простому деревенскому парнишке...»

Миша перечитал последнюю фразу и поморщился: «Опять потянуло на красоты». И уже проще и ровнее продолжал: «Игорь впервые летел на самолете и до сих пор не может очухаться от счастья. Сейчас они с Силкиным пошли поскрипеть здешними тесовыми мосточками. Никольск зовется городом, а напоминает большую деревню, где есть и своя столовая, и своя почта, и свой участковый. А в общем-то, хоть и большая деревня, а вывесок с названиями всевозможных учреждений действительно как в большом городе... Знают тут друг друга, видимо, все, потому что нас разглядывали с таким любопытством, словно мы прибыли из Персии на ковре-само-

лете. Все это вроде знакомо сызмальства, а не по себе: потывк в областном центре от подобного внимания.

Ждем заведующего рено. Он уехал с проверкой какой-то дальней школы. Приспичило ему! Сиди теперь и кисни в Доме крестьянина, корми клопов. До самого утра со спичками гонялся за ними. Одному Силкину все напочем. Травит бесконечно анекдоты и клопов защищает от нашей брани: мол, это же свои люди, в их жилах течет рабоче-крестьянская кровь. А сам все жмется поближе к пищеблоку. В столовой уже знакомств назаводил. А я затосковал не на шутку. Жду завтрашнего дня, как святого пришествия. Куда-то нас направит всемогущий заведующий народным образованием».

Василий Васильевич Пеньков работал заведующим рено много лет, но выглядел моложаво. Он усадил ребят напротив себя, обсмотрел их и пошевелил крупными, покрытыми какой-то серой пленкой губами. Он начинал лысеть, и спереди у него образовался острый мысок волос, который выглядывал из основной массы, как лодка из жухлой осоки.

— Ждали, ждали мы вас, молодые люди, — наконец заговорил он, — и местечки приготовили. Один поедет в Осиново, тут всего километров восемь, а другого можем даже в самом городе оставить. Вы сами решайте, кому куда лучше.

— Но мы просили деканат, — забеспокоился Мisha, — чтобы нас направили в одну школу. И нам обещали...

Силкин поддержал друга энергичными кивками головы: да, да.

— В одну школу... — протянул Василий Васильевич, — у нас не так уж хорошо с квалифицированными кадрами, чтобы одному директору дать сразу двух учителей...

— Но нам в институте обещали. Иначе бы мы поехали не сюда. Порознь были места и поближе. А мы сказали: если вместе — то хоть в медвежий угол.

Пеньков немного подумал, потом хитровато посмотрел на ребят и сказал:

— Хорошо, я отправлю вас вместе. Но смотрите, чтобы потом не жаловаться. Место называется Золотое донышко. Я сам не знаю почему, может, заодно и золотиш-

ком разживетесь. А деревня Заполье. Школа — восьмилетка. Я только что оттуда. Очень не хватает там молодых кадров. Бегут все. Вроде и дороги-то плохие, бежать неловко, — нет, все равно бегут. Особенно учительницы. Сейчас добраться туда можно только самолетом. Дороги до зимы теперь не будет. А там вас встретят на лошади. Я позвоню на Борковский аэродром, чтобы с почтальоном передали о вашем приезде. Но смотрите не обижаться потом...

— А что нам обижаться? Мы люди необидчивые. Лишь бы директор на нас не обижался, — сказал Коля Силкин.

Из рено ребята вышли довольные, и, пока добирались до аэродрома, к повеселевшему Силкину несколько раз подходили какие-то мужики, здоровались и заводили разговоры. Миша удивлялся:

— Ну, Силкин! И здесь успел со всеми перезнакомиться!

— Да нет, — отшучивался тот, — просто я из тех, с кем на улице часто здороваются прохожие, а потом извиняются, что ошиблись: уж очень похож на одного их знакомого.

Как только в Борке они вылезли из самолета, Коля побежал в служебную деревянную избушку узнать о подводе.

— Где самый главный начальник? — спросил он в окошечко у женщины-кассира.

— А у нас тут все главные. Вам чего?

— Да тут за нами должны карету прислать из Золотого донышка. Не слышали?

— Об этом ничего не знаю. Сходи спроси у радиста, он на поле пошел. Увидишь, в фуражке ходит.

Коля быстро отыскал радиста, молодого рыжебрового парня, посмотрел на его руку: не выколото ли имя? Нет. Придется знакомиться. Улыбнулся, кивнул головой.

— Здорово, друг. Как тебя зовут?

— Вениамином...

— Уй, как мудрено. Ну вот что, Веня, тут тебе должны были звонить из Никольска, из рено, чтобы учителей встретили на лошади. А то у нас чемоданы. С утра только молочка попили, самим не унести.

— Звонили, правда. Я передал с почтальоном. Только

вы скоро не ждите. Тут километров тринадцать будет и дорога худая.

— А ты ничем помочь не можешь? Вертолета у тебя нет?

— Да пока не выделили, — улыбнулся тот, — хотя, погоди, позову сейчас в Верховино, это вам по пути, нет ли у них трактора... — сказал Веня и пошел к избушке. Силкин ему явно понравился.

А Миша с Игорем зашли в лес и уже сорвали по несколько кисточек костяники. Лес был незнакомым, хвойным, густым, но нестрашным, потому что его изнутри освещали желтые березы.

Веня, как ни старался, ничего добиться не мог. На верховинский трактор больше не надеялись, а лошадь пришла только к вечеру. Парнишка-возница, сидевший в передке телеги, деловито нахлестывал ивой вицей по крупу лошади, высекая пыль и оставляя на нем темные полосы. Ни на кого не обращая внимания, он подъехал к крылечку и натянул вожжи.

— За нами небось? — спросил Коля Силкин у возницы. — За учителями?

Парнишка склонил голову и засмущался. Ничего не ответил.

— Ишь до чего застенчивый. В каком классе учишься?

— В пятом.

— Значит, конфеты есть еще можно. Держи... — и Коля протянул карамельку. — Бери, бери.

Они быстро уложили вещи, уселись на сено.

— Трогай!

Веня с крылечка помахал рукой.

— Если надо будет куда-нибудь лететь, так накажите с почтальоном. Я всегда билеты оставлю.

Дорога была глинистой и колеистой, минут через двадцать лошадь встала.

— Чего это она? — недоуменно спросил Игорь.

— Ей тяжело, всех не увезти. Она старая, — опять смущенно сказал возница и добавил: — Я бы слез, да у меня кожаников нету.

Учителя неохотно спрыгнули с телеги. Коля, недовольный, пробурчал:

— Чего уж, посильней-то не могли послать коня.

— А у нас в школе одна эта кобыла и есть, — отозвался парнишка.

Почти всю дорогу до деревни шли молча, высматривая место посуще и пологее для ходу. Однако перемазались изрядно. На душе повеселело лишь тогда, когда вдалеке сквозь фиолетово-черный сумрак простили слабые дрожливые огоньки.

И только тут ребята осмотрелись и перестали склонять головы и до ломоты в косицах вглядываться в развороченную колесами и гусеницами землю. Они замедлили шаг, а потом и совсем остановились. Вздыхая и покрякивая, разогнули уставшие от долгого напряжения спины.

Далеко впереди дотлевала неширокая полоска обессиялевшей зари, и ее света едва хватало, чтобы выделить в темноте лица ребят; но горизонт, подсвеченный сверху, оставался пока четко различимым, и еловые верхушки впечатывались в него строгой чернью.

Звезды были закрыты, и, хотя самих туч видно не было, по тяжелому и тревожному движению над головой и редким и слабым проблескам чувствовалось, что они плотны и громоздки. Шли они навстречу ребятам со стороны бледного горизонта, и, может, потому, что путники выбрались на самый гребень перевала, невозможно было не ощутить ширь и высоту вечернего простора. И единствено близкими и понятными в этом молчаливом, угрюмом безлюдье были жилые огоньки, светившие впереди как бы со дна огромного котлована, опоясанного со всех сторон темными далекими лесами. Казалось, этот растрепанный проселок был единственным путем туда и обратно.

— Действительно, Золотое донышко, — сказал вполголоса Коля.

— Как хорошо! — отозвался Миша. — Правда...

— И все-таки подождем выносить окончательное решение, — закончил Силкин.

...Проснулись они рано, в доме директора Николая Степановича Клушкина. На столе сопел самовар, около него стояли две тарелки, одна — с яйцами, другая — с пирогами. Жена директора, Галина Ивановна, осторожно ходила по кухне в старых подшитых валенках с кожаными союзками и передвигала ухватами чугуны на шестке.

— Проснулись? — сказала она радостно, заметив, что Коля смотрит на нее с постели. — А то спали бы еще.

— Мы боимся, как бы самовар не остыл.

— Подгорячили бы для таких гостей.

— Да гостями-то себя чувствовать долго, наверно, не придется. Когда на работу?

— Николай Степанович, кажется, поставил вас в расписание с понедельника. А сегодня воскресенье...

Николай Степанович, низко согнувшись под притолокой, вошел в комнату. На нем были кирзовыесапоги, темно-синий изрядно выгоревший пиджак и светлая мягкая шляпа. Темные глазки остро поблескивали из-под опущенных полей шляпы. Когда он ее осторожно снял, виднее стала нездоровая отечность вокруг глаз. Как будто его недавно ужалила пчела и опухоль еще не совсем спала.

Миша еще вечером заметил, что ходит он враскачу, согнувшись в пояснице. Так обычно ходят страдающие плоскостопием.

— Уговорил двоих, так что жилье вам обеспечено, — сообщил он не без гордости. — Кому-то даже малинник достанется. Одна у нас уборщицей работает, постеснялась отказаться.

— А что, видимо, не очень обрадовалась квартирантам? — полюбопытствовал Коля Силкин.

— Да как сказать... Жадность стала одолевать народ. Все мало. Школа им платит по три рубля в месяц, дровами снабжает, керосином. По надобности и лошадь иногда даем. Ну вы вставайте, хозяйка вас покормит, и приходите в интернат. Там кровати себе подберете.

— А что, Галина Ивановна, — обратился к хозяйке Коля Силкин, когда директор вышел, — вам приходится интернатом заниматься?

— Приходится. У нас ведь ребята учатся не только здешние. Многие из дальних деревень. Вон до Макарова пятнадцать километров, каждый день не станешь бегать.

— Это верно, — согласился Коля и подтолкнул Мишу. — Вот тебе и первые проблемы.

— У нас вся школьная программа подстраивается под местные условия, — продолжала Галина Ивановна.

— Как это?

— А так. В городских школах пришло двадцать третье марта — ребят распускают на весенние каникулы. А у нас они начинаются тогда, когда реки разольются.

— А почему так?

— Потому что водополица. Ученикам, которые живут за рекой, сюда не переправиться. Вот мы и подлаживаемся под природу.

— Понятно...

— Поживете — так многое еще понятнее будет, — улыбнулась Галина Ивановна. — А пока пошли за кроватями.

Весь школьный городок угнездился в полутора километрах от Заполья, по соседству с директорским домом, так что далеко идти не пришлось. Клушинский дом стоял в сторонке от школы, столовой, интерната, словно бы отвернулся от построек, но в то же время одним боковым окошком за всем приглядывал. Под интернат отошел старый, но еще крепкий пятистенок с длинными задами и высоким крылечком. В большой половине жили девочки. Кровати их были опрятно заправлены, в простенках красовались открытки с артистами кино и цветные журнальные вырезки.

Обстановка мужской половины выглядела суровей. Почти все одеяла — серого цвета. Салфетки на тумбочках в бурых и фиолетовых пятнах.

На койке возле окна сидел белоголовый мальчик в темном пиджачке и читал книжку. Практиканты сразу узнали вчерашнего возницу.

— Здравствуй, Вася Синицын, — сказал Коля Силькин, — а я думал, ты в деревне живешь. Что же ты со всеми ребятами домой не ушел?

Вася опустил голову, застеснялся и тихо сказал:

— Пашка мои кожанники надел, дак...

Директор пояснил:

— Он из дальней деревни, из Макарова. Идти далеко и сыро. А тут еще брат его, Пашка, подвел. Прыгнул с амбара на доски с гвоздями и сапог порвал, да еще перед самой субботой. Домой, конечно, сбегать охота, пирогов да сметанки у мамки поесть. Вот он вчера встал пораньше, надел Васину сапоги и удрал домой. Будет ему еще за прогул, — пообещал директор. — Ничего, Вася, он дома свои сапоги починит и твои к вечеру принесет. А тут походишь пока и в ботинках...

Но Вася вдруг скривил губы, и крупная слеза скатилась у него со щеки. Он смахнул ее грязным кулачком и выскоцил за двери.

— Ох, дети, дети! — вздохнул Клушин. — Ну ладно, пусть поуспокоится, а потом развезет вас по домам. Так выбирайте себе кровати, — снова обратился он к практикантам. — Любые берите. Все недавно куплены.

— Может, обойдемся тем, что есть у хозяек? — предложил Миша.

— Хозяйки могут дать только соломенный матрас.

— Да берите, — вмешалась Галина Ивановна. — Все равно десяти человекам кроватей не хватает. Приходится размещать ребят по колхозникам.

— Ну что же, вы нас утешили и убедили, — сказал Коля. — Теперь у меня не будет болеть сердце, что я кого-то ограбил...

...Когда телега с кроватями въехала в Заполье, из многих окошек высунулись любопытные. С некоторыми из них, особо беззастенчиво разглядывавшими новых учителей, Коля Силкин намеренно раскланивался, после чего высунувшееся лицо исчезало. Миша чувствовал себя очень неловко, поэтому совсем не смотрел по сторонам и делал вид, что сзади подталкивает телегу.

Вася остановил лошадь у незавидной избенки с тесовой, кое-где обомшелой крышей. Она стояла на горушке и, казалось, надтреснула посередине — одна половина поползла вниз, к огородам, вторая наклонилась к дороге и, поблескивая мутноватыми окошками, меланхолически смотрела в грязь, словно раздумывала: сунуться в нее сейчас или погодить.

— Что, Вася, вытряхиваться? — спросил Коля Силкин, но спохватился и поправился: — Слезать, что ли?

— Нет, ваши вещи Николай Степанович велел у Агриппины свалить.

В это время на крыльце вышла маленькая старушка, поздоровалась и весело стала помогать учителям разгружаться.

— Ой, сколь добра-то навезли! Полный угол будет, — засмеялась она и подхватила узел с одеждой и бельем.

— Вижу, у вас обойдется без единого выстрела, — подмигнул Коля Силкин Мише. — Теперь я спокойно пойду на приступ своей крепости.

«20 сентября 196... года

Кажется, мы устроились. Будем жить у двух сестер, старых дев. Эту квартиру нам с Игорем подыскал директор. Когда я спрашивал, где будем жить, он отвечал: «В малиннике. Правда, подзасохшем». Видимо, он имел в виду, что одной сестре под шестьдесят, а другой за сорок. Старшую зовут Марфой Никандровной, млад-

шую — Таиской. Обе они бобылки. Нам рассказала хозяйка Коли Силкина, бабка Агриппина, что у младшей жениха убили на войне и после него она не подпускала к себе никого, хотя к ней не однажды сватались. А Марфа Никандровна рано потеряла родителей и осталась в семье за старшую, заменила сестрам мать; пока была молода, не до замужества было, а подняла девчонок — сама состарилась. Да трижды горела. В чем, бывало, уйдет на сенокос, в том и останется. А на такое приданое раньше мужики не зарились. Одним словом, не сложилась судьба. Но они не унывают, особенно Марфа Никандровна.

Лицо у нее в морщинах а глаза голубые-голубые и голос тоненький, как у ребенка. Она почти не ходит шагом, а все бегает бегом.

Меня поразили ее руки, особенно пальцы — темные и расплющенные, как утиные носы. И кожа на них такая жесткая и сухая, что, когда Марфа Никандровна что-нибудь делает, они даже пощелкивают, потрескивают.

Но как она умеет говорить! Я давно не жил в деревне подолгу, и мне радостно слушать полузабытый, настоящий язык. Я даже ребят не поправляю, когда они в сочинениях используют диалектизмы.

А ребята у меня хорошие. Приняли душевно. Правда, хитрючие. Один встает и говорит:

— Михаил Васильевич, а правду говорят, что вы у нас будите бороду отращивать?

— Правда, — говорю, — только я сначала попробую, что у меня получится.

— А зачем она вам? — это уже другого заинтересовало.

— Не только, — отвечаю, — для фасону, но и по необходимости. Хозяюшка-то моя, Марфа Никандровна, то ли поскупилась свет в избу провести, то ли побоялась (дело ведь новое, вдруг взорвется), а я с собой из города электробритву привез, которая к керосиновой лампе не подключается.

— Так вы приходите к нам в деревню, у нас есть куда включаться.

— Ну, — говорю, — не будешь же к вам два раза на день ходить, у меня быстро борода растет, надоем.

— А вы к нам по очереди... — А сами смеются.

Жаль только, что не всех по именам запомнил. Но один точно — Пашка Синицын, который у Васи тогда сапоги утащил. Такой ерш! Говорит:

— Нам свет дали недавно, но и до этого в деревне только у стариков бороды помшю. Да и то не у всех...

Что тут возразишь? И мне с этим народом жить... Хорошо хоть есть еще класс помладше. Там только и отдохнуть. А тут держи ухо востро!

Конечно, инспектор облоно Перерепенко готовил нас к другой жизни. Он боялся студентам говорить всю правду — вдруг «заболеют» и пристроятся в городе. В деревню отправлял как на курорт. И хорошо сделали те, кто не слушал его медовых речей и взял с собой не только губную помаду и лакированные туфельки. Они-то как раз и оказались лишними в чемодане.

Почему нужно от людей скрывать правду? Ведь только когда до конца знаешь, на что ты идешь, у тебя появляется воля и цель, своя стратегия и дерзость, за что в конечном итоге и уважают люди, понимающие толк в хорошей работе. И мы гордимся собой, если знаем, что идем на трудное дело, а может, и на риск, и уже не бросить нам начатого, потому что совестно будет перед людьми за свою слабость.

Но, когда от человека скрывают тяжесть предстоящей работы, он идет на нее без запала и жалеет, что гробит силы на пустяковое дело, которому и внимания-то должного нет...

Миша передохнул, перечитал написанное и усмехнулся:

— Философ...

И дописал: «А в общем, здесь мне очень нравится».

...Миша Колябин не врал. Ему действительно полюбилась деревенская жизнь со всеми ее будничными хлопотами и неожиданностями. Успел он побывать и на празднике, но это не простой и привычный календарный праздник, а «Пиво». Мужики уговаривались, кто к какому юбилю или событию варит пиво. Созывалась на него почти вся деревня. Не ходили только либо совсем старые, либо неохочие до веселья и хмеля. Большого разорения праздник «Пиво» хозяевам не наносил, потому что каждый шел со своей корзиной, где заранее были уложены и вареные яйца, и пироги, и ошпаренная завозная треска, и бутылочка какого-нибудь зелья.

Гости встречали прямо у порога с подносом, па котором стояла стопка вина или стакан пива да кусок пирога. Это угощение называлось «выносник». Никто от него не смел отказываться. Не раздеваясь, нужно было выпить

и закусить, чтобы потом на все глядеть без удивления и осуждения.

Заполье часто оживлялось песнями, по еще чаще — пляской. На Никольщине не принято было бороться за круг, как в других волостях, где, если один пляшет, другой не выходит, а то схлопочешь батогом либо гирькой на медной цепи. В Заполье на круг выходил кто хотел, один за другим: попил, поел, поплясать захотел — пожалуйста! И никогда не вспыхивало пьяных драк и скандалов. Расходившиеся бабы зазывали плясать и мужиков, а кто не шел — силой вытаскивали и поднимали все вместе такую топотуху, что стены дрожали и пол прогибался; а со двора было видно, как из открытых форточек на морозную улицу валит густой пар.

У крыльца передко стояли кони, запряженные в санки: это гости из дальних деревень прикатили повеселиться. Порой во время веселья выйдет на крыльце какой-нибудь разгоряченный мужик в расстегнутой рубахе, подойдет к своей лошади, схватит ее за холку, поцелует в мягкую верхнюю губу и запечет ласковые глупые слова, а то неизвестно за что и поддаст нетвердой рукой, а потом снова погладит, чтоб не сердилась, и падает корму.

Полюбил Миша Колябин эти деревенские сборища, паных всегда зазывали учителей как первых гостей, и невозможно было уклониться от приглашений. Здесь все были на виду, добрые и удалые, счастливые и шумные; и жутко становилось ему, когда в разгар широкого и беспечного веселья вдруг охмелевшие мужики усядутся в углу за отодвинутым столом, и, не мешая пляшущим, разговорятся о своем житье-бытье, жалуясь на горькие, незаслуженные обиды, и, расчувствовавшись, заплачут от жалости к себе, а когда бабы вытащат их из-за стола на круг, хваля и успокаивая, мужики с еще влажными глазами пустятся в общий топот и забудут все, что еще недавно давило сердце, и не вспомнят про это до глубокой ночи; а потом опорожнят все графины и улягутся кому где приведется.

Не мог Миша на такое смотреть равнодушно, и чувствовал он, как его сердце раскрывается навстречу этим людям...

...Он спал чутко и каждый раз слышал, когда Марфа Никандровна, босая, еще затемно, подходила на цыпочках

к ходикам, чиркала спичку и смотрела время. Ходики были старые, тикали вяло, и для бодрости им на гирю нацепили еще ржавый замок.

Марфа Никандровна говорила, что часы было совсем перестали ходить, да Ванька Храбрый, сосед ее, починил. Храбрым его прозвали за то, что пять раз женился. Теперь он снова жил один, изредка забегал к Марфе Никандровне одолжить бутылочку.

Миша, слушая рассказ Марфы Никандровны о Ванькиных женитьбах, смеялся вместе с нею. С разговором о женитьбе Марфа Никандровна не однажды приставала и к нему, и к Силкину. Мише было неловко слышать это от нее. Он знал, что они с сестрой не вышли замуж потому, что у каждой были какие-то свои жизненные трагедии.

Начинала Марфа Никандровна обычно с Коли Силкина:

— Ты вот, Николай Иванович, уже в армии отслужился...

— Да, Марфа Никандровна, и эту академию прошел.

— Так с ружьем возился али писал где?

— Да на всех постах побывал.

— И на женитьбу не отважился, гли-ко...

— Да все не успевал, Марфа Никандровна. Я служил на флоте. Только соберусь, бывало, — опять корабль паруса поднимает, в море отходит. Так и живу без наследников, — отшутивался Коля.

— Неужто нигде семечка по ветру не пустил?

— Да все ветер дул не в ту сторону, не к родной земле, — схитрил Коля.

— По тебе вижу, что не промахнешься!

Коля двусмысленно похояхывал, а Марфа Никандровна вдруг вздыхала и говорила:

— Да, ребята, ионче надо осторожнее выбирать. Вон у нас были как-то шефки. Одна-то вроде ничего, ростиком небольшая, некорыстная такая. На нее помене и зарята, похоже. А вторая баба — палац, нигде не струсит. Мужики были с ними. Набрали вина, долго пили вечером. Эта, что побойчее, наравне с мужиками вино жорет. И уж так она упилася, так утвоздалася... А потом ее, дуру, всю-то ночь и тряпали, кто хотел... Не вынесло у меня сердце (на сарае они ночевали-то все), я и крикнула с мосту на мужиков, чтобы не нахальничали с бабочкой. Так она же меня оттуда матюком и перекати-

ла... А ведь еще совсем молоденькая. Да, нонешние девки и курят еще. Как-то и в песне уложено про куренье то девок... Ой, девки ноне худо гуляют... так и у робят нет прилежности из-за эдаких. Нет уж, вы берите со всеми достатками. Надо, чтоб и обойтись умела, слово ласковое сказать могла, но чтоб и не болтлива была. А то у иной, что на уме, то и на гумне. Верно я говорю, Михаил? — переключалась она на Мишу.

— Конечно, верно, Марфа Никандровна.

— А верно, так почему ж ты до сих пор без подружки? Какую бы и подхватил! У всех есть, а у тебя нет. Ведь ты не в крапиве найден, не хуже всех. Неужто на белом-то свете нет тебе по аппетиту? Смотри, всех хороших разберут, не озевай. Не то вкусные годы пройдут... А что тогда? Жизнь педолга. А на путевеньку нарвешься, так и времени не хватит пожить-то хорошо. И в городу можно бы поискать. Говорят, одна головешка гаснет, а две разжигаются. Может, и хорошая выладится.

— Да мне ведь еще институт кончать, Марфа Никандровна, какой я жених? — развел Миша руками.

— Это ничего, ничего. Вон у нас Василий Егорович тоже на молодюсенькой женился. Парень к колышку прививался, а теперь на дом крышу железную надел. И ты бы так... Я бы тебе и невесту нашла... — Она хитро посмотрела на Мишу. — Ой, я с ней как-то в бане однова мылась. Вкусная девка, робята. Берите, не зевайте. А уж одета во звон! Но ведь вы все видите-то тех, которые подолом во все стороны трясут да язык дальше всех выпеливают. А эта девка смирная. Три года парня из армии ждала, а он домой не вернулся: в городу остался. И за ей не приехал. Вот она одна теперь и кокует, и не гуляет ни с кем. Да ты ведь ее видывал, Михаил. Настято, фершелицу. Сам ведь мне сказывал, что нагляделся девки.

Миша и вправду видел ее. Недавно пришлось ему везти в борковскую больницу своего ученика с аппендицитом, того самого Васю Синицына. Ехать надо было далеко, тринадцать километров. По дороге Миша горько усмехался, что и вправду несчастливое это число. В одну сторону едва добрались, и в другую приходится ехать без особой радости.

Вася лежал тихо, только изредка постанывал. На ногах надеты те самые сапоги, из-за которых было столько слез.

Телегу тряслось, и на каждой ямке Вася молча стискивал зубы и закрывал глаза. «Какой все-таки парнишка! Ведь совсем еще ребенок, а уже такое мужество. Как в деревне быстро взрослеют дети», — думал Миша.

Сена было положено в телегу много, но, пока они ехали по расхлябанной дороге, оно слежалось, и Васю тряслось, добавляя страданий. Как он ни крепился, голова беспомощно моталась на тонюсенькой цыплячей шейке. У ближайшего стога Миша остановил лошадь, положил по бокам телеги свежего мягкого сена, дал Васе отдохнуть немного, и снова тронулись в путь. Надо было торопиться.

Больница оказалась неподалеку от аэродрома. Когда Миша подъезжал к ней, с крылечка спускалась молоденькая девушка, видимо, сестра. Миша сам не сразу понял, почему он решил, что это именно медсестра. Наверное, потому, что она была удивительно чистая, опрятная, с внимательными глазами и строгим лицом. Похоже, что каждое утро она чисто-чисто умывается родниковой водой и обязательно с душистым мылом, казалось, и сейчас от нее исходил его аромат; и конечно, старательно и долго натирает порошком и без того белые зубы; а потом перед зеркалом тщательно причесывает тяжелые русые волосы, придирчиво оглядывает себя, хмурится, если заметит на платье прицепившуюся ворсинку. В осанке девушки чувствовались не только сила и стройность, но и какое-то природное достоинство.

Именно такими спокойными и строгими представлял себе Миша врачей, и ему всегда почему-то хотелось называть их докторами. Но девушка была слишком молода для такого звания.

Около подводы она остановилась, узнала Васю и склонилась над ним:

— Васенька, что с тобой? — Она погладила мальчика по голове.

Вася не ответил, хотел улыбнуться, но из этого ничего не вышло. От слабости и обиды он всхлипнул:

— Заболел я...

— Что у него? — спросила девушка Мишу.

— Наверное, аппендицит. Говорят, болит в правом боку.

Она взяла Васю на руки и поднялась на крылечко. Вася прижал щекой к ее груди и словно забылся. Или

успокоился, что наконец попал в добрые и знающие руки, которые все сделают, но умереть не дадут.

Миша распахнул дверь перед девушкой, и последнее, что мелькнуло в притворе — были Васины поношенные кожаники.

— Подождите меня, я скоро, — успела только сказать девушка.

Она не возвращалась долго, и Миша начал беспокоиться. Наконец девушка появилась.

— Ну?.. Что?.. — неуверенно выговорил Миша Колябин.

— А вы кто ему будете?

— Я? — Миша немного растерялся. — Я ему... я преподаю в их школе.

— Что преподаю? — не поняла она.

— Язык преподаю. Русский.

Миша недружелюбно посмотрел на собеседницу.

— А-а, значит, вы учитель. Извините, я не поняла, — и девушка смущенно улыбнулась.

— Так что же с Васей Синицыным?

— Вы знаете, — сразу как-то доверительно и словно извиняясь, заговорила девушка, — у него гнойный. Еще бы часа два — и все. Хорошо, что вы вовремя его привезли.

— Ну, это не моя заслуга...

— А чья же?! У вас в Заполье были летальные исходы именно из-за нерасторопности некоторых... Кто-то пьяный был, кто-то долго искал лошадь, кто-то не сразу собрался, а в результате человек погибает от обычного аппендицита...

Миша подвинулся к ней ближе. Он внимательно слушал и смотрел в ее огромные печальные глаза. В знак согласия он изредка кивал головой и безотчетно повторял: «Да, да...»

Потом в Заполье он передко вспоминал эту встречу, старался разобраться в своем тогдашнем состоянии и не мог ничего объяснить. Он еще не знал, что некоторые состояния души не поддаются анализу, и в этом их неповторимое счастье и незабываемая прелесть.

...Сегодня он проснулся как обычно. Печь у Марфы Никандровны уже была протоплена. Приподняв голову над подушкой, взглянул на спящего Игоря, потом посмотрел в окно, зевнул и сел на край кровати, высунув

из-под одеяла ноги. Марфа Никандровна, с кухни наблюдавшая за ним, в который раз удивилась:

— Смотри, какой будкой, сам встает. А Таиску — мою сестрицу, утром едва растырьжкаешь. До того, видно, устареется к вечеру, сердешная, что придет, ляжетничником — и тут же захрапит. Зато ночью мне крошки не даст спать: все руками машет, что-то перекладывает: видно, и ночью работает. Так и ушла от нее с кровати на печь.

Миша сидел, слушал Марфу Никандровну, едва понимая ее, и принюхивался к вкусному запаху.

— Ты чего носом водишь? Нынче я рано печь закрыла, не головешкой ли пахнет?

— Нет, Марфа Никандровна, угаром не пахнет, Я бы сразу унюхал. Пахнет вкусным.

— Это я надумала сегодня пирожки испекчи. Порапе трубу-то и скрыла. Ну, давай поднимай братца-то. Будем чаевничать. Я сейчас эту железину-то вскипячу, — и она взялась за самовар. — Вот ведь на дню по три да по четыре раза пожариваем — и ничего, — сказала она, весело блестя голубыми, слегка привядшими глазами. — Лет уж, поди-ко, пятьдесят служит. Из трех пожаров вышел...

Она поставила самовар на еловый чурбачок около отдушины, надела конфорку и насыпала углей. Проворно нащепала лучины от березового полена, которое всегда сушилось у нее на печном кожухе, подожгла и сунула в самоварную трубу. Там сразу запотрескивало, загудело. Марфа Никандровна сама принялась будить Игоря.

— Вставай, вставай, зеркалко. Время, гляди, много.

Игорь кое-как встал, надел старые хозяйкины катанки на босу ногу и, покачиваясь, вышел на мост делать зарядку. Вернулся совсем бодрым. Между тем вскипел чай. Марфа Никандровна поставила самовар на стол, на колола щипчиками сахару. Миша взглядом показал Игорю, что надо убрать постель, и тот быстро поднял матрас с пола, положил его на кровать и прикрыл кружевным, пожелтевшим от древности покрывалом. Мише не поправилось, как брат заправил кровать, и взглядом приказал перестелить еще раз. Теперь все было сделано аккуратнее. Марфа Никандровна наблюдала за этой немой сценой, потом сказала Игорю:

— Вот, милоё, ты только поднимаешься, а у меня уж лоб сырой...

Игорь ничего не ответил, а Миша благодарно посмотрел на Марфу Никандровну.

Вдруг он встрепенулся:

— Марфа Никандровна, а чего это ты так долго пироги-то не достаешь. Сгорят ведь!

— Ничего, пущай покраснороже будут!

Марфа Никандровна достала пироги, нарезала их крупными кусками и положила горой на большую тарелку. Тут были и ягодники — с брусникой да черникой, и налитушки; но всех облазнительнее выглядел румяный пирог с толченой картошкой. Его Марфа Никандровна называла яблочником.

— Ну, братовья, садитесь, — пригласила она. — За скус не секусь, а горячее...

И начала разливать чай.

— Красно ли наливать-то? — поглядела она на Мишу.

— Да мне покрепче... А где Тася? — спросил Миша о сестре Марфы Никандровны.

— Сейчас работу кончит и придет. Поспейт еще к горячим. Ешьте, ешьте, не беспокойтесь.

— А что вы сами-то не едите, Марфа Никандровна? — робко спросил Игорь.

— Да ты обо мне не беспокойся, милоё. На меня не гляди. Большуха раньше всех еще с пальцев налижется. Угощайтесь да говорите — каковы.

Игорь с аппетитом доедал ягодник, весь перемазался черникой, пыхтел, запивал чаем.

— Каждый день ел бы такие пироги, — сказал он наконец.

— Ну вот и похвалил баушку, — заулыбалась Марфа Никандровна. — Значит, понравились пирожки. А то ведь бывают и неупёки. Не каждый раз угадаешь в меру. Да ведь это и не праздничные, а обыдльники.

Входная дверь неожиданно запоскрипывала. Видно, снаружи ее пытались открыть, но то ли она тugo засела в притворе, то ли кому-то не хватало сил. Марфа Никандровна вскочила и побежала к дверям.

— Ой, боженько, еще гостьюю дает. Проходи, проходи, Манюшка.

В узкую щель пролезла тоненькая большеглазая девочка. Босая, с посиневшими ручонками, она прижалась к косяку, наклонила голову и чему-то улыбнулась.

— Давай проходи, проходи, не степенись, чего учитель-то боишься, они ведь не страшнее всех, — подталки-

вала Маню на середину избы Марфа Никандровна. — Поздравствуйся с народом-то, что ты?.. Поди-ко, озябла?

Маня была шестым ребенком в семье средней сестры Марфы Никандровны — Марии, самой многодетной в деревне бабы.

Но почему-то Марию все звали от мала до велика Марийкой. Бывает, бежит этакий шпингалет трех годов от роду, нестриженые волосенки за ушами топорщатся, грязь со всей деревни собрана на штаны да рубаху, на ногах цыпки, бежит и кричит:

— Марийка-а-а!..

Та остановится.

— Ну чего, Василий Митревич, скажешь?

— А я пойду к вам гулеть?

— Пойдем, коли больно охота, — и ведет мальчика в дом, за стол посадит, кусок хлеба даст.

А у самой недавно седьмой народился. Тоже Василием назвала. Лежит он в зыбке, хлопает глазенками, разглядывает щелястую матицу, куда включено кольцо и просунут скрипучий очеп, и не понимает, как хорошо быть в крестьянской семье последним.

С самого начала его появление для братьев и сестер — большое событие и немалая радость.

Первые дни Васину зыбку качали наперебой: то один, то другой. Если матери не было дома, доставали ребенка из теплой зыбки и таскали на руках — от окошка до порога, из угла в угол, качали, что-то напевая, и он засыпал улыбаясь. Но вскоре Васька надоел всем. Марийке все чаще приходилось покрикивать: «Зинка, чего опять с бобушками занялась? Качай Ваську!» И если Зинка огрызалась, то заставляла Гришку или Надю.

А когда Васька научился ползать — к его услугам все бобушки: тут и треснувший ружейный патрон, и бараны лодыги, и глиняная свистулька, и старый замок, и даже настоящие городские кубики, обклеенные разноцветными картинками. Раньше из них можно было собрать и дом с трубой, и яблоню с красными яблоками, и медведя с медвежонком. Сейчас картинки стерлись, потому что кубики были привезены из Вологды еще Таньке. А после Таньки ими играли и Степка, и Гришка, и Надя, и Зинка, и Маня. Картины до того стерлись, что от дома остались только два окошка, а от медведя — лапа да горб.

Но зато сколько добра достанется Ваське, когда он встанет на ноги. К тому времени старшие ребята вырас-

тут из своих одежонок и обутоок, и все это богатство безвозвратно перейдет к нему; трепли сколько хочешь, все равно за свой век не истреплешь. У Гришки почти неносенные кожаники пропадают: жмут уже, а рубаха атласная стала в плечах тесна, и ворот худо сходится. Зинка совсем мало поносила вельветку с блестящим замочком-подергушкой посередке: уже выросла из нее.

Маньке недавно галошки к ботинкам были привезены из Никольска — малы оказались. И все это Ваське перейдет, как младшему и последнему. Не будет ходить босой да раздетый.

Потому он лежит один и молчит, разглядывая сучки на потолке.

Манька знала, что сейчас самое время сбежать к Марфе Никандровне: та ей вчера вечером шепнула, что пироги назавтра затворила. Жалеют ее все в доме у Марфы Никандровны, и Манька тот дом любит. Особая дружба у них с Таиской. Уж она с Маней возится: по утрам-то и учесывает ее, и учесывает, в баню каждый раз с собой водит, на кровать к себе берет, а вечером и на скотный двор сманит, молоком там парным напоит. Манька в том дому и живет не меньше, чем в своем.

Хорошо жить на два-то дома, больше перепадет и лакомства и ласки...

Марфа Никандровна усадила Маню за стол, кусок ягодника подала, и та ела, не торопилась домой качать Васькину зыбку.

— Ешь, ешь, Манюшка, наедайся досыта, — приговаривала Марфа Никандровна, поглядывая на девочку.

— А где Таиска? — не прожевав пирог, спросила Маня.

— И она об Таиске заботится, об своей подружонке! А что Таиска? Ходит не бранёная, как Саврас без узды. Ешь, ешь, скоро придет она, на работе она еще.

— А где работает?

— А работает кое-где, чего заставят.

За вкусными пирогами да за разговором самовар незаметно ополовинили. Он стоял посреди стола, поблескивая медными боками, и сидевший напротив него Игорь разглядывал свое отражение и украдкой от всех строил рожи. Самовар мурлыкал, как сытый кот, угревшийся на мягких коленях.

— Ну его, болтуна, прикрой крышкой, — сказала Марфа Никандровна Мише.

— Пусть попоет, Марфа Никандровна. Я так соскучился по таким песням. — Миша опустил глаза, видимо, что-то припоминая из своих далеких лет. Хозяйка весело и с любопытством посмотрела на него.

— А коли глянутся самоварные песни, так переезжай жить в деревню. Каждой день не по одному разу можно будет на этот концерт ходить.

— Да если в армию не заберут после института, то придется так или иначе. По распределению. Три года надо отработать в деревне. По закону.

— А ты возьми да и выпросись опять к нам.

— Посмотрим...

Когда братья поднимались из-за стола, дверь хлопнула и в избу вошла Таиска:

— Здорово ночевали!

Сильная и крепкая, она вошла шумно и широко. Темный толстый платок еще больше подчеркивал красноту ее лица, на котором живо бегали такие же, как и у Марфы Никандровны, по-детски крупные и беззащитные голубые глаза; но против сухонькой и низкорослой сестры Таиска казалась великаном. А может, это потому, что избенка была неширока да и потолки низковаты.

Таиска сбросила под полатями фуфайку и резиновые сапоги, вскочила на приступок, достала с печи теплые валенки, пробежала к рукомойнику сполоснуть руки, потом подскочила к зеркалу, висевшему на стене, мимоходом щипнула Маньку и как-то сразу заполнила собой все пространство. Ее широкий, такой же, как у сестры, черного атласа подол с красной лентой снизу шелестел и разевался по всей избе.

— Озябла, поди-ко? — спросила Марфа Никандровна у Таиски.

— Да не вспотела, — ответила сестра.

— Ветер-от с утра все каким-то рванком да рванком. И куфайку любую прошибет. Вы, ребята, в школу тоже наряжайтесь потешлей. Я с утра хоть и печи там протопила, а не особо парко в ей. Углы давно сгнили, так тепло скоро выносит. А то, гляжу, вчера малой-то наш в одной курточке повихорил, и локоток просвечивает. Вечером давай закроплю.

— Ничего, сам зашьет, — ответил за него Миша. — Пошли, ученичок.

Они вышли на улицу. Их сразу обдало встречным ветром так, что Игорь захлебнулся. Проходя мимо дома Ва-

ни Храброго, Миша остановился. Ваня во дворе колол тупым топором плахи. Поздоровались.

— Баньку вот хочу потопить к воскресенью, грехи отмыть надо, — объяснил Ваня Храбрый.

— А что, в лесопункте-то они, видно, быстрей накапливаются, чем в деревне?

— Да если не сидеть смирино под иконами, так везде наподхватываешь, — ответил Ваня. — Если вы не святые да не побрезгуете, так приходите со мной мыться. У меня хор-р-роший пар.

— А что, не откажусь. Только тогда уж надо и друга моего позвать. Воды мы поможем натаскать.

— Да что об этом разговаривать. Приходите, венички будут готовы.

Поговорив с Ваней, братья двинулись дальше. Как всегда, они зашли за Колей Силкиным. Он жил на другом конце деревни, по пути к школе, у одинокой бабки Агриппины.

Коля стоял перед зеркалом уже побритый и приглаживал свои реденькие волосенки. А когда-то у него была густая и пышная шевелюра. При женщинах он всегда снимал головной убор, чтобы все видели, какие у него красивые волосы. Но после службы в Заполярье, под Североморском, его шевелюра заметно поредела. Теперь он предпочитал не снимать кепку даже в комнате, а если снимал, то стоял непременно лицом к собеседнику, стесняясь показывать просвечивающий затылок. Порой он шутил на этот счет: хлопал ладонью по голому лбу и говорил: «От дум», потом по светлому затылку и заключал: «От дам».

Шутки на эту тему получались невеселые, и Миша поначалу не поддерживал их. Но потом почувствовал, что безучастность его еще больше уязвляет и раздражает друга, и научился незло посмеиваться:

— Опять перед зеркалом вертишься? Все равно ведь ничего интересного не увидишь.

Бабка Агриппина давно заметила, что ее постоялец частенько перед зеркалом тормошит свою прическу: то так ее повернет, то эдак, а все прореха. Вот и сегодня молчаливо и долго наблюдала она за Колем. Когда пришел Миша и завел об этом разговор, сказала:

— А уж снова-то не отрастают, где вылезут?

Коля усмехнулся:

— Что, волосы-то сорняки, что ли, чтобы лезть снова

там, где прополото. Хорошо вон Мишке: у него волосы, как гвозди, клемшами не вытащишь. Да и борода вон прет. Но ничего. Неизвестно, куда служить попадет. Если на мое место, так и без клемш расчистит.

Миша понял, что надо кончать этот разговор:

— Успокойся, Коля. Помни, что на хорошей крыше трава не растет.

— А если наголо бриться, то сразу гуще будут, — включился в разговор Игорь.

— Опять она пришла к тебе с утра? — строго спросил Коля, приблизив свое лицо к Игорю.

— Кто? — растерялся Игорь.

— Глупая мысль.

Игорь хохотнул.

— Смотрите, князь, если вы будете так мыслить и впредь, вы покроете себя неувядаемым позором...

До школы они добрались быстро.

Проходя по коридору, Коля повел носом:

— Пахнет, как в лазарете...

Еще ничего не понимая, они открыли дверь учительской и вдруг услышали за спиной недовольное бурчание Игоря:

— Опять уколы...

Действительно, ученикам делали прививки. Испуганно-возбужденные ребятишки толпились в темном коридорчике возле туалетов, жались по углам, и только самые отчаянные осмеливались подойти и заглянуть в дверь класса, где сидели молоденькие сестрички в белых халатах. Сначала дело двигалось бойко: одна из девушек открыла дверь, выпускала очередного «обработанного» ученика и бодро покрикивала: «Следующий».

Но скоро поток добровольцев иссяк и решили вызывать по списку. Для этого потребовался классный журнал. Медсестричка постарше встала из-за стола и направилась к учительской.

Когда она вошла, Миша оторопел: это была Настя, та самая, с которой он познакомился в Борке, куда возил Васю Синицына.

— Мне бы журнал пятого «А», — смущенно сказала она. — И хорошо бы кто-нибудь из учителей поприсутствовал, а то мы всех ребят не знаем, да и боятся они...

— Зачем кто-нибудь, — сказал директор. — Вот как раз подоспел классный руководитель. Наверно, он никому не уступит своих законных прав.

— Если только вам, Николай Степанович... — Миша улыбнулся, а сам подумал: «И тебе ни за что не уступлю», взял журнал и открыл перед Настей дверь.

Они неторопливо шли по коридору. Обоим что-то мешало заговорить. Миша чувствовал в себе гнетущую скованность, но никак не мог ее преодолеть. Он понимал, что по всем неписанным законам именно он должен произнести первое слово, пусть ничтожное, незначительное и необязательное, но первое. И чем больше он это понимал, тем невозможнее было отыскать его. А время шло, и затянувшееся молчание сковывало все больше.

Почувствовав растерянность и неловкость, Настя заговорила первая:

— А ведь я действительно тогда не сразу поверила, что вы учитель.

— Почему?

— Ну, как-то привыкла, что педагоги — люди учёные, солидные, в возрасте.

— И конечно, в очках и при галстуке? — начиная приходить в себя, пошутил Миша.

— Ну это, может, и необязательно, — Настя улыбнулась.

Когда они входили в класс, Миша неожиданно для себя сказал:

— Мы должны обязательно продолжить наш разговор, — и сел на последнюю парту, чтоб оттуда удобнее было наблюдать и в случае надобности прийти на помощь девичке. Ближе он не захотел садиться, потому что сам детства не любил и побаивался уколов.

Ребятишки один за другим неохотно и настороженно подходили к Насте с заголенными рубашонками, и Настя, мазнув спиртом пониже острой лопатки, ловко делала укол, затирая это место йодом.

— Ну вот и все. Испугалась, маленькая. Ничего, не бойся, больше не будет больно, — успокаивала она бледную девочку, готовую вот-вот расплакаться.

Это была Марийкина дочь — Надя. Миша глянул на нее и, чтобы отвлечь от подступающих слез, подошел к девочке и строго спросил:

— А ты показывала дома дневник с последней тройкой?

— Нет еще...

— Почему?

— У нас мамка проверяет дневники в субботу.

— Ну, тогда сегодня не забудь, покажи, — старался он вовсю.

Надя сразу забыла об уколе и уже с тревогой думала, что скажет матери, когда та увидит в дневнике тройку. Да еще с минусом. Она до этого учились хорошо.

Когда Миша возвращался на свое место, он почувствовал на себе благодарный взгляд Насти. Довольный, он снова сел за парту. Больше помочь его не понадобилась. Теперь он наблюдал за ловкой работой медичек.

Закончив дело, девушки стали разбирать и укладывать в железные коробочки шприцы, закрывать бутылочки со спиртом и йодом.

Подружка Насти — Клава, белобровая девица — озорно поглядывала на Мишу и под конец сказала:

— Ну, все. Спасибо вам за помощь и содержательную беседу.

Настя так строго на нее посмотрела, что та замолчала. Миша перехватил строгий Настин взгляд и впервые подумал, что она в своих поступках намного взросле, чем кажется с виду. Хотел о чем-то спросить, но передумал, взглянув на ее подругу. В это время дверь отворилась, вошел Коля Силкин. В его присутствии Миша всегда чувствовал себя уверенней.

— Я думаю, что здесь так тихо? — начал Силкин. — Уж не уморили ли молодые эскулапы кого-нибудь из учащихся на глазах у классного руководителя? Смотрю: нет, молчат по другой причине... Вам не скучно?

— А что, у тебя патефон с собой? — спросил Миша.

Девушки рассмеялись. Все почувствовали себя свободнее.

— Небось не додумался, садовая голова, пригласить трудящихся после окончания смены на чашку кофе? — строго спросил Силкин.

— Да он уж несвежий...

— Это все чепуха! Лишь бы пахло Африкой, правда, девочки?

Подружки снова рассмеялись.

— Он правда привез с собой кофе? — спросила Клава.

— Конечно, правда, Клавочка, — ответил Силкин.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Разве человек, воспитанный пятью морями и двумя океанами, посмеет подойти к хорошенькой девушки, не прочитав ее визитной карточки? Ну так вот. Знаете низенькую светелку Марфы Никандровны Воротиловой?

— Знаем, — ответила Клава.

— Тогда просим в гости. Квартира со всеми удобствами.

— Так уж и со всеми...

— Ну разве за исключением газа и ванной, — вывернулся Силкин.

— А мы приглашаем вас в клуб. Столько времени живете и ни разу там не были. Люди говорят, что вы умеете играть и на гитаре, и на баяне, — сказала Клава с упреком.

— Это верно, нехорошо получилось, — согласился Миша. — Но очень уж далеко идти до Верховина.

— Разве это далеко? Всего-то шесть километров. Да и тех, поди, нет, — сказала Клава.

— Ну хорошо, девушки, значит, заметано: вы к нам сегодня, а мы к вам в субботу, — сказал Коля. — Пока вы по Заполью погуляете, мы тут уроки закончим. Вон уже звонок звенит. До встречи.

...Мише не терпелось узнать у друга, поправилась ли ему Настя; он подсел к нему в учительской и тихонько спросил:

— Скажи... только без пижонства... как тебе Настя?

Коля отложил в сторону ручку, закрыл чью-то тетрадь и без воодушевления сказал:

— По-моему, глуповатая, но что-то в ней дразнит.

— Ну хватит... Я хотел серьезно поговорить.

— Тогда почему ты меня не хочешь выслушать?

— Боюсь, что опять сморозишь глупость.

— И все-таки я тебе доскажу свою мысль. Мы выбираем такую женщину, которая бы нравилась не только нам, но и нашим друзьям. Этого-то и следует бояться. — Резко поднялся и пошел на урок.

Коля еще не понимал, что его задело. Может быть, то, что все решили без него: Мишке понравилась Настя. Ему остается Клава. А может, и ему не Клава, а Настя нравится. Что с того, что он болтал с Клавой? Может, это всего лишь тактический прием, чтобы признаться в чувствах совсем другому человеку. Или просто обратить на себя внимание... В сущности, ему казалось, что он потому и «был часто развязным с женщинами, что всю жизнь стеснялся их...».

Наконец он опомнился и сообразил, что сидит за своим столом перед раскрытым журналом, и весь класс, при-

таившись, смотрит на него и ждет... Ученики думают, что он ищет по списку, кого бы спросить! Ну и хорошо. Коля медленно обвел глазами класс: опять Пашка Синицын спрятался за спину впереди сидящего и что-то жует. Никак невозможно отучить человека от этой дурацкой привычки.

— Синицын, встань!

Тот покорно поднялся, большой, неуклюжий.

— А теперь открай рот и скажи: а-а-а!

Класс, довольный, загрохотал.

...Перед началом педсовета Миша Колябин подошел к Коле Силкину сзади, положил ему руку на плечо и прошептал:

— Надо как-то побыстрей отзаседать: у нас ведь гости сегодня.

— И баня, — отозвался Силкин. — Но смотря сколько проговорит председатель. Из-за него до сих пор не начинают...

Миша томился и, заложив руки за спину, расхаживал из угла в угол по учительской. Иногда он останавливал взгляд то на одном, то на другом педагоге.

Вот Василий Егорович Каракев, учитель истории, молодой и немногословный человек, лет под тридцать. Непширок в плечах и в груди, но сила и прочность угадывались не только в его движениях, но и во взгляде прямых серых глаз. Его привычкой было крутить деревянную указку, зажав тонкий конец в левой ладони и с силой поворачивая ее так, что она скрипела. Каракев не терпел, когда шатались дверные ручки, стол или стулья, тут же все подвинчивал, подколачивал и устанавливал. Ходил он всегда в добротных яловых сапогах, никто и никогда не видел его неопрятным или небритым.

Когда приехали практиканты, он, не смущаясь, пристально оглядел их, словно хотел понять — надежный ли народ прибыл. Быстро сошелся с ними (оказалось, Силкин служил с ним в одних местах). Ребята частенько потом наведывались к Василию Егоровичу на редьку с квасом: было у Каракева такое фирменное блюдо. Готовил он его сам. Заранее клал редьку в холодную воду, чтоб она восстановила крепость и сок, потом натирал ее на терке, нарезал лук ровными кружочками, чистил вареную картошку и крупно крошил ее в то же блюдо, бросал большую щепоть соли, а потом заливал квасом, настоящим на свежих пивных дробинах.

Ели все вместе из одного блюда острую и жгучую наедуху, хлебали до того, что с них катил пот; на минуту останавливались, переводили дух и снова тянулись ложками к еде.

Нина, жена Каравчева, смеялась над ними и подавала полотенце утереться, сама она к редьке не притрагивалась.

— Нет уж, я потом себе по-своему сделаю. Страдайте одни.

Нина была второй женой Василия Егоровича. Совсем молоденькая, веселая, румяная, в чуть заметных конопатинках.

Марфа Никандровна потом пересказывала деревенские разговоры:

— Первая-то у него ушла из-за пичевухи: с маткой не ужилась. Ну, остался он один, ходил все к Нинкиному отцу в карты играть. Нинка-то все ему подыгрывала в дурочка. Иногда проводит с мосту, дверь запрет. Вот он ей и говорит одинова: «Ой, Нина, не надо мне к вам болеходить, а то привыкать к тебе стал». — «Так и я к тебе привыкла». — «А привыкла, дак поцелуй меня», — Василий Егорович-то ей. А она без всякого хитра ротик-от, как жавороночек, открыла, за уши схватила да и тюкнула его в губки. Так и сошлась; еще молодехонька. И не упсывали долго их, а ей и дела мало. Василий-то Егорович остерегался, чтобы его не потащили куда, ведь в несовершенных годах жену-то взял. Могли и приписать... Директор то его тогда ой как прижал, пикнуть не давал. Только что воду не возил на нем, а и выговорить было нельзя...

— А чего директору надо было?

— А бог его знает, — уклонилась тогда от ответа Марфа Никандровна.

Миша снова посмотрел на Василия Егоровича; тот сидел, наморщив лоб, и перелистывал на колене какую-то книгу: он заканчивал заочно институт, поэтому приходилось заниматься где придется.

«Этот все одолеет, — подумал про него Миша. — На таких и держится земля».

А вот Анатолий Леонидович Липатов... Какое имя-то! Прямо поется. И не знай его, можно подумать, что имя это не сходит с театральных и концертных афиш, а его владелец расхаживает по улицам и площадям нарядных городов, блистает остроумием в образованном обществе и одним взглядом повергает в трепет столичных красавиц.

А на самом деле Анатолий Леонидович Липатов сидел на шатком стуле возле мутного окна и с собачьей преданностью смотрел на директора, а тот что-то серьезно внушил ему. А что ему внушать? Он и так никому не скажет слова поперек. Тем более директору. Молчит обычно и тихо на всех поглядывает.

И внешность-то этому человеку бог такую бесцветную и размытую дал, чтобы кто-нибудь не подумал, будто он может на что-то замахнуться или перед кем-то выстать. Говорили, его и жена поколачивает, но он никогда никому не жаловался, а только грустно смотрел со своего стульчика и неизвестно о чем думал. Ходили слухи, что жена мстила ему за давнюю — не к ней — любовь...

Жил он когда-то в лесопункте, в бараке; преподавал ту же ботанику в школе. Как холостяку ему была отведена маленькая комнатушка, и он был счастлив, потому что напротив его дверей жила молодая очаровательная бухгалтерша Зинаида Павловна.

Но вскоре молодая бухгалтерша вышла замуж за профера и уехала из лесопункта; а Анатолия Леонидовича женила на себе бывшая инспекторша рено, направленная в лесопунктовскую школу учителем геометрии. Она уже побывала замужем, нажила ребенка и казалась лет на восемь старше Анатолия Леонидовича. Вскоре она перестала нового мужа в Запольскую школу, подальше от воспоминаний, а главное — от местной гастрономической витрины.

Но и здесь он попивал частенько, не однажды обсуждался в коллективе и поэтому чувствовал себя постоянно виноватым. А уйти некуда. Кроме школы, он нигде не работал. Да и пословицу помнил, что лучше всего там, где нас нет. Вот и жил со своей «медведицей», как называла Марфа Никандровна его жену Василису Петровну.

Миша посмотрел на нее и подумал: «Действительно, медведица». Грудастая и широкая в кости, она сидела в углу, навалившись на стол, и торопливо проверяла тетрадки. Бурые густые волосы Василисы Петровны падали на узкий лоб. Проверяя задачки, она низко наклонялась к бумаге, шевелила губами и водила носом по листу, словно что-то вышюхивала.

Потоптавшись около побеленной печки, Миша подошел к учителю физики, Сергею Николаевичу Фомину.

Тот по обыкновению сидел на диване, облокотившись на валик и откинув голову, с закрытыми глазами.

Миша познакомился с ним недавно: старик болел и только с недавно как приступил к работе. Возраст у него был почтенный, давно пенсионный, но Сергей Николаевич продолжал работать. Он не привык сидеть дома, хотя жена и уговаривала его бросить школу.

Миша очень был похож на одного из многочисленных внуков Сергея Николаевича, и, наверное, поэтому старик относился к нему особенно дружелюбно.

Стойло Мише приблизиться, как физик сразу открыл глаза.

— Сергей Николаевич, все хочу узнать у вас: как мой брат в физике... кумекает?

— Да пока нечего особенно и кумекать-то, — засмеялся старик.

— Понимаете, в детстве он любил возиться с карманным фонариком и батарейками. Все их на язык перепробует: щиплет или не щиплет. Однажды отец чинил приемник и в сети оставил включенные провода. Игорь и там решил попробовать, щиплет или нет. Взял один провод на язык — не щиплет, взял другой — тоже, потом взял оба вместе, тут ему и щипнуло! С тех пор он боится даже отключенных проводов.

Сергей Николаевич посмеялся от души.

— Да, любопытный парнишка. Но здесь он от страха перед электричеством отдохнет. У нас хоть его и провели, но дают не часто.

— Вы с ним постороже будьте, Сергей Николаевич, поблажки не давайте. Стоит ему почувствовать слабину — пшик пропало. Я его сюда и привез специально, чтоб гайки подкрутить. А то мать у нас добрая, слабохарактерная, совсем распустила парня. Ну а у меня своя система воспитания...

— Ну-ко, ну-ко поделись своим опытом!

Но в это время в дверь постучали, и вошел мужчина средних лет с крупными чертами лица, в сапогах, пустой правый рукав засунут в карман, и Миша понял — это и есть председатель их колхоза.

Педсовет, конечно, назначили некстати. И неспроста Миша с Колей томились и всем своим видом выражали нетерпение — их же девушки ждали. А директор, как назло, распространялся о том, что надо повышать успеваемость, что ставить двойки — значит признаваться в соб-

ственном бессилии и неспособности к педагогике. Все молчали, и выходило так, что соглашались с ним. Наконец он остановился, пожевал губами и задумчиво сказал:

— А сейчас я передаю слово председателю колхоза Матвею Сергеевичу Квасникову.

Председатель терпеливо и уважительно слушал длинное директорское вступление, но, видимо, тоже устал от него и поэтому глубоко вздохнул, когда ему дали слово.

Он сидел за столом, подперев щеку жилистой рукой, и, когда поднялся, измявшаяся щека долго не отходила. Видно было, что старел председатель, хоть и держал прямо спину. Голос у него был глухой, но сильный.

— Я понимаю, у вас тоже свои планы и программы... — Квасников немного помолчал. — Но если мы загубим лен, колхоз по уши завязнет в долгах; а он в них и так по колена... Я знаю, ребятишкам учиться надо, но мы ненадолго оторвем их от занятий. Только бы первостатейный спаси... Лен-то. Я в долгне не останусь...

Дело это было для Заполья обычное. Каждый год Квасников приходил к директору и просил помочь в уборке льна или картофеля и никогда не получал отказа. Квасников знал, что и на этот раз ему дадут ребятишек, и внутренне был готов к этому, но все-таки мучился, терялся среди стольких образованных людей. Время тянулось медленно, и сама собой куда-то исчезала уверенность. Он чувствовал, как ему не хватает слов, чтобы говорить с этим народом. Стыдился, что у него старые, стоптанные сапоги и дешевый пиджак с опустившимся правым плечом и что он опять забыл сегодня побриться.

«Зачем он собирает людей? — Квасников с огорчением смотрел на Клужина. — Можно было все сделать проще... Неужели мы между собой не договорились бы! Что он меня всякий раз, как школьника, на педсовет таскает? Ведь совестно...»

Квасников снова спдел около стола и смотрел, как Николай Степанович разминает папиросу.

— Ну, так что... Дадим председателю рабочую силу? — с наигранной бодростью спросил директор.

— Вы хозяин, вам и решать, — сказал Анатолий Леонидович Липатов.

— Значит, дадим...

Стали выяснять, какие классы освободить от расписания. Кто-то из женщин пожалел, что ребятам опять придется мокнуть под дождем, что не у всех с собой рабочая

одежда и подходящая обувь и что снова начнутся болезни, и надо заранее предупредить Настю, чтобы припасла побольше порошков от простуды и сама была поблизости.

Миша Колябин, услышав это имя, вдруг напрягся и на какое-то время точно оглох. Его мысли сразу изменили направление. Он увидел, как девушки идут через поле и о чем-то весело болтают. Поблескивают резиновые сапожки, раскачиваются маленькие чемоданчики. Он бежит за ними, почти нагоняет. Вдруг подруги резко останавливаются и оборачиваются, как по команде, и первое, что он видит, — это строгое Настино лицо.

Голос Коли Силкина вернул его к действительности.

— Меня, Николай Степанович, поражает та легкость и спокойствие, с какой вы говорите о будущих болезнях ваших учеников.

— А что бы вы мне посоветовали?

— Побольше беспокоиться о них.

В учительской стало необычно тихо. Директор растерялся, но ненадолго.

— И каким же образом, по-вашему, нужно беспокоиться?

— Самым обыкновенным. Начать это хотя бы с такого пустяка, как приведение в божеский вид интерната, если эту халупу так можно назвать. Нужно организовать для детей горячие обеды, а не угождать им кипятком. И уж если вы решили послать учащихся на работу, надо добыть для них спецодежду. Если у вас нет — требуйте ее у председателя. Если и там нет, то отправьте ребятишек на пару дней по домам, чтобы они могли переодеться и запастись едой. А то ведь придется не ученической ручкой орудовать, а со льном возиться.

...Из школы они вышли расстроенные. Коля Силкин чувствовал, что Миша переживает за него, а может, даже и боится. Чтобы успокоить друга, Коля сказал:

— Ничего, если директор не дурак, то поймет все правильно, а если дурак — быть войне... Ну, что ты так смотришь? Да, войне! Неужели мы позволим ему делать все, что он захочет? Я вижу, ты все еще его никак не раскусишь. — Немного помолчав, он добавил: — Ладно, думай лучше, что нас дома ждет...

А дома их ждали Марфа Никандровна с Игорем. Они сидели за столом около потухшего самовара и играли в карты. Марфа Никандровна охала:

— Ой, ой, на твои шестерки два козыря издержала.

Игорь торжествовал и хлестко шлепал картами по столешнице:

— Вот тебе еще!

Марфа Никандровна покрыла.

— А вот эту?

Марфа Никандровна опять покрыла.

— Ну а эту...

— А у меня уж больше ничего нету. — Старуха показала пустые ладошки.

Игорь удивленно хлопал глазами, не понимая, как он остался в дураках с двумя козырями. А Марфа Никандровна припевала:

— Заиграла, гляди-ко, подобралась под тебя. Тороплив ты больно, парень. А еще собираешься на дохтура учиться. Такой торопилко-то вместо ноги кому-нибудь голову отпилит. Нет, нельзя тебе в дохтура...

Коля и Миша разделись у порога, повесили пальто на вешалки, сделанные Марфой Никандровной из катушек.

Коля Силкин прошел, не торопясь, за перегородку на кухню и позвал хозяйку.

Как только она пришла, он зашептал, что они с Мишой пригласили двух девушек в гости и надо бы закусочки приготовить да самоварчик поставить.

— Это больничные-то работники, что ли? — спросила Марфа Никандровна.

— Ну...

— Ой, вы, ребята... Да разве наши девки сами к парням в гости пойдут? Садитесь да ешьте. Не ждите зря! Они уж забегали ко мне, пока вас-то не было; чаю попили, похочотали, расписанья ваши на стенках поразглядывали — и айда к себе домой. Вот Ваня Храбрый, дак тот за вами приходил, велел сделяться в баню. Этот не упустит своего. Уже унюхал.

Ребята нехотя сели за стол. Силкин взглянул на друга и усмехнулся.

— Уже раскис! Эх ты!.. Лопай давай, да пойдем попаримся.

...Ваня встретил их шумно:

— А я уж заждался... Проходите, мужички, я готовлю венички. — Он сидел на лавке, перебирал и перевязывал три веника.

— Весело ты живешь, Ваня, со стихами, — сказал Коля, разглядывая нарядный плакат на стене. — Прямо завидно. И все у тебя на месте.

— А пока все ладно. Работа нравится, ничего из рук не валится: ни рюмка, ни стакан.

Коля хохотнул:

— А что, частенько... приходится?

— Забутыливать-то? Да на неделе один выходной. На двухдневный все никак не могу перейти.

Пока они болтали, Миша сел на лавку поближе к столу и подогнул ноги. Под лавкой звякнули порожние бутылки.

— Бом, ти-ли-бом, — засмеялся Ваня Храбрый.

Миша заглянул под лавку: каких только этикеток он не увидел: и портвейны всех сортов, и пиво «Жигулевское», и вермут, и плодовоягодные всех мастей.

Разглядывая холостяцкое жилище Вани Храброго, Миша пожалел, что в доме сумрачно. Зимние рамы, видно, давно не вынимались, стекла помутнели от дождевых потеков и пыли, печь ободрана, пол не подметен, занавески грязные. Ваня Храбрый, казалось, этого не замечал. Он сидел, улыбаясь, на лавке под ярким плакатом, изображающим такого же веселого парня с растянутой гармошкой в руках, в новой кепке и с цветком за ухом. По верху плаката крупными буквами было написано: «Знаю, будете, подружки, в новом клубе петь частушки». Вместо клапанов под правой рукой гармониста надпись: «И сошьют вам на селе платья в новом ателье», а потом уже с переносом на басовую сторону, потому что места не хватило на голосах, из-под левой руки парня с цветком перебегают слова: «Больше выстроим для сел магазинов, яслей, школ. Станет лучше новый быт, жарче дело закипит».

А вдоль растянутых мехов гармошки — силуэты домов с телевизионными антennами, кудрявые деревья перед резными окнами. И под стать розовощекому парню румяная и жизнерадостная товарка сбоку, подпевающая ему.

— Шикарный плакат. — Коля Силкин, подойдя, щелкнул по нему ногтем.

Когда Ваня Храбрый покончил с вениками, все направились в баню. Они вошли, разделись и по привычке накнулись, боясь сразу обжечься паром, но скоро поняли, что остерегаться нечего: баню порядком выстудило, и если полностью распрямиться, то голова окажется в тепле, а ноги в холода. Половицы совсем остывли.

— Что, прохладно, мужики? — Ваня посмотрел на съе-

жившихся учителей. — Сейчас мы подвеселим, — и он плеснул ковшик горячей воды на каменку. — Нагибайся скорей, — крикнул он Коле, торчавшему посреди бани, как жердь, — а то обваришься.

На каменке зашипело, запотрескивало. Пар толкнулся в потолок, распластался по нему, потом стал закручиваться, как береста в свиток, опускаясь по стенам вниз.

— Хорошо, — крякнул Ваня Храбрый и плеснул на каменку еще ковшик. Пар с новой силой стукнулся в потолок и даже толкнул дверь. Миша почувствовал, как горячая волна прошлась по их спинам, хотя они сидели у самого пола на корточках. Сначала было заметно, что внизу тепло пожиже, вверху поплотнее, но эта граница быстро опускалась, и когда Ваня плеснул пару ковшиков на половицы и от них тоже пошел пар, а потом помахал ошпаренным веником под потолком, разгоняя тепло, — вся баня наполнилась крепким бодрящим жаром.

Через полчаса после мытья договорились посидеть у Марфы Никандровны.

— Как нарочно, сегодня и супу-то не варила, — сокрушалась Марфа Никандровна. — Придется от гостей студенью обораниваться — больше нечем. Да Ваньке-то дак и этого лишка.

— Да, Ваня Храбрый неразборчивый, — сказал Миша, — живет кое-как, один, все ему ладно. Все хорошо.

— У него не бывает нехорошо. Только для себя теперь и живет. Раньше-то ему большой почет был, неженатому-то. В бригадиры поставили, было; да жена первая попалась неладно — и все накувырок пошло. Из себя-то хорошая такая, приглядистая была. Не терялась, видно, в девках, погуляла изрядно, вот он и не мог ей этого простить. Пить стал. Да как! Она его по вечерам-то ждет, ждет, бывало, ходит по избе с робеночком, прижимает его к душе. А Ваня придет — еле себя через порог перевалит. До того допил, что хоть от жизни отступайся. Придет в контору, бывало, деньги получать, дак просит наших мужиков: «Подержите, робята, за плечи, а то не расписатьсяся, рука дрожит». Во как!

Пришлось бабе самой уйти. А потом у него и пошло... С бригадиров сдернули, ушел в лесопункт судьбу свою искать. Поразговаривали его наши бабы, погоревали за него, но дело сделано. Попадет ли уж такому чередная. Он ведь шалеват больно. С третьей-то сошелся — и бабочка ничего попалась, можно бы жить, так сам ерундить

начал. Вы с ним больно-то дружбу не водите. Что на него, на беззавтрашнего, глядеть. Только пьянка одна. А так поглядеть — мужик не худой. И дело умеет править...

Ваня Храбрый не дал договорить. Он будто подслушивал Марфу Никандровну по невидимым проводам и боялся, как бы она не наговорила лишнего. Он возник на пороге в каком-то шуршащем и блестящем плаще. Миша долго не мог разобрать, что на нем, а потом понял — болонья, вывернутая наизнанку. Так, видно, Ване Храброму казалось красивее.

Он вытащил из брючного кармана бутылку спирта и поставил на стол. Не успел раздеться, как в избу вошла Таиска, недовольно бормоча:

— Опять лешой дождя нанес. Как про зиму подумашь, так шкуру дерет. Неужели больше не видать теплеща?

— Видать, видать, — отозвался Ваня Храбрый.

— Ой, Ваня тут... А я и не вижу, с улицы-то отемнела. Да ты и с бутылкой. Уж не сватом ли к Марфе?

— Да нет, тебя дожидаю...

— А что ж тогда маловато принес? Я с одной бутылкой и разговора заводить не стану.

— Так это недолго, — сказал Ваня.

Никто не успел и рта раскрыть, как он исчез. Марфа Никандровна засмеялась:

— Ой, Таиска. И другую бутылку выманила.

— Ничего, ничего, пускай несет. Он в лесу-то не с наше получает. Все равно выпьет с кем попало, так уж лучше со своими деревенскими.

— Ой, Таиска, ну и баба! — Марфа Никандровна укоризненно покачала головой.

Ваня пришел с обоими оттопыренными карманами и в руках держал четыре бутылки пива.

— Ну вот, теперь другое обхождение, — сказала Таиска. — Садись, Ваня, будь за хозяина да разливай.

— Это что вина-то наташили, — хотела, хлопая себя по коленкам, Марфа Никандровна. — А у меня и есть нечего. Я ведь шутя, кое-чего набарахлила на стол-то. Ну да я сейчас еще рыбы пожарю.

— Ладно, закуска — побочная статья. При хорошей выпивке любая закуска пойдет, а после политуры и шпрот колом встает, — острил Ваня Храбрый, разливая по стаканам спирт.

— А я думаю, к чему бы это с утра все тело тянет, — не унималась Марфа Никандровна.

— К перцовке, — подсказал Ваня и налил ей из только что вынутой бутылки полстакана коричневой жидкости, — знаю, что спирту побоишься, а это поровнее.

Только успели выпить по первой, как в дверь стукнули, и вошел Коля Силкин.

— Всю жисть так: и жить торопится, и чувствовать спешит, а выпить вечно опаздывает, — зашумел Ваня Храбрый, выскоцил из-за стола и начал Колю раздевать.

— Давай садись.

— А какой нынче праздник? — прищурился лукаво Коля Силкин.

Ваня Храбрый подошел к висевшему в простенке календарю, полистал его и сказал:

— А новолуние, — и протянул Коле штрафную.

...Выпили по первой, по второй, по третьей, а потом Ваня Храбрый начал к Таиске приваливаться: сидели они рядом; а та все похочатывала да болтала, на Ваню напирала:

— Вот вы нас все хаете, а сами без нас жить не можете.

— Живали без вашего брата, да и живем не пропадаем, — защищался Ваня.

Таиска, раскрасневшаяся и осоловевшая, гнула свое:

— Ругаете нас, ругаете, а все не мы к вам бегаем, а вы к нам.

Ваня не сдавался:

— Так ведь вы к нам не бегаете только из-за того, что мы к вам бегаем.

— Ой, уж сказанул... Забыл, что ли, как мне еще парнем письма-то строчил из армии. Пакет-от почтальонша едва приволокет, бывало, такой он толстенный! Мы вечерами с девками читали да хохотали... По три да по четыре листка каждый раз было наборонено. А на самом последнем листке по самому-то краю приписано: «Кто ниже напишет меня, тот крепче любит тебя». Где уж там еще ниже написать, если каждая буковка и так с листка ноги свесила. Тут и комару носу не просунуть. И конверт всегда разрисует и подпишет: «как по закону, привет почтальону». Вот она и носила всегда мне наособицу, обязательно в самые руки подаст. Понаписал за

три-то года. Скажешь, не было? Ишь, ишь, покраснел, — продолжала Таиска.

— Да ты на красноту-то не гляди, — урезонивал ее Ваня Храбрый. — Может, это я нарочно. Может, это светодиодная маскировка, — защищался он.

— Ну, Ваня, у тебя и положеньице: и не щекотно, и смеяться надо, — подзуживал его Силкин.

— Нет, пусть он скажет, было или не было? — не унималась Таиска.

— Было, было. Я ведь не скрывался, сколько раз говорил, что люблю, и замуж звал. Из-за тебя, может, у меня вся и жизнь наперекосяк пошла.

— А что зря трепаться: люблю да люблю. Надо было доказать.

— Доказать... А как? На высокую березу залезти?

— Да нет, Ваня, — вдруг поникнув и посеревшев, сказала Таиска. — Это я так ведь, дурачусь... Я не пошла за тебя, потому что не любила, сам знаешь. Ты парнем-то умным был; никто от тебя плохого слова не слыхивал. Но ты ведь знаешь, что я другого Ваню ждала. У нас с ним все было обговорено. Только пуля наплела на наши уговоры.

— Я все знал, что у вас было, но это неважно.

— Зато мне важно...

— Ну а одна-то хорошо живешь?

— Да как наладится.

— Вот и у меня эдак же... С первой же пожилось. Я уж и так долго тянул. Ведь баба как чемодан: и тяжело, и бросить жалко. Но пришлось. Со второй, с Клавкой, мы долго женихались. Видел я и сам, что не дело затеял. Она побывала замужем, с проколотым билетом была, как говорится... Но веселая бабенка, ох, веселая... И так меня с тоски-то к ней потянуло! Видно, все Клавки такие. Уж не первую встречаю. Как Клавка, так цирк. «Муж, — говорит, — мужем, а любовник нужен». Веселая баба! Мать моя побесилась, поотговаривала меня... «Вон, — говорит, — бери лучше Таньку (сучкорубом у нас работала), депутатка областного Совета, в автобусе без билета ездит. Вот бы, — говорит, — тебе такую жену» (мать-то моя). А я говорю: «Уж нет, а то и будет всю жизнь думать, что я ее избиратель». Да и холодная такая. Всю бы жисть через нее с насморком ходил. Даже ейная подруга, Анька, смеялась: «У меня, — говорит, — Таня что ледышка. Как рядом с ней ночь посплю — три дня потом

кашляю». Да я об ней и не думал. А как сошелся с Клавкой — тут и началось. Сплошное выпендривание: «Я тебя моложе, я тебя образованнее, я тебя ростом выше». Может, и повыше на какой-нибудь бли...»

— Да ничего в ней особого и не было, — сочувственно откликнулась Таиска. — Захаживала я к вам в Макарово, видела ее... Когда она такое говорила, тебе бы и сказать: ты-де зайди-ко, девка, да сама-то на себя сзади в зеркало погляди... Мужики одниова пьяные над ней смеялись.

— Пьяные мужики всего могут набухать, на них нечего глядеть. Она, Клавка, всякая была. То шумит, кричит, ругается на чем свет стоит. Вина-то ведь тоже не пила... из мелкой посуды. А проспится, ко мне ластится. У нее тоже жизнь нелегкая была. Не обижалась она на меня за разговоры. «Сама, — говорит, — знаю, что нехорошо, да первы, — говорит, — у меня ничего не стали держать». Потом до меня слух дошел, что спуталась она. А я чего угодно вынесу и спущу, но не такое, сами понимаете. Прижал я ее к стенке, она и говорит: «Ванечка, я ведь если и изменяю, то не душой, а телом. Душой-то я только тебе верна». Ну, думаю, тут мне и вправду образования не хватает — не понимаю. И разошлись мы с ней, как в луже чинарики. Сказал только, чтоб под пьяную руку не попадалась. Она тут же с каким-то Федькой и наладилась. Он шкипарем, говорили, работает; к родным в гости приезжал. А я после того, как освободились мои руки и душа, начал еще крепче тонизировать. Вот так!

Ваня Храбрый раскупорил пивную бутылку, раскрыл ее и опрокинул себе в рот так, что пиво ввинчивалось в него штобором. Он крякнул и взял с блюдца соленый гриб.

— Без насекомых? — спросил он Марфу Никандровну.

— Да ведь не знаю, Ваня. Грибы дак... Как ни сторожись, а все червячок как-нибудь наладится.

— Ну ладно, не то перемалывали, — примирительно сказал он. — А ты чего сегодня, Марфа, все слушаешь да слушаешь, ничего не скажешь?

— Да что Марфа... Сижу себе да посапываю в две дырочки. Погоди-ко, Ваня, я еще сейчас рыбки солененькой к рюмочке-то поставлю.

Ваня Храбрый опустил голову, о чем-то задумался и долго сидел так, потом оглядел избу удивленным взглядом.

дом, что-то посоображал и, встряхнувшись, весело проговорил:

— Э-э-э... Не от этого наши домики покосились... Я робятам фокус покажу.

Таиска засмеялась, переглянулась с Марфой Никандровной, та поддержала:

— Покажи, покажи, Ваня. Где им еще такого наглядеться.

Ваня достал из кармана спичечный коробок, вынул из него спичку, крупным темным ногтем общипал ее кончик, сделал потоньше и поострее, помуслил спичку во рту, подул на нее:

— Готово. Чичас она приклейтся к этому пальцу, — он показал большой палец левой руки, кожа на нем была как на пятке, — и так приклейтся, что может хоть день не упасть.

Он еще раз послюнявил спичку, потом положил кулаки на колени и, недолго ими поперебирая, вдруг протянул над столом большой палец с торчащей на нем спичкой:

— Во!

Марфа Никандровна засветила стеклянную лампу, подвесила ее на железный крючок под потолком, тихо посмеиваясь. А Таиска, захваченная Ваниным искусством, уже входила в роль ассистентки и подсказывала ему:

— Чу-ко, чу-ко, Ваня, перекулики теперь палец-то книзу. Пусть поглядят, отпадет или нет.

Ваня исполнил приказание, но спичка не упала. Он гордо осмотрел застолье, потом поднес палец со спичкой к носу Коли Силкина и приказал:

— Дуй!

Тот дунул.

— Шибче дуй!

Коля дунул посильнее.

Спичка не покачнулась.

— Ну, дунь и ты, — сказал великолдушно Ваня и поднес палец со спичкой под нос Мипии Колябина.

Миша дунул изо всех сил и ткнулся в палец Вани губой.

— Ну, убедился? — спросил Ваня.

— Убедился, — восхищенно сказал Миша. — Гигант. Таиска, выходи за него — он хороший.

— А мне можно дунуть? — спросил вдруг Игорь. Все это время он молча сидел на лавке возле двери.

Миша обернулся, поглядел на него и спросил:

— А почему дети не спят?

— Вы же сидите. Где я постелю-то?

— Ложись на мою кровать.

Игорь быстро разделился и нырнул под одеяло, но во все глаза глядел, что творилось за столом. Коля строго посмотрел на него, громко шепнул:

— Повернись очами к стенке и начуй.

Игорь перевернулся на другой бок. Марфа Никандровна поставила на стол сковороду, придинула ее поближе к мужикам и открыла крышку. Стекло на лампе сразу запотело, и огонь замигал — того и гляди потухнет. Тогда Марфа Никандровна передвинула сковороду поближе к себе:

— Ишь как распыхалась трещечка-то... Ой, я ведь и забыла ей крылья-то обрезать. Ну да бывает, и так не улетит теперь. Ешьте!

Ваня взял алюминиевую ложку и поддел кусок.

— А рыбка посуху не ходит...

— Я хочу выпить за Ваню Храброго, за его мастерство, — предложил Миша тост.

Выпили и стали есть рыбу, обсасывая каждую косточку.

— Скоро я вас своей накормлю, — сказал Ваня. — В нашу реку недавно новая рыба пришла — лещ называется. Реки-то многие перетравили, вот она к нам и подалась. На той неделе Санко Синицын одну поймал на четыре килограмма, показывал мне. Шириной с хорошую половицу, хвост как у тетери, а в рот чайный стакан пролезет... Вот погодите, скоро верши поставлю.

— Ты лучше раскрой свой фокус, — попросил Коля Силкин. — Вижу, что тут есть какой-то подвох.

— А видишь, так на вот тебе спичку — и валай, — закуражился Ваня Храбрый. — Валай, валай... Помусяй, поставь на палец — и пусть она стоит.

Коля понял, что так не выманить секрета. Он зашел с другой стороны:

— Нет, Ваня, я вижу, что тут все по науке. Ни у кого таких чудес не видывал. Меня-то ты можешь научить?

— Не получится, — убежденно сказал Ваня.

— Неужели я такой дуиндук, что не смогу перенять хороший опыт, — лъстил Коля.

— Не в этом загвоздка. Тут нужно особое строение пальца.

— Да ладно, Ваня, не томи парня, раз ему хочется вправду перенять — покажи, — поддержали Колю Силкина Таиска и Марфа Никандровна.

— Мне, конечно, не жалко. Да тут нет ничего и особого. Это я еще когда чеботарил, подшивал однажды сапог себе. Хмельной был. Вот шилом палец-то и проколол. Долго у меня болел он, а потом в этом месте выболела дырка. Глубоконькая такая. Вся-то спичка туда не влезит, а если пообщепать ее да помуслить, то очень даже легко проходит и хорошо держится. Я уж давно этот фокус показываю. В деревне-то его все знают. Ну а вы народ новый... Теперь и вы знать будете.

— Он еще и не такое умеет, — сказала Таиска, гордая за Ваню. Она налила себе и Ване по глотку спирта и предложила:

— Давай, Ваня, выпьем с тобой за того Ваню... Хоть ты его и не любил. Да теперь вас, наверно, смерть помирила.

Они выпили. Таиска сморщилась, прикрыла лицо ладонью, а когда убрала руку, глаза ее были влажными. Она помолчала немного, а потом неожиданно предложила:

— А хочешь, Ваня, я тебе на его гармони дам поиграть? — Ваня с недоверием посмотрел на Таиску.

— Не веришь? Правду говорю. Никому в чужие руки не давала его гармошки. А сегодня решила дать тебе поиграть. Больно уж ты нынче на него похожим был...

— Поиграй, поиграй, Ваня, — поддержала Марфа Никандровна и попала за перегородку вынимать гармонь из сундука.

В это время Таиска запела:

Ой, да что из-за лесу-то было лесочку
Из густо...
Ой да из густова-то было малежочку
Девушка идет,
Ой да девушка идет!
Ой да несет в ручках-то, в ручках два выюончика,
Два виты...
Ой да два витые-то, оба шелковые
Себе да ему,
Ой да милому-то только своему.

Ваня пригорюнился. Когда Марфа Никандровна поставила ему на колени гармошку, вернее, тальянку с колокольчиками, он не сразу сообразил, что от него ждут музыки. Ваня оглядел гармонь, погладил ее по клавишам,

издал несколько одиноких, жалобных звуков. Все приготовились слушать, но Ваня вдруг поставил гармонь на лавку и сказал:

— Не могу я сегодня играть... Огрузнел маленько, пальцы не слушаются. Да и поздно, пора вам спокой дать.

Марфа Никандровна благодарно покивала ему головой:

— Ну ладно, коли так. Вдругорядь сыграешь...

— Обязательно. Вы-то ко мне тоже бы заходили, не-далеко ведь живем.

— Да тебя дома-то никогда не застрилишь.

— Верно, Марфа, верно говоришь. Совсем отбился. И самому тошно. Ну ладно, извиняйте меня...

— Да что ты, что ты, Ваня, — засуетилась Марфа Никандровна. — Нечего извиняться. Все было по-христово му. Иди да спи спокойно, а то у меня глаза тоже закрываются. Хоть спички вставляй.

Марфа Никандровна притворила за Ваней Храбрым дверь.

Мише так стало жалко Ваню, что он хотел бежать за ним вслед, но его удержали. Миша просил, чтоб Ваню вернули и дали вышить с простым русским человеком Иваном Храбрым, которого он понял и полюбил.

Женщины видели, как опьянял учитель. Они расстелили на полу матрас, Коля раздел друга и заставил лечь спать.

На другой день Миша проснулся на полу, на соломенном матрасике брата, с тяжелой головой, а Игорь спал на его кровати и похрапывал самым невинным образом.

Миша не сразу сообразил, в чем дело, а потом вспомнил, какую он допустил вчера промашку... Педагог тоже!

В последнее время у него с братом установились вполне определенные отношения. Он заставил его постричься, убрать в чемодан пестрый галстук и костюм в крупную клетку. И все это с доброго согласия самого Игоря. А пойти на такие жертвы тому пришлось, потому что еще перед отъездом в деревню сам принял условие, по которому имел право расхаживать в костюме с галстуком и при «коке» до тех пор, пока будет себя вести достойно.

Сначала все шло хорошо. Но как-то вечером Игорь отправился на ферму за молоком — в одной руке бидончик, в другой — батожок. Возле фермы его, как всегда,

встретил кобелек Тузик. Он прибегал сюда с бабкой Агриппиной, хозяйкой Коли Силкина.

У Игоря с местными собаками были сложные отношения, но с Тузиком они пока ладили, и кобель встретил Игоря как хорошего знакомого, проводил до двери и с виляющим хвостом встретил, когда тот выходил с наполненным бидоном. Острыми черными глазками он посматривал то на тарку, то на Игоря, нетерпеливо перебирая лапками, и от признательности и доверчивости высунул язык — ему явно хотелось парного молока.

Игорю не понравилась беззастенчивость собаки. Он не любил попрошаек. С минуту он смотрел на влажный язык Тузика, на его угодливо виляющий хвост и вдруг злорадно прошептал:

— А вот этого не хошь, — и замахнулся батожком.

Тузик отскочил в сторону и тут же с поднятой на загривке шерстью бросился на Игоря. Отмахиваясь, Игорь побежал к дому. По пути запустил в собаку комком подсохшей грязи. Тарка ему помешала, и комок сорвался; Игорь закусил от страха губу и весь съежился: он знал, что сейчас зазвенит стекло. В это время из дверей вышла бабка Агриппина. Тузик залился пуще прежнего, а Игорь, побегая к дому, уже знал, что пощады не будет.

Утром Миша сходил к Пете, Марийкину мужу, взял у него машинку-нулевку и наголо остриг брата.

Потеряв половину былого величия, Игорь сам больше не надевал галстука, тем более костюма.

— Можно, я схожу погулять? — спросил он вечером у Миши.

— А уроки сделал?

Миша был несколько озадачен. Раньше Игорь убегал без разрешения.

— Конечно, сделал.

— Ну тогда иди на часок.

И действительно, Игорь возвращался домой вовремя.

Но больше всего поражало Мишу то, что Игорь умудрялся теперь вставать чуть ли не вместе с Марфой Никандровной и часто будил его самого.

— Эй, — трогал он за плечо старшего брата. — Уже яблоки поспели. — Так он, подражая хозяйке, называл картошку. — Вставайте ись!

Мише уже не приходилось напоминать ему, чтобы убрал за собой постель: она была давно свернута и вынесена в чулан.

Теперь Игорь первым подскакивал к умывальнику и тщательно мыл не только руки, но и шею. Не забывал вовремя отправлять матери письма, решать дополнительные задачки по геометрии, помогать по хозяйству Марфе Никандровне. Воспитание шло хорошо, и надо же было Мише самому испортить дело...

...Миша хотел встать сразу, как проснулся, попробовал приподнять голову, но все пошло кругом, и он снова ткнулся в подушку неуклюже и бессильно. Марфа Никандровна подметала в кухне пол пихтовым веником. Запах свежей пихты, который так любил Миша, теперь был ему неприятен и раздражал. Миша не хотел показывать, что проснулся, но мучила жажда, и он еле слышно попросил:

— Марфа Никандровна, нацедила бы кваску...

Марфа Никандровна перестала мести, прислушалась:

— Михаил, не ты ли чего сказал?

— Я, Марфа Никандровна. Кваску бы мне...

— От ты, господи, кваску запросил. Что, головушка потрескивает? Может, лучше молока? А то квас давно стоит, больно кисел. Лени на собаку и та взвизжит.

— Вот мне такого и падо.

— Ну, тогда чичас начижу.

И она принесла Мише большую кружку самодельного квасу. Броде маленько полегчало.

Еще бы поспать, но неудобно. Ведь хозяева так же вчера сидели за столом, почти наравне с ним вышивали, однако Марфа Никандровна с раннего утра уже крутится у печи и Таиску не видно. Значит, на скотный двор убежала. Надо, конечно, и ему вставать, нечего тянуться. Мало ли кто из деревенских зайдет, посмотрит, до каких пор учителя на постелях валяются, неудобно.

Да и сон в последнее время не приносил Мише удовлетворения.

То ему недавно приснилось, будто бы его насмешливый сокурсник Гошка Печников с вылезшими светлыми волосами в том же черном шиджаке с перхотью на плечах бьет по лицу Коля Силкина, Коля зовет его, Мишу, на помощь, а он не откликается, боится, что Гошка и его изобьет.

А то привиделась большая мать. Она не может подняться с постели и просит, чтобы кто-нибудь сходил за лекарствами. Но никого рядом нет. А Миша слышит, но ему лень идти, и поэтому он не отзыается...

Миша всегда мучительно и с тревогой обдумывал сны, лежа в постели, и спрашивал себя: «Неужели я способен на такие пакости и в самом деле? Раз снится такое, значит, это есть где-то в глубине меня. Хотя бы частично...»

Подобные раздумья надолго выбивали его из колеи.

...Видимо, Миша снова задремал. Он не слышал, как пришел Коля Силкин.

— Виши, у тебя какие ботинки-то, — говорила Коле Марфа Никандровна, — да на подошвах-то сколь узорчато. Уж к какой девочке сбегаешь, так заметно будет.

Миша открыл глаза и у самого носа увидел ботинки Силкина с трижды порванными и трижды связанными шнурками.

— Пришел вот за другом, чтобы кислородом его похмелить. Вставай! Пойдем погуляем, — наклонился он к Мише сочувственно.

— Сходите, сходите, — поддержала Марфа Никандровна. — Что в закупорте сидеть.

Миша встал, кое-как оделся и пошел к рукомойнику, который здесь называли «бараньей головой»: темный, с двумя рыльцами по бокам, он и вправду походил на баранью голову с короткими рожками. Миша вяло поплескался, утерся и натянул пальто.

Ребята вышли за деревню и направились по той самой дороге, по которой совсем недавно входили в Заполье. Тогда были грязь и мозглость, а теперь дорога подсохла, ближний лес построжел и вдруг окреи. Издалека было отчетливо слышно, как молодые косачи катают свой горох по небесному своду, точно крупную дробь по сковороде. Ребята остановились послушать и понимающе переглядывались, когда явственно различали упругое хлопанье сильных крыльев — настолько было гулкое утро.

— Под самым носом жаркое летает, — вздохнул Коля Силкин.

— Надо будет на охоту выбраться.

— Нам бы еще кое-куда не мешало выбраться, — подмигнул Силкин.

— Тоже верно, — согласился Миша и впервые за это тяжелое утро подумал о Насте.

И странно: стоило ему о ней вспомнить, как в памяти неожиданно всплыло и лицо матери. Сопоставив эти два лица, он поразился их сходству. Только в материнском больше было печали и укоризны.

Наконец они поднялись на гору, перевели дух и огля-

делись. Широко во все стороны раскинулись густые леса. Места здесь были глухие, болотистые, дороги разбитые. Может, это и помогло лесу выжить, а рекам не отравиться. Миша посмотрел в сторону неторопливой речки Кемы, делающей около деревни ленивый поворот, и тронул Коля Силкина за рукав:

— Посмотри...

Над рекой висел слоистый синеватый дым от печных запольских труб. Он, видимо, скапливался тут с самого раннего утра. Нижние его слои сделались довольно плотными и особенно угарно синели. И те, остатки слабые дымки, что еще струились из поздних дотапливающихся печей, тоже сносило в приречную низину. Этот легкий, почти бесцветный дымок располагался на верхнем этаже и больше всех колыхался и шевелился. Сначала Мише показалось, что нижние слои уже замерли и остывли, но, приглядевшись, он увидел, как они едва заметно колебались, то чуть приподнимались, то медленно оседали; и казалось — это река, отходя к длительному северному сну, тихо и умиротворенно дышала; поэтому дым не припадал низко к воде, старался держаться повыше, чтобы не дать реке на грудь.

Деревня, связанная с речкой Кемой несколькими тропинками, расположилась на дне котлована и была так близко, что, казалось, стоит протянуть руку, и можно ладонью прикрыть любую дымящую трубу. Они сравнивали, как деревня выглядела тогда, поздно вечером, когда они впервые приближались к ее огням, и теперь, под утренней осенней позолотой. Дома были все с длинными задами, и выходило, что две трети постройки люди отдавали скотине, и только оставшуюся треть отводили себе.

— И при чем тут Золотое донышко, — недоумевал Коля Силкин. — Не за вечерние же огни она так названа...

Когда они вернулись домой, на столе уже стояли чугун с супом, эмалированные блюда с картошкой и грибами, прикрытые полотенцем. На краю стола лежал недоденный кусок хлеба с маслом. Это уже работа Игоря. Его дома не было — воспользовался моментом и с утра удрал гулять.

Дом снова светился той основательной крестьянской чистотой, в которой хорошо и свободно дышится.

Марфа Никандровна еще крутилась возле печи и заметала шесток крылом тетерева.

— Что, Марфа Никандровна, не сама ли добыла? — Коля Силкин взял из рук хозяйки крыло, покрутил, прорастягивал, погладил.

— Да где же самой. Это Петьяка наш, — сказала она про мужа своей сестры Марийки, — за летятиной горазд бегать был, вот и мне крыльышко перепало, да из хвоста перышков пучок дал для подмазки противней. У него у самого-то в избе много красивых крыльышек по стенкам наприколачивано. Вы сходите как-нибудь поглядеть.

— А чего это он, столько раз бывал здесь и не похвастался, — спросил Миша.

— Так чего хвастать... Теперь уж он не лесует. Ребятишков эстолько накопил, как не до этого. Некогда по верхушкам-то глядеть, надо комелья ворочать. Вот и приходится ломаться в лесу. От колхозу его и посылают зимами-то, когда тут работы помене станет. Скоро опять пойдет... А вот и он, легок на помине.

И вправду порог переступил Петя.

— Здравствуйте.

Он прикрыл за собой дверь, не спеша, как свой, повесил суконную кепку на гвоздок и прошел в передний угол, сел на лавку.

— Марфа, меня Марийка послала тебе пилу наточить, — и, достав из кармана фуфайки трехгранный напильник, положил его на столешницу.

— Так и хорошо, Петьяка, а то шаркаю, шаркаю — ничего не подается. Поточи, поточи, пила-то хоть и нехорошая, да своя, все не в люди бежать. Я тебе за работу и четвертинку выставлю, только сделай.

Петя, довольный, улыбнулся:

— Ну дак за четвертинку-то я тебе хошь катаю так наточу, что будет доски резать.

— Иди давай в кухню, я тебя покормлю, работничка, не мешай учителям. — Марфа Никандровна часто угощала у себя Петю, знала, что дома при таком многолюдье Петя самый жирный кусок отдавал ребятишкам. — Иди, Петьяка, иди, не мешай людям.

— Да что вы, Марфа Никандровна... он нисколько нам не мешает, с чего вы взяли... А поесть мы можем вместе, всем хватит места.

— Ладно, можно и эдак. Да я недавно дома ел, — сказал Петя.

— Не отказывайтесь, не отказывайтесь. Уважьте нас, — попросил Миша.

— Ну да можно, конечно. Есть ведь не работать.

Миша, опасаясь, как бы он не передумал, перевел разговор на другую тему.

— Петр Васильевич, все собирался спросить... Вы здесь человек свой, старожил, давно в лесах работаете, всех знаете... Не слышали ли от кого, почему это место называется Золотым донышком?

— Как не слышать. От отца родного слыхивал. Только не знаю, правда ли все...

— Расскажите!

— Да это давнешнее. — Петя помолчал, чего-то вспоминая. — От Кемы все пошло, от реки нашей. Она ведь прежде куда глубже и резвее была. Да раньше вроде бы все реки веселее текли, не знаю, отчего это. И по нашей веснами тоже плоты водили, сказывают. Врут, поди-ко. Кому тут было их таскать-то. Молем — другое дело, сплавляли... Лесу-то по Кеме в прежние годы куда больше стояло, шумна была река. Это теперь она присмирела, к осени. А по весне-то как она и сейчас такие винты закручивает — ой-ой-ой. Ну вот, и говорят, приехал сюда одинова купец немецкий, промышленник. Так себе купчишка, видно, был, хотел заработать у нас большие капиталы и все свои деньжонки в это дело пустил. Не помню, как его звали. Ну, мужиков подрядил, заплатить пообещал хорошо, много чего-то пообещал, только просил больше лесу валить, да на берег возить. Мой отец тоже на него всю зиму работал; может, там и грыжу нажил... Ну вот, дело к весне стало подаваться, река вот-вот должна взыграть. Стал немец торопить мужиков, чтобы побольше на берег бревен успеть натаскать. Старались, говорят, мужики-то,шибко вытягивались, лошадей умучили, да и себя тоже. А когда река тронулась да пошла, спихнули бревна в воду и — к немцу за расчетом. А он, немец-то, рядом с ними был, любовался, как идет лес, руки поглаживал, на мужиков почти не глядел: на что они теперь ему были, лес и без них шел бойко.

Жалко немцу стало денег-то. Обидел он мужиков наших, только вполовину наобещанного рассчитал. Обозлились тогда работнички, запрягли лошадей, которых только что выпрягли после работы, и погнали вдоль реки догонять лес, в самую голову сплава. А Кема, она петляя, поворотистая река, ничего не стоит на ней затор сделать. Они и сделали этот затор. Лес остановился. Немец понял, что неладно дело вышло, побежал к мужикам, в ноги по-

валился, любые деньги наличными обещал, совал их в руки. Но только ни один не принял. Обозлились ребята, развернули своих лошадок и разъехались по домам. Немец-то целыми днями ходил по берегу Кемы, смотрел, как убывает вода, ругался и плакал. Сам пытался с подрядчиком затор растащить, да где там: мужики сделали на совесть. Чуть не потонул немец и плюнул на все. А что весенняя вода — в полторы недели пролетела — и нет ее. Весь этот лес лег на дно. Плакали денежки у пемца. А он, говорят, уже подсчитал, сколько за наш лес золота выручит. Вот и выручил! Все золото на дне реки оказалось. С тех пор и пошло «золотое донышко» да «золотое донышко». И нашу деревню заодно так окрестили. Но все это пошло из-за Кемы. Это сейчас она течет, как неживая. Вот погодите, весной на нее полюбуетесь...

— Да-а, — протянул Миша, — об этом никто и не знает... Я у директора, у Николая Степановича, спрашивал — не мог он объяснить, откуда произошло такое название.

— А как ему знать, коли все еще при царизме случилось, — защитил директора Петя.

— Да ни господи боже как давно это было, — вмешалась в разговор Марфа Никандровна, — если у многих стариков это дело на паметях.

— Как недавно, ежели река с тех поров успела обмелеть, — вроде бы рассердился Петя.

— Ну да ведь, конечно, и не вчера, — примирительно сказала Марфа Никандровна, — да ладно, что об этом вспоминать. Было одно время, стало другое...

Пока они переговаривались, в дом вошла Маня, предпоследняя дочь Пети, и встала у дверей.

— Ты чего это прибежала? — спросил ее ласково Петя. — Мати дома?

— Не-е, — помотала головой Маня.

— Так тебе ведь мати велела Ваську качать, а ты убежала...

Маня отвернула лицо к косяку, засовестилась.

— Давай иди, иди, качай Ваську. Да не тронь картинки на стенах.

Маня так же быстро исчезла, как и возникла.

— Какая у вас хорошая девочка, — похвалил Миша.

— Хорошая, — согласился Петя, и глаза его блеснули.

— А что это за картинки на стенах?

— Да ездил я недавно в Никольск, да купил. К празднику, думаю... Все покрасивее будет. Они недорогие, всего по десять копеек штука; купил бы и боле, да все однакие. На одной-то четыре кофмонаста нарисованы, все в железных шапках, вверх глядят, и подписано: «Кофмос — наш», а на другой мужик, здоровый эдакой, в комбинезоне стоит. Одну руку плашмя на пушку положил, другую вверх выставил, и написано: «Миру — мир». Избу все к Октябрьским-то разукрашиваю, все уж простишки заклеил. Манька-то любит у меня разноцветные картинки. Глядит, глядит, да и начнет их отколупывать.

Миша с Колей переглянулись и помолчали.

— Ну ладно, мы с разговорами-то совсем про еду забыли. Давайте, Петр Васильевич, пододвигайтесь ближе к чугуну, — предложили ребята.

Миша рано разбудил Игоря.

— Ну, князь, поднимайтесь. Кажется, вам не приходилось пробовать свои силы на льне? Вот сегодня и рванете... Возьмите доспехи, — и Миша бросил на постель Игорю штаны и рубашку. Тот нехотя подтащил рубашку к себе и стал в нее просовывать голову.

Миша расхаживал уже в сапогах и заглядывал в помутневшие оконные стекла. По огороду на длинной привязи гуляла хозяйская коза Фейка и грызла капустные кочерыжки. Мише даже показалось, что он слышит, как они хрустят у нее на зубах. Сами кочаны Марфа Никандровна третьего дня сняла и свалила в угол на мосту, чтобы засолить.

Вошла Марфа Никандровна, как всегда, веселая и подвижная, в своем неизменном платочке шалашиком. Вошла, скоро приговаривая:

— Кошку накормила, поросенка накормила, курицам надавала... Душ пятнадцать успокоила. — И засмеялась. — А вы уж, поди, на лен наряжаетесь... Да не торопитесь, на колхозную ведь работу не как на производственную: сами бегом не бегают. Бригадир придет, гаркнет, когда выходить. Я ведь тоже с вами пойду, мнё директор сказывал...

— А вам-то зачем? — удивился Миша.

— Николай Степанович говорит, что теперь в школе работы почти не будет, так придется помогчи лен сталь.

— Что за чепуха, — возмутился Миша. — И часто он вам такие наряды спускает?

— Да каждый год вместе с учениками возюкаюсь... Это что? Разве это робота. Дела-то ведь, считай, ничего. Робятишки споны-то обрядить не умеют, дак я им больше показываю, чем сама работаю.

— А, так вы за инструктора?

— Во-во, за него...

— Но ведь на поле есть и другие женщины, они тоже могут ребят научить. Да и ребята-то все свои, деревенские, учить-то, наверно, немногих надо, умеют.

— Да многие и сами знают, ну дак приглядеть за ними. Работнички-то ведь... Только баловаться. Что тут ждать?

— Что-то вы, Марфа Никандровна, на ребят наших наседаете. Досадили чем-нибудь? — спросил Миша, чувствуя, что неспроста хулит школьников хозяйка.

— Да у меня с ними хватает битвы. Каждый день придут к школе, дьяволки, и настукивают в дверь. Вчера опять навертышек сдернули.

— А, вот в чем дело...

— Партии так усовестили — срам. Я их давай ругать: ой вы, кирпичники, ой вы, трубочисты, замарайки... Только посмеиваются да огрызаются. Ну я расходилась и дала одному щелколобицу: начал при мне цигарку скручивать. Эдакие-то опорыши, а уж курят.

— А кто это, не помните?

Марфа Никандровна уклонилась от ответа.

— Да не запомнила толком-то, не из нашей деревни, не из нашей... Вот ведь сопляки... Еще на постелях, поди, прудят, а уж милиционером страшают, если настегаешь вицей или по лбу-то кокотышкой стукнешь, — опять вспомнила она, как воевала с курильщиками. — Вот погляжу я, как он будет на поле работать...

Не успели они позавтракать, как под окошком показался бригадир. Он зашел в лужу, побулькал в ней сапогами (нагибаться неохота), сбил лишнюю грязь и зашел в избу.

Миша встал из-за стола навстречу:

— Здравствуйте, вы за нами? Мы сейчас выходим. Игорь, беги ты первым.

Через несколько минут Миша вместе с Марфой Никандровной вышли из дома. Марфа Никандровна поста-

вила батожок-сторожок к дверям, чтоб издалека было видно, что дома никого нет.

— Я ведь ни разу еще не отказывалась от полевой-то работы. Николай Степанович, он строгой. Мы, бабы, при нем и шевельнуться боимся.

— Да вроде он не такой и страшный.

— Ты, Михаил, здесь недавно, не знаешь его... Ой, гордой он, Николай Степанович. Есть люди и на больших должностях, да простые. А уж ему бы только большим начальником работать.

— Может, я и правда плохо его знаю. Мы ведь в школе только и видимся. Дома-то я почти у него и не бывал.

— Где тебе знать да видеть. Не больно он к себе домой и зазывает. Наши учителя деревенские к нему и не ходят. Начальство только приезжее останавливается. Так ведь он с ними поласковей и говорит... Я под его начальством давно работаю, так поняла...

Некоторое время шли молча. Миша ждал, когда Марфа Никандровна заговорит снова. Он знал, что в таких случаях лишних вопросов лучше не задавать, чтобы не насторожить собеседника.

— Он и с Галиной-то Ивановной долго не мог ужиться, — продолжала Марфа Никандровна. — Совсем бабу затузил, как с фронта-то воротился, от немки; боялась при нем голос подать; она из-за него такая и старообразая стала раньше своих годов. Вышла-то замуж эдакой малолеткой, да сразу как в ледяной прорубь и ухнула. А ведь жена-то какая была... Верба — не жена, а как узнала про немку — взвилась...

— Какая немка? — осторожно спросил Миша.

— Да жена его военная. Я ведь не с краю начала рассказывать, вот ты ничего и не поймешь. Он ведь, Николай Степанович, когда на войне был, в Германию попал, да что-то их часть в одном месте долго простояла. Уж не знаю, чего они там толклись, когда все путные люди к Берлину торопились. Он-то нашим мужикам доказывал, будто у них какой-то секретный манер был...

— Маневр, наверно, — поправил Миша. — Стратегический маневр.

— Во-во, — подхватила Марфа Никандровна. — Он. Обманный, какой-то, говорил. Ну вот, обманный так обманный: он и обманул там немочку молоденькую. Схлест-

пулся, видно, да наобещал всего. — Марфа Никандровна помолчала недолго. — Как-то она живет теперь? Поди-ко, слезы в три ручья текут. Там, у немцев, тоже, наверно, спасибо не скажут, что с вражеским солдатом путалась.

— Да ведь конечно, — подтвердил Миша. — Ну а чего дальше-то получилось с немкой? — допытывался он.

Марфа Никандровна коротко взглянула на него.

— А чего получилось? Как война кончилась, его там еще служить оставили. А у немки-то ребеночек народился. Он домой отцу-матери письмо прислал, что вот-де хочу приехать с заграничной женой и ребеночком. Фотокарточку с них посыпал. А отец ему и отписал, чтобы один приезжал. Вот он и подговорил немку, что съездит домой, родителей проведает и опять к ней воротится, а когда уехал, обратно его и не отпустили. А родители скорее, скорее на Галине-то Ивановне и женили. Никто ведь про немку-то не знал долго, никому не сказывали. Ну, да, конечно, скажут ли... А потом письмо из Германии пришло. А девушка наша на почте молоденькая работала, неразмыщенная еще. Письмо-то прямо в руки Галине Ивановне и отдала. Та распаковала, а в письме-то печатными буквами написано, чтобы скорее приезжал обратно, дочка-де скучает и сама тоже... Мы с бабами тогда похали, погоревали... Жаль ведь, тоже человек, хоть и немка.

— Ну и дела! — закусил губу Миша. — Ну и дела.

— Ой, а что потом началось... Галина Ивановна после письма — в слезы да уходить к матери. А уж сама тоже беременная. Матка ее обратно посыпает: мол, надо теперь уживаться да забывать про старое. А как забудешь такое?.. И станет ли уж сердце прилипать к нему после всего. Сама-то ведь она была смиренная, кроткая, смешного о ней не слыхали. Не обидно разве ей? С того она, говорят, потом не одну ночь билась. Мать-то сидела около. А она, Галина Ивановна-то, вдруг застонет-застонет, заплачет-заплачет во сне-то. Страшно прямо... Вынесет ли сердце, чтоб молчать. Вот она и пошла тоже на него воевать. Ой, много тут у них искр было...

Миша никак не мог прийти в себя после того, что услышал. Сейчас ему захотелось, чтобы Марфы Никандровны не было рядом. В одиночестве не нужно делать вид, что тебя ничуть не удивило такое открытие. В воображении невольно возник Николай Степанович, всегда деловой, рассудительный, трезвый, в мягкой светлой шля-

не, которая плохо сочеталась с его, хотя и начищенными, кирзовыми сапогами.

Порою он чему-то улыбался, но скрытой, почти загадочной, улыбкой. Никогда не говорил громко, даже если сердился. Постоянно сдерживал себя, редко давал волю чувствам; поэтому и при нем все чувствовали напряженность.

Директорские обязанности Николай Степанович исполнял исправно, порою истово, но ощущалось, что многое он делает через силу, превозмогая какое-то внутреннее сопротивление. Устав от этой борьбы, он приходил на службу вялым и безучастным.

Но иногда в нем просыпался дух творчества. Тогда Николай Степанович суетился в учительской, всех подздоривал и подгонял, листал классные журналы, посещал урок за уроком, чем приводил в смущение учеников и преподавателей. Иногда эта жажда деятельности выливалась в такие странные формы, что даже самые преданные директору люди не могли удержаться от иронической улыбки.

Не случайно Мише вспомнилось, как Николай Степанович однажды, возвратившись из Никольска, счастливо размахивал несколькими спортивными эспандерами. Миша давно не видел директора в таком возбуждении. «Наконец раздобыл», — ликовал Николай Степанович и потряхивал эспандерами посреди учительской. Миша тогда подумал, что, имея молодую жену, директор заботится о фигуре и занимается утренней гимнастикой. Одно не понятно: зачем понадобилось столько эспандеров? И он решил, что Николай Степанович постарался и для своих учеников.

Но через два дня Миша с удивлением разглядывал эспандерские пружины, приспособленные чуть ли не ко всем дверям: на улице, в учительской и даже в туалетах.

Однажды он зачем-то зашел домой к Николаю Степановичу и с удивлением обнаружил такие же пружины и на его дверях. Коля Силкин потом разыгрывал в лицах, как Николай Степанович распоряжался, куда прибить пружины, и конюх Митя — все его звали так потому, что всегда видели с лошадью, — старательно приколачивал их, истово бухая молотком по косякам.

Митя — человек со странностями. Несмотря на солидный возраст, был холост, жил при школе, работал завхозом, а по совместительству и конюхом. Кроме этого, в

свободное время занимался всякими подсобными работами, вплоть до плотницких и даже столярных. Митя обладал огромной силой. Про него, как и про всех силачей, в таких случаях рассказывали разные истории.

Однажды по гололедице он ездил за сеном. Лошадь была некована, часто скользила и оступалась и перед какой-то горушкой вдруг совсем остановилась. Тогда Митя выпряг ее, взял под мышки оглобли, приладился, поуперся и втащил воз на гору.

Когда он вышивал, лицо его с крутым лбом и отвалившейся челюстью становилось багровым и страшным. Мужики никогда не дразнили его и от себя не отталкивали. Пёбаивались, наверно. Зная свой характер, по будням Митя пил редко — опасался гнева директора. Он боялся, уважал и слушался Николая Степановича.

По праздникам директор старался держать конюха при себе, чтобы тот не напился. Митя гордился этой proximity, и, сидя за столом по правую руку от Николая Степановича, так поглядывал по сторонам, словно его орденом наградили.

Директор часто брал его с собой в разные поездки.

Однажды они поехали в Никольск за музыкальными инструментами. В этом году у них оказалось порядочно неизрасходованных денег на культмассовую работу. Николай Степанович с детства любил музыку и мечтал, чтобы при школе был свой оркестр.

В Никольске Николай Степанович зашел в среднюю школу, хотел пригласить учителя пения, чтобы тот помог выбрать нужные инструменты, но его не оказалось на месте, и Николай Степанович решил все сделать сам.

Зашли они с Митеем в кульмаг и стали прицениваться. Выбор был невелик, по кое-что удалось приобрести. Особенно понравилась им сверкающая никелированная труба, тем более после уценки она стоила совсем недорого. Николай Степанович повертел ее в руках, понажимал на клавиши, даже подул. Но вместо звука получилось какое-то шипенье.

— Легкие стали не те, — пожаловался он продавщице, наблюдавшей за ним, — так ведь не для себя и стараюсь. Ученикам это... Ну, возьмем? — спросил он Митю.

Тот принял трубу из рук директора, тоже ее повертел, на клавиши понажимал, но дуть не стал и ответил:

— Можно...

Кроме трубы, они купили баян, скрипку, мандолину

и барабан. Все покупки привезли и сложили в углу директорского кабинета. Николай Степанович долго не подпускал никого к инструментам, только сам изредка, когда никого не было в учительской, брал мандолину или скрипку, пощипывал струны, потом негромко ударял по барабану и довольно улыбался.

Нужен был преподаватель музыки и пения. Он не раз обращался с этой просьбой в роно, но специалистов не хватало. Время шло, инструменты пылились. Однажды Николай Степанович поехал в Вологду сдавать сессию в пединститут, где он учился на заочном отделении, и случайно познакомился с выпускницей музпедучилища. Он решил заманить ее в Заполье и восторженно стал расхваливать родные места, прекрасную реку Кему, необозримые хвойные леса: осенью на опушках рдеет красная рябина, воздух — пить можно. Девушка начала было склоняться. Николай Степанович обрадовался, стал говорить о ближайших перспективах Заполья, а самое главное — скоро у них постоянно будет электричество и вдруг заметил, что девушка как-то сникла и потеряла интерес ко всему, слушала его рассеянно и под конец ничего не пообещала. Так и уехал директор ни с чем.

Понимая, что ждать больше нечего, он предложил учителям, кто хочет, самим научиться играть, а потом передать опыт и ребятам. Из всех учителей играть немного умел лишь физик Сергей Николаевич. Во время войны у него был трофейный баян. И вот теперь на больших переменах он играл какие-то грустные старые вальсы.

А к скрипке никто и не притрагивался: уж сильно легка и непривычна.

Однажды Николай Степанович провел разок-другой смычком по струнам и сам испугался — звук вышел какой-то надтреснутый, скрипучий. Кто-то сказал, что конский волос на смычке полагается натереть канифолью, но в магазине, когда покупали скрипку, им не дали канифоли, а в деревне у кого ее найдешь. Поэтому Николай Степанович повесил скрипку в своем кабинете посреди широкой, свободной от плакатов и расписаний стены напротив себя, а смычком стал пользоваться вместо указки, предварительно освободив его от конских волос. Трубу он повесил рядом со скрипкой и к ней больше не прикасался. Только Митя не потерял интереса к этому инструменту. Может быть, потому, что с трубой ничего не делалось: она не теряла ни голоса, ни блеска. Все смелее на-

жимал на клавиши и, напрягаясь до багровости, дул в медный мундштук, пытаясь извлечь звук. Николай Степанович подсказал Мите, что дуть надо так, будто сплевывавши семечки. Митя потренировался, и у него стало что-то получаться. Обрадованный успехом, он зачастил к Николаю Степановичу, подолгу засиживался в его кабинете, а директора за терпение стал уважать еще больше.

Когда Миша Колябин и Коля Силкин приехали в Заполье, все уже охладели к музыкальным инструментам. Коля Силкин в первый же день, обнаружив в учительской баян кирилловской гармонной фабрики, выдал во время большой перемены такой концерт, что всех привел в изумление. В учительскую начали заглядывать учащиеся, но директор стоял у дверей.

— Тише, не мешайте, — шептал он, приложив к губам палец.

Когда Коля Силкин бросил играть, Николай Степанович подсел к нему и спросил:

— Где это вы научились так?

— На флоте.

— Здорово! — с восхищением сказал директор. — А русского можете?

— Могу, — засмеялся Коля Силкин и снова развернулся баян, — только у вас что-то гармошка вздыхает, как пенсионерка.

— Так нездорого и куплена... Но мы это дело поправим, нам бы только учителя пения раздобыть. А впрочем, зачем его искать на стороне, когда свой под боком. А? Платить будем две ставки, от общественной работы освободим.

— Ну какой из меня учитель пения. Я даже во хмель никогда не пою. А вот музыкальный кружок постараюсь организовать, а то инструменты заржавеют.

После этого разговора Николай Степанович стал выделять вниманием Коля Силкина, подчеркнуто любезно здоровался с ним и обязательно за руку. Не знал он, что и Миша немного играет на скрипке. На вечеринках в общежитии они с Силкиным здорово исполняли серенаду Смита. Но Миша никогда не говорил о себе, и эта скромность обернулась для него не лучшим образом.

В школе не было пионерского. Эту работу по совместительству вела молоденькая учительница начальных классов. А когда она ушла в декретный отпуск, все пришло в запустение.

Вопрос о пионерской работе надо было решать на ближайшем педсовете. И вот однажды Николай Степанович собрал учителей в своем кабинете. Было очень тихо. Все молчали, понимая, что сейчас решится, кому в порядке дополнительной нагрузки придется тянуть этот нелегкий воз.

— В нашей школе, как ни странно, работает большинство мужчин, — сказал Николай Степанович. — Может, это единственная школа в области. Лучше бы женщине быть пионервожатой, но что поделать... Так как же будем жить?

— Хорошо будем жить, — шутливо сказал Коля Силкин. Он знал, что ему беспокоиться нечего. — Вот только керосину бы надо, а то хозяйка поглядывает косо, когда берешь ее лампу и садишься за проверку тетрадей. Свет отключают уже в девять вечера.

— Ну, керосин будет, — сказал Николай Степанович. — Сейчас не об этом речь. У нас самый молодой коллектив в районе, и пионерская работа должна быть налажена, как часики...

— Вот эти? — не утерпел Миша и показал глазами на остановившиеся стенные часы. Не успел он насладиться собственной остротой, как почувствовал на себе решительный и пристальный взгляд директора.

— Мне кажется, что вам нужно взять это дело в свои руки...

Миша не принял это заявление всерьез. Он имел полное право отказаться. Ведь он всего-навсего практикант.

— Что вы, Николай Степанович! Мне никак нельзя, нет опыта...

На помощь пришел Коля Силкин. Он заметил, что на педсовете нет учительницы, у которой с утра было два урока, а потом она сразу ушла домой и на педсовет явно опаздывала.

— Слушайте, а почему до сих пор нет Тамары Васильевны? Я предлагаю, Николай Степанович, наказать ее за опоздание и поручить именно ей наладить пионерскую работу в школе.

— Это все равно, что прививать любовь к труду палкой.

— А что, меня отец палкой многому научил, — сказал физик Сергей Николаевич. — Она у него была ореховая с зеленым медным набалдашником... — И он принялся

вспоминать, как отец ему ореховой палкой помог выйти в люди.

Все его слушали с нарочитым интересом. Тут хоть что рассказывай — все интересно, лишь бы не возвращаться к выборам пионервожатого.

Но как только Сергей Николаевич сделал паузу, директор снова перевел взгляд на Мишу.

— Николай Степанович, ну что вы на меня так смотрите? — взмолился Миша. — Я даже не представляю, что буду делать?

— Но до вас же работали, что-то делали.

— Ну а где же сейчас те, кто делал что-то? — нервничал Миша и допустил новую промашку.

— Вы же знаете — в декретном отпуске...

— Ага, видите, ей повезло. Нашла отдушину. А я куда побегу?

Директор только этого и ждал.

— Ну вот и хорошо... Значит, вы согласны. А бежать nowhere не придется, — и он записал в своем блокноте фамилию Миши, на которого все смотрели с сочувствием и облегчением.

— Поздравляю с повышением, — съязвил тогда Коля Силкин.

Сейчас Миша вспомнил весь этот нелепый разговор. Ему было неловко и даже совестно за то, что они, учитель, столько времени дурачились, а директор сидел, облокотившись на стол, подперев кулаками подбородок, и беспомощно смотрел на всех. Рыжеватые, с пролысиной волосы его, всегда одинаково уложенные, поблескивали в лучах слабого позднего солнца. Миша понял, что теперь — хочешь не хочешь — ему придется отвечать за ребят вдвойне — и как учителю, и как пионервожатому. И надо, не откладывая, составить план мероприятий, чтобы скорее вовлечь ребят в общественную работу и самому включиться.

«Вон сколько их... И все хотят жить интересно», — подумал Миша, подходя с Марфой Никандровной к школе, возле которой уже собралось много учеников. Было холодновато, поэтому ребята поеживались и толкали друг друга.

— Что, ребята, никак, холодно? — громко и весело спросила Марфа Никандровна.

— Холодно, холодно! — закричали все наперебой.

— Ну ничего, холодно — не оводно, — засмеялась она. — Будете хорошенько работать, так не простынете.

У крыльца она заметила Васю Синицына. Он стоял возле стены и смотрел, как ребята толкаются. Покрасневшие кулачонки он втянул в рукава просторного, видимо, одного из старших братьев, пиджака, и выпрашивал их попеременно только затем, чтобы смахнуть мокроту под носом.

— А ты чего, Василей, не помнешься с ребятами? — спросила Марфа Никандровна и вдруг увидела огромную дыру возле кармана. — Кто это у тебя экой лепетень-то выхватил?

— Пашка, — жалобно ответил Вася.

— Ох уж этот мне твой Пашка! — рассердилась Марфа Никандровна не на шутку. — Я вот ему, сотоненку, накостыляю. Никакой на него управы. Носится... Дружками своими облепился, как маслуха иголками. Все на нем горит... А ты, Василей, не переживай. Приходи ужотка ко мне, я тебя чаю с молоком папою и пинжак закрою. Хорошую заплатку подберу и все устрою, все ушью. Пинжак-от, поди, еще Минькин?.. Минькин, вижу. И тебе, гляди-ко, его перепало носить. Экой ноской! Ну вот на полевой работе его и допалубишь.

Вася немного воспрял духом.

— Приходи, значит, Василей... Да вон и учителей сводил бы с оружием. Давно уж тебя попросить думала. Больно им полесовать охота. Жучка моего возьмете. Уй, он в лес-то радехонек бежать, только ружье покажи. А ты места знаешь. Может, кого и подстрелите. Хорошо бы тетерю... Али зайца. Ой, понюхал бы заячьего душку. А ведь и ничего не принесете — так не беда. Хоть поудовольствуетесь... А я вас супом из свиньи-то и так накормлю.

Подошел Коля Силкин. Он был возбужден, и Миша спросил его:

— Что это у тебя сегодня глаза блестят, как новые калоши?

— Видимо, от ожидания.

— Кого же?

— Ну, я не думаю, что ты такой осталоп, чтобы не догадаться.

— Они не придут.

— Почему?

— Говорят, вызваны в Никольск на какие-то краткосрочные курсы повышения квалификации.

— Господи, всегда так! А я думал, опять кофе заварим...

...На луговине уже работало несколько женщин. Они быстро развязывали и потрошили побуревшие льняные сношки и так же быстро и сноровисто тонкой полоской раскидывали их на жухлой траве. От дороги к лесу за каждой из них словно бы тянулся неширокий, но ровный и ладный половичок. Увидев ребяташек, женщины бросили работу.

— Ой, каких помощничков-то нам бот посыпает! Ну давайте, давайте начинайте, а то без вас дело не идет.

Ребята вдруг засмутились и начали прятаться друг за друга. Те, что постарше, стали подталкивать вперед самых худеньких и маленьких.

— А ну, ребята, — строго сказал Силкин, — мы сюда не баловаться пришли. Давайте делом заниматься. — И первым приступил к работе. Долго развязывал один сноп, почти разорвал поясок, и кое-как, толстовато, но уверенно расстелил его. За ним взял себе сноп и Миша Колябин. И вдруг со всех сторон насыкались школьники.

— Помаленьку, помаленьку, ребяташки, — забеспокоилась Марфа Никандровна. — Льну много, всем хватит. Вон бригадир идет, сейчас разведет всех, чтобы не мешать друг дружке. Она подошла к Мише и стала расстилать рядом с ним.

— Что, Михаил Васильевич, непривычная работа? Не больно, поди-ко, глянется?

А Мише как раз очень нравилось расстилать лен. Он с наслаждением развязывал поясок у снопа и, помня еще из детства назидания бабушки Катерины, которая, как и Марфа Никандровна, любила и умела любую деревенскую работу, неторопливо и ровно тянул за собой дорожку льна, стараясь растрескать и положить его как можно тоньше. Он старательно огибал проплещины, укладывая лен только на траву, чтоб не прел и не гнил: хоть утренники и были холодными, но днем еще отпускало, и от обнаженной земли исходил усталый белесый пар.

Мишины ладони скоро сделались сухими и скользкими, отчего потерялась уверенность в движениях, поэтому он часто поплевывал на них и с удовольствием потирал.

Он видел, как младший брат тоже пристроился неподалеку и, посматривая на Мишу, принял за дело, но у него ничего не выходило. Муки начинались с пояска. Не умея развязать, он пытался стягнуть его через головку снона и, наступая ногами на верхний конец, обеими руками тащил за поясок. На это уходили лишние силы и время. Многие ребяташки, наблюдая за ним, посмеивались, а Игорь злился, спешил, и выходило еще хуже. Когда он все-таки сдергивал поясок, сноп рассыпался. Игорь брал его в охапку, относил в сторону, а потом расстаскивал по лужку в разные стороны неровными пучками.

Миша хотел подойти и поучить младшего брата, но его опередила Игорева одноклассница Таня Воротилова, старшая дочка Пети и Марийки.

— Давай покажу, — сказала она, взяв из его рук сноп.

Проворно раскрутила поясок, нагнулась и, отступая от Игоря, быстро-быстро заперебирала пальцами, из-под которых вытекал ровный льняной половчик.

— Ты только не спеши, с непривычки трудно. Я тоже долго не могла научиться.

Подошел Пашка Синицын и тоже начал объяснять Игорю, как удобнее расстилать лен.

Миша понял, что тут обойдется без него, и не стал мешать. И верно: через полчаса Пашка уже соревновался с Игорем, кто быстрее проложит льняную дорожку от дороги до ближних кустов.

— Только не забывайте о качестве! — крикнул Миша.

Игорь поднял разгоряченное лицо и глянул на брата.

— Ладно, — махнул он рукой и снова склонился. Он явно отставал от Пашки и, видно, устал, а уступать не хотелось: поэтому больше на разговоры не отвлекался.

— Я за ними слежу, Михаил Васильевич, — сказала Таня, — не беспокойтесь.

Миша взялся за новый сноп. Спина уже болела, пальцы худо слушались, и шапка все время сползала на глаза.

Марфа Никандровна сбоку наблюдала за своим постояльцем и улыбалась.

— Да ты не сильно вытягивайся-то. Поперекладывай немного для примеру ученикам-то. Тебе ведь не обязательно все время тут быть, — пожалела она его.

— Нет уж, буду до конца. Я люблю на воздухе работать. Тем более погодка сегодня хорошая...

— Да и прогнозили-то дождик, а тут подмораживает. Льну-то бы дождичек получше был. Скорей бы отлежался.

Подошел Коля Силкин.

— Ну как, работник? — спросил он у Миши. — Не набил еще себе мозолей, не наколол пальчики?

— Ну так ведь рано еще, — ответила за Мишу Марфа Никандровна.

— А я уже полностью освоил новое производство и собираюсь на днях выйти в передовики, — похвастался Силкин. — Только лен мне не больно нравится — худой, черный. Что за него можно получить?

— Ну так, Николай Иванович, ноне ему не тот и уход. Сколько он па корню перестоял лишнего, да потом на сырой земле корешки-то сколько в бабках гнили у теребленого, да в куче он, видишь, до какой поры долежал. По заботам дак он еще больно и хорош, необидчив. Здесь прежде-то знаешь какие льны были... Только с пашней, бывало, разделяешься — и за лен. С ним всегда до картошки управлялись. После-то весной под него боронили хорошенъко, раза четыре пройдешь, а забораниваешь только одним разком потоньше, чтобы семя повыше лежало и потом чтобы легче рвать было. А теперь его за-валят, что едва выдернешь. На навозную землю не сеяли — там травянисто для льна, а сеяли на овсища и на те, где рожь уже поросла до этого. Да все надо вовремя: если лист на березе полный — под лен пахать уже поздно... — Марфа Никандровна говорила, а руки делали свое.

— Ну дак тут у вас целая наука была, — удивился Коля Силкин.

— А ты как думал... Наука, да и какая! Каждый старался, чтоб у него не хуже, чем у всех, было. Да... А рвали еще зеленый. У нас, правда, мама говорила: «Погодите, девки. Вот листочки снизу подсохнут на четверть — и начнем теребить». А у кого много было льну, те рвали еще зеленым вовсе. Да и рвали не эдакими хапками... Горсточки делали маленькие, гораженькие, по четыре горстки на сторону и кладешь на поясок крест-на-крест. А перевязываешь сноп, так корешки всегда о землю уколотишь, чтоб не торчали, и головка получалась как отрубленная. Смеялись, у кого головка-то неровная.

— Ишь, какие вы, чуть что не так, обсмеивать, — снова вмешался Коля Силкин.

— А как же? На таких валявок да нерадих и ребята хорошие не глядели. Вот девки и старались. На земле-то уж вытеребленный лен надолго не оставят. Ну на какой день-два... Чтоб не подгнил. Потом развешивают на вешала, чтоб дождичком помочило, чтоб просох ленок да вывесьлся, тогда и семя легче отставало. Пока он сохнет, опять жнут. А мало ли было жать ржи, ячменя да овса. И все серпами... А потом уж лен околотят да и расстелют под августовскую росу. Стали ровненько, тоненько... Не то что вон ты, Николай Иванович, развалил втолстую. Так ведь изопреет все. — Силкин промолчал. — И лежал у нас ленок недели две-три под дождем. Хорошенько его пробухвостит — и ладно. Который позеленоватей был — тому помене лежанки, а кой поперостоял на корню — поболе. Возьмут потом опуток — ну на пробу, по-вашему, посмотрят, отстает ли костица от волокна и какое волокно: улежалое ли — белое, или неулежалое — пестрое, шершавое. Коли все в аккурат, опять собирают лен в вязаницы, большущие, снопов по пять будут, а он уж складистый, лен-то, — и везут на гумно да кладут в груды, а перед этим снова подсушат, чтоб не испортить. А уж потом его минут и треплют... Было с ним работы. Не с этого...

Марфа Никандровна увлеклась и не заметила, как к ним сзади подошел председатель Матвей Сергеевич Квасников.

— Все старину проповедуешь, Марфа, — недовольно сказал он.

— Да вот рассказываю, как раньше со льном возились да старались. А то от кого они, молодые, еще наслушаются.

— Ну, как дела идут? — Квасников повернулся к Мише.

— Да вроде ничего, — ответил тот неуверенно.

Квасников посмотрел, как ребятишки, шмыгая носами, растаскивают снопы красными от холода руками, держа их за цоясок и волоча по земле. Посмотрел и еле заметно поежился.

— Что, Матвей Сергеевич, холодновато? — спросил Силкин.

— Да, что-то познабливает.

— Меня вот тоже... Особенно когда на них смот-

рю, — Силкин передернул плечами. — Вон к вам дочка бежит... Ишь ты, чуть не упала, поспешила.

Машенька Квасникова училась у Коли Силкина в пятом классе. Белокурая, тонколицая, она мало походила на своего отца. Фуфаечка была ей великовата, поэтому рукава мать закатала на четверть, а полы почти доставали до коленок. Машенька было бросилась к отцу, но, увидев учителей, остановилась в нескольких шагах.

— Ну, что заботилась, работница? — сказал Квасников.

Девочка смущенно молчала и все норовила засунуть ручонки поглубже в карманы фуфайки, словно стараясь выбрать там из углов сухие крошки. Квасников видел, что дочка смущается, и не стал ее задерживать, лишь спросил о сыне:

— Где Федька, чего он не показывается?

— Тамо, — указала Машенька тонким пальчиком на толпу ребят.

— Ну ладно, беги и ты, работай.

Машенька убежала.

— Славная у вас девочка, — похвалил Силкин. — Старательная, хорошо учится.

— Да, ничего... Она и в школу выпросилась на год раньше. Видит, Федька с ребятами в школу ходит, книжки читает, в тетрадках пишет, — и ей надо. Буквы-то все уже в четыре года знала.

— И на работе за спины других не прячется, — снова похвалил Силкин.

— К этому она съзмалества приучена, к напольной работе. Еще бабка, бывало, заставляла меня маленькие грабельки для нее делать. А сама рано встанет, накосит сена и никому не дает дотрагиваться до него: это для Машеньки. Дочка проснется, а на мосту у дверей уж грабельки дожидаются. Возьмет их и пойдет в загороду, а бабка из окошка спрашивает: «Куда пошла-то?» — «Воротишь, — ответит, — а потом валки сгребать стану». — «Ну иди, — бабка ей. — Да смотри работай до обеда, а то кормить не буду».

Квасников негромко засмеялся счастливым смехом. Но потом словно опомнился и спросил:

— А где бригадир?

— Пойдемте, я провожу вас к нему, — вызвался Силкин. Ему сегодня председатель нравился больше, чем тогда, на педсовете, и он решил поговорить с ним начистоту.

ту. — Матвей Сергеевич, — начал Силкин, когда они немного отошли. — Я вижу, что вы любите детей.

— Люблю, — признался Квасников.

— Но вы любите прежде всего своих ребят...

Квасников насторожился.

— Не обижайтесь на меня, Матвей Сергеевич, что я так с вами говорю. Это потому, что я видел, как вы смотрели на свою дочь и как про ее грабельки рассказывали. Я ведь педагог.

— Да нет, я ничего, говорите.

— Я вот, Матвей Сергеевич, подумал о том, что ребяташки каждый год помогают колхозу...

— Это верно, и хорошо помогают.

— А вот колхоз им тем же не платит... почему-то.

— Так ведь чем помочь-то? Хотели им каток сделать. Даже пожарную машину для заливки организовали. И ребята поначалу хватко принялись помогать, сами по переменкам воду качали, да через день-два остыли. На том и кончилась затея.

— Ну, скажем, каток не такое уж горячее дело... — Силкин помолчал. — А почему бы колхозу не помочь школьникам в постройке интерната?

Квасников задумался:

— Ну это не я один решаю. Это можно только на общем собрании...

— Вот вы и поставьте этот вопрос на очередном собрании колхозников. Ведь их же дети учатся и живут в этом сарае. Кстати, вы давно были в интернате?

— Давненько...

— А вы загляните туда как-нибудь... Хорошо бы до собрания, чтоб убежденней говорить. И нас на собрание пригласите. Договорились?

— Ладно...

Колхозное собрание проводили в избе у Матрены Луневой, одинокой старой женщины, которая, говорили, дальше Никольска за свою жизнь никуда не ездила. Дом ее в Заполье любили за приветливость и простоту. Иные хозяйки не заводили широкой дружбы, не любили большой привады, после которой надо и пол мыть, и прибираться; обходились несколькими подружками, с кем и язык почесать можно, и в расход большой не входить. А у Матрены всегда гуляли людно, и пиво часто варили

у нее. Домашней работы она не гнушилась. Жила небогато, но всегда здесь можно было рассчитывать на пяток горячих картофелин и ведерный самовар, который ставила Матрена раза по три на день, потому что захожих у нее всегда было вдоволь, да и сама любила попить чайку с постным сахаром.

Каждый год Матрена пускала к себе на постой школьников, которым не хватало места в интернате. Денег ей за это никто не платил, да она и не взяла бы, потому что пускала ребятишек не для выгоды, а для веселья. Ребята над ней частенько подшучивали, подсмеивались, но она никогда на них не обижалась, напротив, всем хвалила их и выгораживала, когда деревенские бабы приходили жаловаться, что-де опять из огорожи батоги повыдергивали или поленицу раскатили.

— Нет, это не мои, не мои, девка! И не споруйся, не мои. Мои ребята этого не удумают, — убежденно защищалась Матрена Лунева, а дома после долго не могла успокоиться и ворчала: «Житья ребятам нету. Видят, что без отцов, без матерей, так все давай на них и вали. А робята вон какие уважительные: пи за что ни про что мне, старухе, дров нарубили да на саночках к дому вывезли».

А ребята Матрене всегда попадались самые озорные.

Матрена была глуховата, и у нее часто болела голова: не однажды она падала в подпол и с печи. Лечить эту боль сама приспособилась — никто ей не подсказывал — вкладывала в уши ватку, смоченную камфорой. И все говорила, что хорошо бы расстараться нюхательным табаком: тот еще лучше помогает.

Ребята как-то натолкли ей черного перцу: на, мол, баушка, нюхни табачку, раздобыли для тебя. А она, во всем доверчивая, и правда затянулась, да как запрыгает:

— Ой, до чего крепок! Ой, до чего...

Все хохотали до слез.

Часто по вечерам от нечего делать Матрена рассказывала ребятам про свою нелегкую жизнь: как растила деток, как потом они разлетелись в разные стороны, как хоронила мужа. А теперь вот ей не хватает стажа для пенсии и приходится работать. А силы ушли, как и молодость.

— Робишь, робишь, а робленого не видать, — жаловалась она без обиды. — Ничего наши здешние управители для старух не делают. Надо бы в Москву написать прошение.

В ту пору в Заполье как раз начали радио проводить. Матренины квартиранты помогали монтерам, и небеско-рыстро: удалось уговорить мужиков в первую очередь подвести провод к их дому. И скоро на передней стене Матрениной избы появилась большая черная тарелка репродуктора. С этого дня и началось веселье...

Бывало, прибегут ребятишки вечером к Матрени на двор, когда она корову доит, и кричат:

— Матрена, тебя Москва вызывает!

Матрена бросает доить корову и бежит в избу.

— Ой, ребята, как чего делать-то?

Они поставят ее напротив черной тарелки репродуктора, сунут в уши проводки и велят говорить, чтоб Москва услышала, да говорить громче, а то далеко, худо слышно. В это время кто-нибудь из ребятишек убежит за перегородку да с кухни не своим голосом и спрашивает:

— Как живешь, Матрена Ивановна?

— Да хорошо... Хорошо живу!

— А жалуешься на что?

— Да нет, ни на чего не жалуюсь. Вот бы только пенсию получить, а боле не на чего.

— Ну, как это для нас раз плонуть. Иди и спокойно дои корову.

— Ну ладно, — скажет Матрена, выдернет из ушей проводки и, возбужденная, пойдет додаивать корову. — Хорошо поговорили, — скажет. — И человек, сразу видно, хороший попался.

...Когда началось колхозное собрание, ребятишек разогнали: кого выпроводили на улицу, кого затолкали на печь. Все равно им сидеть было негде: народу сошлось порядочно. Председатель начал с самообложения. Попробовал взыскать по пяти рублей с дома, но бабы сразу заикнулись, заплакали.

— Ну чего вы заквохтали? — повысил голос председатель. — Дороги строить надо? Надо. Колодцы ремонтировать? Надо. Лавы через реку опять со льдом унесло. Каждый год приходится новые ладить. Кто задаром будет делать?

— Так не по пяти же рублей, Матвей Сергеевич.

Он еще поупирался и согласился брать по два рубля с дому.

— Пусть по-вашему будет... А вот масла мы опять го-

сударству недодали. Этого, товарищи, нам никто не позво-
лит.

Все присмирили, масла и правда недодали больше три-
дцати килограммов.

— Вот почему ты, Василий Павлович, двух с половиной кило не донес? — посмотрел Квасников на лохматого мужика, сидящего на приступке.

— Да так получилось, Матвей Сергеевич... Гости из Мурмана приезжали, им скормить пришлось, — виновато ответил тот.

— У меня тоже ноне гостили, тоже пришлось свое масло на стол выставлять. Дак я зато потом купил, но сдал. А ты чего, не можешь, что ли?

— Да могу вроде.

— Вот и прикупи!

— Придется...

Председателю понравилось, что Василий Павлович не заутиялся, сразу понял свою ошибку, и он взял в оборот Марфину сестру — Марийку.

— Да откуда у меня маслу-то быть, председатель? У меня ведь семеро. Семеро, — повторила она. — У меня они еще все молоком выхлебывают.

— А видишь, как Василий Павлович откликнулся? Ну вот! А тебе и подавно грех отставать. Ты у нас перевовая.

Марийке было нечего возразить, и она замолчала. Квасникову самому было неловко после таких побед, но действовал он решительно, как от него требовали. Он боялся, что, если начнет вникать в заботы каждого, разбираться и сочувствовать, ему никогда не выполнить плана по госпоставкам. Поэтому он немного помедлил, передернул правым обвисшим плечом и глухо кашлянул.

— Ну а ты, — уперся глазами Квасников в Марийкиного соседа, мужика с цыганистым лицом.

— А что я?

— Почему ты опять недодал?

— Мы с тобой, председатель, этот вопрос обсуждаем не первый год, а ты опять за рыбу деньги.

— Я не за рыбу, а за масло.

— Все, что мог, я отдал. Больше не дам.

— Ишь ты как...

— А вот так! И ты не имеешь права меня заставить.

— Не имеешь... — передразнил Квасников. — Свою сознательность надо иметь.

— Сознательность, — теперь уже передразнил мужик. — Тебе бы самому ее иметь не мешало. Вытягиваешь из народишко последние жилы, чтобы тебя в райкоме похвалили. А знаешь, как все это называется?

— Не знаю, не знаю, — сердито сказал Квасников. — Подскажи.

— Ну, если ты малограмотный — подскажу. Очковтирательство. Слыхал такое словечко?

— Не, не слыхал, — кочевряжился Квасников.

— Ну так еще услышишь. Когда за него тебя в том же райкоме драть будут.

— Сейчас штаны-то снимать или погодить?

— Точно я тебе не скажу, но думаю — скоро.

— Упреди меня, — попросил Квасников, — чтоб не опоздать.

— Без меня упредят. Всех вас... упредят.

— Да что ты на него навалился-то, — защитила председателя Матрена, — ведь не он один эдак делает, а все.

— То-то и худо, — откликнулся цыганистый мужик и замолчал.

А со школьным интернатом решили быстро. Все понимали, что жилье для ребятишек надо отремонтировать. Новое-то сразу трудно построить. Так что Коле Силкину не пришлось произносить своей пламенной речи. Да он сам к ней охладел после того, что здесь услышал. Но судьба деревенских ребятишек тревожила его постоянно, и помочь им он старался всячески.

Как-то после уроков с шутками да прибаутками Силкин затащил с десяток учеников в пустой класс и сказал:

— Вот что, ребята! Хорошо вы умеете работать, пора учиться и отдыхать хорошо. Чтоб с песнями и музыкой!

И так лихо развернул принесенный из учительской баян, что ребята оторопели, потом захихикали и начали жаться к стенкам и прятать глаза от смущения.

— Вот так будем жить! — объявил Силкин и вдруг скомандовал: — А ну садитесь за парты, нечего прятаться за спины друг друга. Кто из вас держал в руках гармошку?

Не сразу, но поднялось несколько несмелых рук.

— Добро! — сказал Силкин. — Значит, вас и баяну нетрудно обучить.

Он глянул на Пашку Синицына, который сидел, как обычно, позади всех, но слушал с интересом.

— А ты, Павел, что? Не играешь?

— Не, — признался Пашка с жалостью и досадой.

— Ну ничего, это не беда. Важно, чтоб было чувство ритма. А оно у тебя есть, я знаю. Мы тебя посадим за барабан. Хорошо?

Ребята засмеялись.

— А что вы смеетесь? — спросил Силкин. — Между прочим, ни один хороший оркестр не обходится без барабана. Ничего, Павел. Инструмент большой, но нетрудный. Ты парень башковитый, упорный — справишься.

Пашка притих, довольный, что с ним все разрешилось так легко и просто. Теперь и он будет в зарождающемся музыкальном кружке не последней спицей в колеснице.

— Ну а в хоре, я думаю, мы будем участвовать все, тут и обсуждать нечего, — вслух размышлял Силкин. — О солистах вот только надо подумать. Без них пропадем. Кто у нас поет?

Ребята опять запереглядывались, стали подталкивать друг друга. Наконец Пашка Синицын сказал:

— А тут нету.

— Чего нету? — не понял Силкин.

— Таньки Воротиловой. Она умеет.

— Надо сделать так, чтоб на следующем занятии она обязательно была! Павел, ты будешь ответственным за это. Понял? Смотри, с тебя спросим. Не я один, а все мы.

Силкин разошелся и уже требовал:

— А теперь плясуны. Ну скорей, нечего стесняться. Русского ведь пляшете на праздниках. А я вас научу и морское яблочко, и чечетку, и цыганочку...

Плясуны постепенно тоже появились.

— Ну вот, — подытожил Силкин. — Теперь вы все участники школьного ансамбля. Самое его ядро! Заниматься будем два раза в неделю после уроков. В ансамбле участвуют все, кроме двоичников. Так что, кто певзнатый оплошал — срочно исправляйтесь. И конечно, зовите всех желающих к нам: кто умеет петь, читать стихи, плясать, играть на чем-то — всех тащите. Ясно?

— Ясно, — уже хором ответили ребята.

— Вот и хорошо, — довольный, заключил Силкин. — Ну а теперь начнем первое занятие.

Директор школы, войдя в здание и услышав звуки музыки, распахнул дверь класса и остановился на пороге.

С любопытством оглядев всех, он остановил взгляд на Пашке и усмехнулся:

— Это что, и Синицын решил музыкантом сделаться?

Пашка сжался, отвернул скривившееся лицо и покраснел. Тогда Коля Силкин отставил баян, быстро встал со стула и, осторожно вытеснив директора в коридор, притворил за собой дверь.

— Зачем вы так, Николай Степанович? Он же ребенок.

— Ребенок... Опять вон в интернате дверку у подгопка выворотил.

— За это надо наказать, но не сейчас. Мы только начинаем дело. Вы же сами хотели, чтобы в школе был оркестр. Не смущайте ребят, не надо.

— Ладно, — согласился Клужин. — Не забудьте, что через полчаса у нас педсовет.

— Я все помню.

Миша вошел в учительскую в тот момент, когда Николай Степанович доказывал собравшимся учителям прошлогоднюю историю с молодой практиканкой Ниной Селезневой. Эту рыхлую, очень добрую и старомодную девицу Миша немного знал по институту.

— Ну вот... Второклассник загоняет в женский туалет после уроков девочку, с которой дружил и с которой его постоянно видели. А сама Нина Семеновна стояла на квартире у его матери. Да... Так загоняет он в женский туалет эту девочку, а та увертывается, не хочет идти. Нина Семеновна подплывает к ученику и спрашивает: «Коля, зачем ты ее туда?» — «Нина Семеновна, — говорит, — она мне нужна как женщина». Ту чуть кондрашка не хватил. «Коленька, что это ты говоришь?.. Как это нужна как женщина?..» — «А у меня, — говорит, — мальчик туда закатился, а она не хочет вынести».

Все засмеялись, но пуще всех заливался Николай Степанович. Таким его Миша видел впервые. Он даже взвизгивал, закрыв глаза и широко открыв рот, и Миша подумал, глядя на него, что у Николая Степановича такие редкие зубы, что если бы их сдвинуть поплотней, то вошло бы еще штуки три. После всего, что рассказала Марфа Никандровна, Миша смотрел на Николая Степановича внимательнее и пристрастней, вспоминал и сопоставлял различные факты и эпизоды, связанные с ним. Ему хо-

телось глубже понять человека, с которым пришлось не только работать, но и ходить под его началом.

Странны были — хотя и редкие — неожиданные клушиные переходы от здоровой, почти беспамятной веселости к глубокой задумчивости и угрюмой серьезности. Среди общей открытости и благодушия он вдруг спохватывался, что-то вспоминая, торопливо проходил в свой кабинет и подолгу оттуда не показывался. Это не только настораживало, но часто пугало, особенно женщин. В таких случаях многие не знали, как себя вести.

Видимо, это устраивало Клушина, он старался оставаться загадочной личностью и никогда не торопился с объяснениями. Ему нравилось, что он может спросить у любого учителя отчет о работе и даже поинтересоваться личной жизнью. Он может позволить себе пересказать, как родители отзываются о некоторых педагогах. А вот ему никто не осмеливался задать ни одного подобного вопроса. Силкин часто допытывался, почему все так боятся Клушина, и в присутствии коллег частенько шутил и спорил с директором. И на этот раз он вошел в училищную свободно и широко, разгоряченный музыкой и пляской, уложил баян в футляр, весело оглядел всех собравшихся на педсовет и покосился на директора:

— А почему, Николай Степанович, вы скромничаете и скрываете от нас, новичков, что успешно завершаете третий курс пединститута?

Клушин от неожиданности растерялся и покраснел.

Это была запретная тема. Ее не касался никто и никогда. Всем было известно, что Николай Степанович уже шестой год заочно учится в Вологодском пединституте. После сессии он почти никогда не приезжал без «хвостов». Каждый раз приходилось договариваться в деканате, чтобы ему как директору очень отдаленной школы предоставили возможность пересдать экзамены с другим потоком. И ему шли навстречу, но он снова заваливал экзамены, и, когда приезжал с сессии, все чувствовали по его молчаливости и замкнутости, что опять неудача. Учителя тогда к нему ни за чем не обращались и предупреждали ребят, чтобы те не шумели: директору-де не до них, очень плохо.

Только однажды Клушин вернулся из Вологды веселый, с подарками. Он много и охотно говорил, размахивал руками. Несколько раз при всех подходил к барабану и постукивал костяшками пальцев по сухой воловьей

коже. Барабан добродушно и охотно отвечал ему. Тот день все хорошо помнили, но он ушел в прошлое, а потом было столько молчаливых возвращений из областного центра, что о далеком счастливом дне больше вслух не вспоминали и вопрос учебы директора обходился привычным, сочувственным молчанием.

И вдруг Силкин!

Николай Степанович, оправившись от растерянности, посмотрел на Колю таким взглядом, что тот понял: с этого дня для него кончилась безмятежная жизнь. Надо серьезней готовиться к урокам, писать планы, ходить на все мероприятия...

И точно: только начался педсовет, Николай Степанович обронил:

— Прежде чем перейти к основному вопросу педагогического совета, я хочу напомнить нашим молодым товарищам, что они давно не представляли планы своей работы. Попрошу к понедельнику это сделать.

— А можно, я завтра принесу? — перебил его Силкин.

— Пожалуйста, если нетрудно...

— Нет, отчего же!

Когда разговор пошел о политехнизации школы, директор толком ничего сказать не смог, хотя ездил на областное совещание по этому вопросу и получил в руки какие-то инструкции. Чтобы выйти из положения, он пошутливо предложил практикантам:

— Может быть, вы просветите нас? Ведь вы приехали недавно из областного центра. Люди молодые, грамотные...

— Вы все шутите, Николай Степанович, — начал Силкин, — а дело-то серьезное. Вы хоть представляете, что от вас потребуется?

— Что?

— Построить специальные мастерские.

— Так уж сразу?

— Пусть не сразу, но потребуется. А у вас еще порядочного интерната нет.

— Выделят деньги, бригаду, дадут материал — я построю.

— Кто же вам это даст? — вскинул Силкин. — Да сразу! Тут надо самому шевелиться, кого-то просить, а кого-то и за глотку брать.

— Выраженьца у вас, — поморщился Николай Степанович.

— Дело не в выражениях, а в сути, — резко сказал Силкин. — Действовать надо! Болеть за дело, которое нам поручено. Я так понимаю.

— И мы так понимаем, — невинно сказал директор.

— А раз понимаете, надо засучивать рукава, добывать оборудование, готовить специалистов...

— Ну-ну-ну, — замахал руками директор. — Вы развернули такой план, который не каждой городской школе под силу. Мы пока постараемся обойтись без посторонней помощи, собственными средствами.

— Какими?

— Обычными. Женщины будут учить девочек шить, вязать, вышивать. Для этого не надо отдельного помещения. Иголка, нитка и кусок материи у каждого найдется. А ребятам — пилу в руки, молоток, рубанок. Лесу вокруг хватает, пусть строгают да пилят. Глядишь, заодно и дровишек для школы заготовят.

— Вот это и есть, Николай Степанович, оношление идеи, — мрачно сказал Силкин.

— Как?

— А вот так. Вы все понимаете, только работать не хотите.

Директор передернулся, поджал губы и уставился на Силкина.

— Вы не забывайтесь, Николай Иванович.

— Я не забываюсь. Грустно, что педагогические принципы в нашей школе подзабылись. — Силкин осмотрел собравшихся, встретился с одобрительным взглядом Василия Егоровича Каравчева и продолжал: — Вы простите меня, товарищи, если я кого-то невзначай задену, но за время пребывания здесь я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь упомянул Макаренко или Коменского, Пирогова или Песталоцци. Ни одного портрета на всю школу не додумались приобрести. Не слышал я, чтобы кто-то поделился впечатлением от прочитанного романа или повести, не говоря уж о стихах, чтобы кто-то говорил о музыке или живописи. Я понимаю, у нас нет концертных залов или художественных выставок, но весь день играет радио, есть своя, пусть и маленькая, библиотека, где пылятся альбомы сrepidукциями великих мастеров.

Анатолий Леонидович Липатов боязливо посматривал на директора и, видя его нескрываемое недовольство, решил одернуть Силкина:

— Что вы хотите всем этим сказать?

— Ах вам опять непонятно, Анатолий Леонидович? — обернулся к нему Коля. — Я хочу этим сказать, что педагог обязан быть культурным человеком.

— Правильно сказано, — поддержал Силкина физик Сергей Николаевич.

— И ответственным человеком, — продолжал Силкин. — Потому что нам доверены дети, которых мы должны воспитать, развить, вырастить.

— Мы это и делаем, — встрепенулась Василиса Петровна.

— Плохо делаем, — резко осадил ее Коля. — Надо лучше. Мы сначала занимаемся собственным домом, личным хозяйством, своими ребятишками, а потом уже учебными планами.

— Ну зачем же так, — обиделся директор.

— Разве я не прав?

— Вы отклоняетесь от главной темы.

— Хорошо, я выскажу свою точку зрения и о политехничесации. Так начинать это серьезное дело, как вы, Николай Степанович, не годится. Нельзя быть равнодушным к будущему своих учеников. Ребят надо готовить к практической жизни, обучать первоначальным житейским премудростям, но с учетом их природных наклонностей. А знаете ли вы, к чему тянетесь, например, Пашка Синицын?

— К цигарке, — хохотнул директор.

— А кроме нее?

— Кроме нее? Кажется, уже к девицам.

Анатолий Леонидович и Василиса Петровна захихикали.

— Жаль, что так скучны ваши наблюдения, — покачал головой Силкин. — Видимо, вы даже не слышали, что он собирается в летнее училище.

Директор недоверчиво посмотрел на Коля, переглянулся с Липатовым.

— Да, да, — подтвердил Силкин. — Именно в летнее. Значит, его надо уже сейчас готовить к этому, прививать любовь к механизмам, двигателям. А у нас в школе, кроме кобылы, ни одного двигателя нет. Значит, надо найти хотя бы мотор с какой-нибудь списанной автомашине.

— И не такая уж это проблема, — поддержал Василий Егорович Каравеев. — Лесопункт рядом. Наверняка дадут. Их же ребята у нас учатся.

— Но кто будет учить этому ребят? — засомневался Сергей Николаевич.

— Это очень пепростой вопрос, — сказал Силкин. — Уроки труда в школе должны вести люди знающие. Человек, который сам не умеет правильно держать инструмент, не только не научит делу, а даже оттолкнет от него.

— Так что же вы предлагаете? — спросил директор.

— Это бы должен я у вас спросить, Николай Степанович. Вы пока директор.

— Пока я, — согласился Клушин. — Но вопросы ставите вы. На это мы все мастера. А вы ответьте сами хотя бы на один из них.

— Пожалуйста: надо готовить учителя труда. Грамотного, любящего свое дело, умеющего говорить с ребятами.

— А еще?

— А еще: пора и нам становиться настоящими педагогами. Мы должны стремиться к тому, чтобы даже внешний вид учителя вызывал у ребят уважение, а идеи его увлекали, звали на большие дела. И пусть они не совершают ничего грандиозного, зато будут стремиться к этому, а значит, скрасят свою повседневную жизнь, не станут в ней прозябать хотя бы...

Силкин сел, и какое-то время в учительской стояла напряженная тишина. Потом запоскрипывали стулья, раздались покашливания, и директор наконец произнес:

— Вашими бы устами да мед пить...

— Неужели вам самим этого не хочется, — с досадой спросил Сергей Николаевич.

— Мало ли чего мне хочется, — с возмущением ответил Николай Степанович.

— Молодой человек все верно говорил, — продолжал Сергей Николаевич. — И дай бог ему пронести через всю жизнь свое горячее сердце. Именно такие люди и нужны нашей педагогике.

— Совершенно с вами согласен, Сергей Николаевич, — наконец обнаружился и Миша Колябин. — Я полностью поддерживаю Силкина и рад, что у нас сегодня завязался такой разговор...

...А потом дома, вновь переживая этот педсовет, Миша записывал в свой дневник:

«Какой молодец Силкин. Давно надо было об этом поговорить. Он, конечно, не мог сказать всего о наших женщинах-учительницах. Они особенно быстро сдают свои позиции. Может, оттого, что никакие убеждения и

выстраданные принципы их и раньше не отягощали. Многие ведь и за учительский стол попали волей случая. Может, поэтому они так мало следят за своим развитием — да и за собой тоже! — и прежде всего запяты хозяйством, которое их постепенно засасывает, и ребятишками. Я был поражен, когда впервые увидел их руки, жесткие, в ссадинах, в мозолях. Положи эти руки рядом с руками простых колхозниц — не отличишь. А без хозяйства в деревне не житье. Где тут взять время на самообразование?

По-моему, директор на Силкина затаил зло: еще никто не обвинял его в нежелании по-настоящему работать. Даром Коле это не пройдет, чувствую. А мне, признаться, неловко, что я активно не поддержал друга. Не умею я так говорить, как он. Да еще на людях».

Миша задумался и над своей жизнью: верно ли он все делает? Правильно ли выбрал дорогу в жизни? Так ли у него складываются отношения хотя бы с собственным братом? Вроде не совсем так...

Вызвал Миша как-то Игоря к доске и предложил образовать от инфинитива несколько причастий действительного залога. Игорь растерянно забегал глазами по классу, но все молчали. Он покраснел, опустил голову.

Миша, прохаживаясь около доски, несколько раз строго взглянул на брата, глубоко вздохнул и вывел в журнале жирную двойку.

Близился конец четверти, все двоечники давно были опрошены, и кое-кому из них уже можно было патинуть за четверть тройки. Игорь терпеливо ждал своего часа. Дни шли, а его не вызывали. Однажды за ужином он не выдержал.

— Почему ты меня не спрашиваешь? Я давно все выучил.

— Учи не только то, что задано. Я тебя по всему материалу гонять буду. А когда тебя спросить — это дело учителя. И вообще на рабочие темы дома говорить не будем. Я смотрю, и по математике ты не блещешь. Тройку с минусом схватил. Мне из-за тебя пришлось краснеть перед Василисой Петровной. Ты что, собираешься по-пластунски из класса в класс переползать? Да знаешь ли ты, что такое тройка с минусом?

— А что?

— А то! Это двойка с плюсом. Постыдился бы. Этаким фертом прикатил: в галстуке, с коком, в клетчатом

костюме... Все, наверно, думали, ну этот покажет. Показал...

Миша придумал для Игоря наказание: как только тот хватал «пару», он лишал его и без того скучных удовольствий деревенской жизни. Ему не позволялось кататься на колхозных лошадях, хотя у Игоря и установились приятельские отношения с бригадиром и со школьным конюхом Митей. Не брали Игоря и на охоту. Бывало, встанет он задолго до Миши, ружье и патронташ проверит, портнянки сухие с печки достанет, сапоги принесет, чтоб согрелись прежде, чем их надевать, все сложит, приготовит, на стол еду соберет — и только потом разбудит брата. Да все поторапливает, чтоб набродиться по лесу до начала уроков.

Миша редко давал ему стрелять из ружья, но Игорь этого и не требовал. Он просто бегал с Жучком по лесу, высматривал белок и пальников (тетеревов) и сжимался, приседая, в предчувствии выстрела.

Счастью не было предела!

А теперь он водил лошадей на водопой под уздцы, не смея ездить верхом; по-прежнему снаряжал брата на охоту в надежде, что тот разжалобится и позовет с собой. Хотя бы ружье поносить!

Порой Мише жаль было брата, но он не показывал вида. Ведь он привез Игоря сюда не отдыхать, а работать. Коль скоро у них нет отца, то восполнить недостаток мужского начала и воли в семье обязан он, Михаил. Он заставит Игоря получить среднее образование, а потом пусть сам смотрит, как дальше жить.

Наконец Миша решил вызвать Игоря к доске: четверть кончалась. Он почувствовал, как весь класс напрягся, стоило ему назвать фамилию брата.

Когда Игорь без запинки отбарабанил первое предложенное ему правило, вздох облегчения прошел по партам.

Миша задал еще вопрос:

— А что ты знаешь о кратких прилагательных?

Игорь несколько замешкался.

— О кратких прилагательных?..

И тут же с третьей парты около окна послышалось движение. Это Пашка Синицын прилаживался, чтобы выручить друга. Он совсем прилип подбородком к парте и еле слышно шевелил вытянутыми губами: «Кратким прилагательным называется...»

«Сидел бы лучше, подсказчик, — подумал Миша Ко-

лябин, — сам недавно в сочинении так отличился, что хоть в «Крокодил» посытай: «в камышах чирикали журавли», «на трибуне сидели женщины и аплодисменты»... Правда, не он один. Коля Холодилов, например, утверждал, что «...метро — это которое ездит взад и вперед». Смешно и грустно. Ведь многие ребята ни разу в жизни не видели не только метро, но и пятиэтажного дома...

Игорь, собравшись с мыслями, ответил и на этот вопрос, о кратких прилагательных.

Минут двадцать Миша гонял брата. Время, отведенное на опрос, истратил па него одного и убедился, что брат не подвел.

— «Пять». Садись. Но с минусом. Были некоторые неточности, — минус он поставил только для того, чтобы Игорь не очень зазнавался.

Класс ликовал. Игорь сидел, опустив глаза, и медленно приходил в себя от пережитого. Спокойствие в классе наступило не сразу.

Видно было, что за Игоря переживали, и Мише понравилось это: значит, приняли в свою среду, считали своим.

Сегодня Игорь с полным правом вкушал прелести сельской жизни: носился с Пашкой Синицыным по крутым берегам речки Кемы и, главное, — дорвался до любимых лошадей. Забыл даже хлеба к завтрашнему дню привести. «Наказать или нет?» — засомневался Миша, но, поразмыслив, решил, что излишняя строгость не только не воспитывает, но и озлобляет. «Ладно, схожу сам. Задно проведаю Петю. Кажется, приехал из лесу».

Марийка пекла хлеб на всю деревню. Она охотно согласилась на должность хлебопека. При большой семье от любой работы не бегают, а тут хлебная мягкая корочка у ребятишек всегда будет под руками. Да и колхозникам далеко и никогда бегать в Верховино за магазинным хлебом.

Миша вошел в избу, когда младшие Марийкины ребята сидели на половике вокруг Гришки и играли в школу. Гришка надел материны очки, которые сползли на верхнюю губу, и листал учебник географии старшей сестры Тани, пока ее не было дома.

— Скажи мне, Воротилова Зинаида, — закидывая голову, чтобы очки смотрели прямо на Зинку, спрашивал он, — какие материки ты знаешь?

Зинка покрутила головой, поддернула сопли и пропищала:

— Холстину...

— Я тебе про страны говорю, а ты про одежду.

— Ты неладно, Гришка, задаешь, — упрекнула она брата.

— Все ладно. А я тебе теперь не Гришка, а Григорий Петрович! — Он подтянул очки на нос, но они тут же снова упали на верхнюю губу.

Когда ребята увидели вошедшего в избу учителя, игра сбилась, и они замолчали.

— Ну что, учимся? Хорошо делаем. А где отец с матерью?

Из-за кухонной перегородки выглянула Марийка, раскрасневшаяся у горячей печки. Она топила ее с вечера, да и за хлебом к ней обычно приходили тоже вечером. Марийка как раз доставала свежий хлеб и покрывала его мокрой холстинной тряпицей, чтоб поотмяк.

— Здравствуй, Михаил Васильевич, — кивнула она и посмотрела на Мишу большими добрыми глазами. — Погоди маленько. В самый раз на свежака патахался — горячего и унесешь.

— А чего хозяина не видно?

— Да вон лежит на печи.

— Что так?

— Да температура во весь градусник. Едва из лесу приволокся. Сейчас-то вроде отлегло маленько. Петька, ты там не спиши ли? — крикнула она мужу.

— Не сплю, — отозвался тот и отдернул ситцевую занавеску.

— Болеешь, Петр Васильевич?

— Да нет, вот лежу, об Кубе сумлеваясь. Как у них сейчас там, не слыхивал?

— Нет, не слышал, — растерянно ответил Миша. — Сам-то как живешь, рассказал бы.

— А чего, живем — не тужим.

— В лесу-то тяжело?

— В лесу-то? — переспросил Петья и улыбнулся. — А день топором помахаешь, да к вечеру о бабе не вздумаешь.

— Ваня-то Храбрый не с тобой работает?

— Да недалеко.

— Он-то как там?

— Да ведь у него и худо, да виду не покажет. Атаман...

— Он ведь и в тюрьме не один год сидел, — пояснила Марийка. — Большую ношу перенес. Совсем Храбрый-то от вина довелся. А ты, гляжу, Михаил Васильевич, у нас подороднел. Видно, тебе здесь климат и вода подходящие.

— А за что его в тюрьму-то? — спросил Миша про Ваню Храброго.

— Да не поладили они чего-то с одним гербованым, — сказал Петя. — А Ваня-то тогда на тягаче работал. Вот он вынул из кабинки-то небольшой молоточек грамм на шестьсот да и дал тому по лобу. Он не труса!

— После тюрьмы-то хотел дома жить, пришел — ничего нет, ни на себя, ни под себя. Все разбежались от него. И пошел опять в лес. Там побыстрей разжившись. Раньше-то ломались, да ведь ничего не получали, а теперь иные много зарабатывают, — помогала мужу Марийка.

— Да деньги-то у него водятся, — проговорил Петя петоропливо, — вот с бабой не везет мужику. Время уходит, уж волос осталось на одну драку, а детишек так и не завел.

— Сходились бы, правда, с нашей Таиской. Тоже ерундит она много, — подсадowała Марийка, — чего уж, и мужик бы, глядишь, выладился, может. Да и к хозяйству стал бы приставать. А то носит его туда-сюда, как осиновый листок. Что глядеть, что отсидел. Бывает, и бог недоглядит, а враг горами качает, не то что напим братом...

Миша взял буханку хлеба, стал прощаться и взглянул на ребятишек. Те молча на него смотрели такими же огромными, как у матери, глазами.

— Ну, Григорий Петрович, продолжай занятие по географии.

— Григорий-то Петрович у нас учливый парень. Не то что девки, лодырицы, — похвалила сына Марийка.

— Нет, почему же, у вас и девочки старательно учатся.

— Чего им не учиться-то? — опять отозвался с печи Петя. — Мы вон раньше-то в опорках да лаптях бегали на уроки. Потуже веревку затянул, да и пошел. Упорно учились. А нашим теперь? Только начал учиться — подай сапоги, пакорми. Да и с собой еще хлеба дай. Другое дело... Ну-ка давай садитесь да читайте! — неожидан-

но прикрикнул он на ребятишек. — А то посажу на ночь в хлев.

Миша застуился за ребят и почувствовал снова на себе взгляд теплых Марийкиных глаз.

— Не надо их в хлев. Они хорошо четверть заканчивают. А дома-то у вас как по-праздничному!

На стенах действительно было парадно. Всевозможные плакаты, которыми хвастался Петя, почтовые открытки с цветами и флагами, вырезки из журналов с яркими приморскими и зарубежными видами и даже несколько фотографий знаменитых артистов. А возле зеркала веером прибиты распущенные крылья добытой Петей дичи: вороные с голубоватым отливом и белой поперечной полосой — косача, бурые и широкие — глухаря и с бирюзово-небесной нежной отделкой — местной сойки, или, как ее называют по-здесьнему, роижи.

Миша Колябин вышел на крыльце, посмотрел в поле и увидел сквозь надвигающиеся сумерки ясный горизонт. Он с минуту постоял, потом с буханкой, зажатой под мышку, сбежал с крыльца и не торопясь направился к себе. Проходя мимо дома Вани Храброго, он услышал голоса и замедлил шаг.

«Видно, снова стосковался по дому, решил наведаться», — подумал он.

Но голоса были невзрослые. Прислушавшись, Миша узнал нетвердый басок брата.

— Ты же его пе знаешь, так чего говоришь?

— Как не знаю? Я же вижу, пе слепая. Зачем он к тебе все придирается, никуда ходить пе дает...

— У меня двойки были.

— У всех двойки бывают. Дак уж из-за этого все и терпеть.

Миша узнал собеседницу Игоря — Таню, старшую дочь Марийки и Пети.

Он обратил внимание на эту девочку еще на расстое льна — вежливую и опрятную. Вид у нее часто был озабоченный, а глаза такие же большие и добрые, как у матери, но в глубине их таилась какая-то недетская серьезность.

Дома Таня во всем помогала матери: ухаживала за скотиной, занималась уборкой, возилась с младшими братьями и сестрами.

Как-то положили Марийку в Борковскую больницу, ошпарилась она у печи маслом. Недолго полежала там,

переспала ночь и на другой день к вечеру явилась в Заполье с перевязанной рукой. Соскоблила о голик у порога грязь с сапог и только вошла в избу — ребятишки бросились к ней, обхватили ноги, закричали: «Мама пришла! Мама пришла!» — и стали развязывать узелок, который она положила на крашеную табуретку. Там был белый хлеб. Марийка весела Тане отрезать всем по куску.

— А преников не принесла? — спросила Маня.

— Нет, Манюшка. Не было ихNone в магазинчике, милая. Вот пойду в Верховино, обязательно куплю преников. Орешков дак вот принесла.. — и она достала из кармана полную горсть сухих сливовых косточек.

— Компотом поили, дак жижицу-то я сама выпила, а орешки вам прибрала. Там их много всегда остается...

Ребята разобрали орешки и принялись грызть, Марийка погладила Машу по курчавой головке, потом вынула здоровой рукой из своей головы гребенку и стала ее причесывать, сидя на краешке табуретки.

В доме все ладно: и печь вытоплена, и ребятня накормлена, и выметено изо всех углов. Марийка достала из кармана пальто сверток.

— Это тебе за работу, — сказала она Тане. — За домовничанье.

— Ты чего, из больницы-то убежала, что ли, мамля? — Таня развернула сверток и увидела новые тетради и карандаши.

— Убежала, Танька! Чего я там прохлаждаться буду. Не такая у меня болезнь. Дома долечусь. Да и тебя от школы оттягивать нехорошо.

— Я бы догнала...

Миша знал о девочке много хорошего, относился к ней с большим вниманием и теплотой и теперь, поняв, что разговор идет о нем, прислушался.

— Чего ему от тебя надо-то?

— Хочет, чтобы я человеком стал.

— А ты разве не человек?

— Человек... Но он хочет, чтоб я с большой буквы был.

— И ты хочешь?

— Не-е...

— Ну дак чего он тогда?

— Кто его знает.

— То-то и оно!

— Да он сам втрескался тут у вас в медичку одну, а на мне зло срывает.

— В какую медичку?

— Которая уколы делала.

— Ой, в Настю? Так ведь она за Минькой Синицыным бегала, за Пашкиным братом. А он уехал...

— Ну и что из этого?

— Как что? Жалеет, поди-ко.

— Это худо...

— Да я не знаю, может, она уж Миньку-то и не ждет боле. Может, все еще у них и выйдет. Как у нас...

Они немного пошептались и затихли.

«Неужели целуются, сопляки?» Но было тихо. «Как она меня?» — подумал Миша и, озадаченный, пошел дальше.

В сенях он встретился с Марфой Никандровной. Она только что вернулась с реки и принесла на коромысле белье. Зимой здешние бабы приносили белье домой на коромысле, отжав на берегу только большую воду, а потом на веревке подвешивали его к потолочному крюку и под стекающую с белья воду ставили кадцу.

В избу зашли вместе.

— Ты не к Марийке ли ходил?

— К пей.

— За хлебушком... — посмотрела Марфа Никандровна на буханку. — Что-то она тебе дала подзапаленную маленько. Ну да в потемках съешь. Ватага-то вся у них дома?

— Дома.

— Ой и ватага! — протянула Марфа Никандровна, развязала платок и села на лавку. — На эту ватагу колбан-то хлеба пока только режешь, не успеешь глазом моргнуть — уж подчистили. Ну, теперь уж Марийка боле не принесет, все выносила, и за нас отстаралась с Тайской. Ведь одиццать робенков на своем веку принесла. Виши вот, токо четырех-то бог приbral еще в те годы, в несытые-то. Устала и сама Марийка от родинов. Последним-то забеременела, хотела пойти на Борок оборт делать. Не дал Петька. Всех посадил за стол ребятишкето и говорит: «Ну, выбирай любого, которого выберешь — того и бей!» Она на него: «Ты, — говорит, — что, ополоумел?» А он ей: «Ну вот: этих жалко? А ведь там такой же человек! Рожай, всем хватит свету белого. А что, как сама зачахнешь? Нет уж, — говорит, — сделаешь оборт,

так дому не хозяйка и мужу не жена. Здоровье-то один раз приходит». Так и не дал. Вот Васька-то и народился.

— Ай да Петя! — удивился Миша. — А с виду и не пэдумаешь.

— Петья, он такой, — с гордостью сказала Марфа Никандровна, — только сейчас-то худой стал, все в лесу ломается. Да и Марийке достается досыта. Тоже не цветна стала. Сама па скотном дворе бьется, да и дома дела выше головы. На корову-то каждый раз накосить надо. Везде-то уж, везде, под каждым кустиком выстригет. И ребятишк-то с собой заберет, мало ли надо травы на напиу зиму? Вот пасвязывает веревкой-то им сена ношицы по пять да кому по десять фунтов, и понесут один по заодному... Ой, лучше не вспоминать, да сердце не надсажать!

На другой день братья сидели друг против друга и писали письма. Миша писал матери: «...курить не курит, не замечал, и другие не жаловались. Да я бы сам унюхал. А вот на девочек поглядывает. Недавно подошел к его парте после уроков, а там кто-то химическим карандашом уже написал: «Игорь+Таня», и так далее. Таню я знаю хорошо. Девочка серьезная, старательная и честная. Дружба эта ему только на пользу. Особенно его не прижимаю, но и вольничать не даю. Он мне все больше начинает нравиться. Завтра беру его с собой на охоту...»

А Игорь, прикрыв свой листок ладонью, расписывал кому-то из дружков свое райское житье в деревне: «...с братом я договорился сразу: ты сам по себе, я сам по себе. Так и живем: один день я сплю на полу, а он на матрасе; другой день я ему говорю: «Сэр, соломенный матрас соскучился по вас». И он спокойненько укладывается вместе с киской Буской. Надо сказать, что он будет неплохим учителем...»

— ...Спали бы до обеда, никуда ваши дичи не убегут, — выговаривала Марфа Никандровна ребятам, видя, в какую рань они поднялись па охоту, — хоть в выходной бы хорошенько выспались. На солновсходе-то уж больно сладко спится. И малому-то не отдыхается... В школу дак едва растолкаешь, а тут скоро срядился. Да и Жучку-то нет спокоя, поди-ко, и во сне уточки снились. Ну, коли

стреляйте тогда боле, дак Ваня на тракторе преперит за вашей дичей.

Жучок в предчувствии охоты возбужденно смотрел то на Мишу, то на дверь, нетерпеливо повизгивал, крутил хвостом, словно поторапливал. Это был кобель немолодой, но бойкий. Видимо, помесь дворняги с лайкой. А деревенские собаки, вырастающие в непосредственной близости к лесу и полю, настолько развиваются заложенные в них природой задатки, что в настоящей охоте всегда дадут сто очков вперед любой породистой медалистке.

Как-то еще молодым щенком подобрала Таиска Жучка на осенней верховинской дороге. То ли он отстал от проходящей подводы, то ли убежал в лес и заблудился. Голодал, видно, не один день, отошел, вымок и весь дрожал от холода.

Таиска позвала его: «Жучка, Жучка». Щенок подбежал к ней и поглядел какими-то человеческими глазами. Таиска взяла его на руки и сунула под фуфайку.

«Ну вот, и мне смелей будет идти по вечерней дороге», — подумала она.

Принесла домой, накормила, приласкала. С тех пор каждое утро щенок сопровождал ее на скотный двор, а вечером встречал.

Когда он подрос и начал обнюхивать углы, поднимая возле них ногу, сестры поняли, что никакая это не Жучка, а кобель. Они не растерялись и быстро перекрестили его на Жучок. Собака не заметила никаких изменений в своем имени и так же радостно мчалась на зов.

...Когда пришел Вася Синицын, Жучок первым выскочил на улицу в открытую дверь и, потыкавшись носом в оттаившую тележную колею, побежал к ферме.

— Он на белку добро идет, — сказал Вася.

— И на хлеб с маслом — тоже, — усмехнулся Миша.

Он вспомнил, как совсем недавно Вася Синицын водил их с Колей на охоту за последними утками по речке Кеме. Силкин и Миша, напряженные и серьезные, шли по разным берегам реки с ружьями наизготовку. Тогда они сбили трех уток, вылетевших из прибрежной осоки. Вася, счастливый и возбужденный удачной охотой, рассказывал тогда под зареченным стогом всякие деревенские новости: о своей семье, о старшем брате Миньке, который служил в Заполярье и присыпал им оттуда фотографии — и у знамени, и с автоматом, и со своим новым другом, с ко-

торым они теперь вместе уехали на стройку. Рассказал и о Насте. Тогда она работала в Макаровском лесопункте медсестрой и ходила к ним гулять. Мать давала ей читать Минькины письма. А когда пришло письмо, где Минька сообщил, что ему обещают комнату и у него есть другая невеста, которая с ним давно работает, мать расстроилась. Она не сказала об этом Насте, но та сама обо всем догадалась и вскорости перевелась в Борковскую больницу.

На этот раз Мише опять хотелось выведать что-либо у Васи о Насте, но тот, как нарочно, молчал, а самому начинать разговор не хотелось, — боялся выдать себя.

И вдруг неожиданно без всякого повода заговорил о Насте Игорь:

— Вася, чего про нашу медичку-то слышно?

Миша обомлел.

— А ничего такого. Живет себе на Борке, — как ни в чем не бывало ответил Вася.

— Работает там?

— Ну, уколы всем делает...

— Чего-то она давно к нам не заглядывает.

— А позвать надо, так и придет. Вот заболей чем-нибудь, тогда к тебе и позовем, — подсказал Вася.

Удалось еще выведать у Васи, что сватался недавно к Насте начальник их клуба, но получил отказ. Однако от своих намерений не отказался. А старуха, у которой живет Настя, поругала ее: парень-де самостоятельный и в хороших годах.

Миша возвращался в деревню довольный, хотя поохотились они незажно. Он даже разрешил ребятам пальнуть по кривой сушине и обещал добыть для них другое ружье к следующей охоте.

После этой охоты в светлое и бодрое осеннее время и пришла Мише счастливая мысль провести пионерский сбор на природе. Пора было себя проявить не только как учителю литературы, но и как пионервожатому.

Как раз стояли влажные осенние дни. Уже вовсю падали с берез и осин разноцветные листья. Их подхватывал подоспевший ветерок и, недолго покуыркав вдоль дороги, собирая в неглубоких лужах, и темно-серый проселок становился живым и нарядным от этих частых рялужных островков. И даже с ревом проезжавшие машины и тракторы, подминая под себя светящуюся листву и взбаламучивая воду, ненадолго портили сложившуюся

картину, потому что вскоре листья всплывали и расправлялись, а ближние березы и осины посыпали лужицы сверху яркими свежими листочками.

Большие ветра еще не пришли, не натащили холодных дождей и низких обложных туч, из-за которых не видно бывает ни восхода, ни заката, и свет дневной неустойчив, мутен и недолог, а ночи ветрены, томительны и бескокечны, с дурными предчувствиями и тяжелыми снами.

Миша решил устроить не обычный сбор в четырех школьных стенах, а вывести ребят на берег речки Кемы, в окружение облетающих берез и осин, поговорить о самом дорогом и заветном для человека — о его Родине.

На совете дружины, председателем которой была Таня Воротилова, решили назвать этот сбор «Моя Родина».

— Хорошо бы, Таня, разучить походную песню, почитать стихи, наконец, конкурс какой-то объявить, — сказал Миша.

— А мы придумали викторину.

— Тоже хорошо. Какую?

— А кто больше знает пословиц и поговорок о родной природе или кто больше перечислит песен, споет частушек.

— Молодцы, — похвалил Миша. — Это будет интересно. Только нельзя пускать это дело на самотек. Нужно назначить ответственных за каждый участок работы. Смотри не упусти чего-нибудь.

— Не упущу, — пообещала Таня.

Миша поговорил с Колей Силкиным, и тот заверил, что через неделю он разучит с ребятами и походный марш, и хорошую песню о Родине. Одним словом, всю музыкальную часть возьмет на себя.

И вот погожим утром большой отряд возбужденных и счастливых ребятишек двинулся от школы по неширокой проселочной дороге в сторону реки и леса. Впереди шла Таня Воротилова в легоньком пальто. На шее трепетал застиранный красный галстук, тщательно проглаженный для такого серьезного случая. Она легко и четко отбивала шаг.

Сразу за ней шли Коля Силкин с развернутым на груди баяном и Пашка Синицын, истово колотивший в большой гулкий барабан. Походная песня была не пионерской, а солдатской (видимо, Силкин ничего не мог вспо-

мнить более подходящего), но ребята горланили изо всей мочи, стараясь возместить недостаток стройности искренностью и силой вложенного в нее чувства:

Солдаты, в путь,
В путь,
В путь.
А для тебя, родная,
Есть почта полевая.
Прощай!
Труба зовет.
Солдаты,
В поход!

И всех больше старался Вася Синицын, гордый тем, что его старший брат идет впереди колонны и дубасит что есть силы кленовыми палочками по воловьей коже барабана.

Когда отряд поднялся па высокий холм, окруженный желтеющими деревьями, и была дана команда построиться полукругом, Вася Синицын заволновался, понял, что ему сейчас придется запевать душевную и щемящую песню, слова которой он выучил по радио, еще когда ходил в третий класс.

То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где жайдешь еще такой?

Он специально накануне выпросил у матери новую рубашку и, отыскав засохшую ваксу, разогрел ее на загнетке и намазал сапоги, а сегодня с утра надраил их припасенной тряпочкой, чтоб они блестели как новые. На лацкан старенького пиджака он прицепил блестящий значок с портретом Гагарина и чувствовал себя наверху блаженства.

Когда песня затихла, Таня Воротилова вышла из общего хора вперед и объявила:

— А сейчас стихи о Родине нашего земляка, поэта Александра Яковлевича Яшина, прочтет ученик седьмого класса Игорь Колябин.

Миша не знал, что подготовлен и такой номер. Это от него скрыли. И с напряжением ожидал, что же получится.

А получилось все как следует. Игорь вышел на полянку, снял с головы кепку и звонко объявил:

— Александр Яшин. «Только на родине».

И так же звонко, неторопливо и без особого смущения прочел первую строфи:

Да, только здесь, на Севере моем,
Такие дали и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполохов на небе ночном.

Его слушали внимательно, и от этого уверенность в нем крепла, голос наливался крепостью, звучал чисто и убедительно:

И уж, конечно, нет нигде людей
Такой души, и прямоты, и силы,
И девушек таких вот, строгих, милых,
Как здесь, в лесах,
На родине моей.
Но если б вырос я в другом краю,
То все исповторимое,
Как чудо,
Переместились, верно бы, отсюда
В тот край другой —
На родину мою.

Миша радовался, что сбор удаётся. Ребята старались, чтобы и песни звучали громче и стройнее, и стихи читались без запинки, а если кто-то вдруг забывал слова, ему подсказывали, переживая за него, и успокаивались, когда стихотворение все-таки дочитывалось до конца.

А в конце сбора ребятам читал сам Миша. Читал Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Есенина, испытывая какое-то новое, необъяснимое чувство. Похоже, он старался убедить себя и всех этих маленьких и дорогих ему людей в том, что никогда не повторится это счастье дышать влажным осенним утром, видеть сквозь легкое марево рябиновые кисти на том берегу и наблюдать плавное движение опавших листьев в притихшей и потемневшей воде. Ему хотелось, чтобы ребята поняли, какая им выпала радость жить в мирное время среди этих далеко убегающих лесов и уцелевшей церкви, парящей над ними, среди молчаливых холмов и затихающих проселков, отыкающих полей и близких болот, над которыми целое утро сегодня кружились и плакали отлетающие журавли.

Так закончился сбор. Потом ребята долго бродили по берегу, непривычно молчаливые, задумчивые.

Пашка Синицын и Игорь держались вместе. Миша видел, как Пашка часто наклонялся, срывал какую-нибудь травинку и спрашивал:

— А это что?

Игорь принимал из его рук травинку, вертел ее, долго разглядывая, потом неуверенно произносил:

— Подорожник.

— Сам ты подорожник, — укорял Пашка. — Это мать-и-мачеха. — И снова срывал поблекший стебелек. — Ну а это-то узнаешь?

К ним подошла Таня.

— Ты, Пашка, не изгаялся бы, а объяснил человеку. Подумаешь, он знает травинки. В деревне вырасти да крапивы бы не видеть. Ты вот мне ответь, чем отличается осока от осота? Не знаешь? Ну вот. Пойдемте лучше на речку рябины и украсим наш класс.

И они все вместе направились к ближней рябине. На обратном пути вместо строевой солдатской песни вдруг неожиданно затянули «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», и, кажется, начал ее Пашка. Песню дотянули до конца.

— Ну, что же, — сказал Силкин, когда они с Мишой возвращались домой. — С боевым тебя крещением. Кажется, ты не зря получаешь зарплату.

— Спасибо, друг, — откликнулся Миша. — Ты, как всегда, перехваливаешь меня, — и хитровато подмигнул.

— Ничего. Теперь дело пойдет — лиха беда начало.

...Приближалась зима. Северные ветры загудели над полевой дорогой, что гнулась по краю лощины, дули порывисто и сердито. Миша с грустью вспоминал, как еще недавно он проходил этой дорогой прозрачными и гулкими утрами и любовался обильной, искрящейся на солнце росой на метелочках тимофеевки, что росла по обочинам. А позднее эти же метелочки уже подернулись инеем, стояли тихо, не шевелясь, опасаясь потерять свое дорогое и хрупкое великолепие. Только к полудню оттаивали они, но роса уже не играла прежней радугой и не будила былой радости, потому что прихваченный холодом стебель терял упругость и уверенность цвета.

Далекие ивовые кусты лиловели от холода, и на березах погасла та ослепительная живая белизна, которая тянет к себе и заставляет если не прикоснуться, то поглядеть вблизи.

Миша вспомнил, как его подбадривала когда-то Марфа Никандровна:

— Ничего, не скучай. Скоро начнутся приморозки, будешь за поляшами ходить. А то пригляднется какая-нибудь девочка, так тоже не меньше заботы будет.

В избе через старые рамы быстро выдувало тепло, и, когда становилось холодно, затапливали плиту. Кот ложился на теплую плиту и поначалу блаженно жмурился: а когда начинало припекать — прыгал на печной приступок.

— Ничего, Буско, — гладила Марфа Никандровна кота, — это сперва зима кажется страшной, а поошоркаешься, как ой как заживешь!

Теперь Миша, пройдя от школы полтора километра полем по морозу, входил в избу с закуржавевшей бородой, в катанках.

— Ишь до чего тебя морозко-то дообнимал! — Марфа Никандровна всплеснула руками. — А бородка как у Федотка. Ты бы не ходил полем, шел бы по прямушке-то, через овраг. Ведь не пьяной, всяко в гору подымешься. А ведь тут многим ближе.

— Да, пьяному в этот овраг лучше не скатываться. А возможность такая скоро появится: директор к себе на день рождения приглашает.

— Да ну! — удивилась Марфа Никандровна. — Именинничать надумал? Так что? И сходите! Не объедите ведь его всяко да не обопьете. Много называет гостей-то?

— Да всех учителей приглашает.

— Ну-ко, людно зовет. Смотри, как размахивается.

— Вот просит съездить кого-нибудь в макаровский магазин. Горячительного привезти. Я пообещал съездить. Лошадь школьную дает. В седле. Только, я думаю, на Борке не хуже выбор. Там и самолеты прилетают, глядишь, чего-нибудь хорошенъя подбросят...

— На Борке не хуже, конечно, — согласилась Марфа Никандровна. — Съезди, съезди, уважь директора, коли и лошадь дает. И нам заодно с Таиской привезешь бутылочку-другую, а то все вышло. Да вон у Марийки ребяташки градусник разбили, дак не найдешь ли где. Зайди в аптеку-то. А то и в больницу. Может, там у знакомых выпросишь, — засмеялась она. — А то был один на всю деревню, да и тот разбили, дьяволки. Да и дрожжей поглядишь, нет ли. Ваня Храбрый думает пиво заваривать. А не добудешь, придется в Вологду заказывать на потом.

...Когда Миша въезжал на школьной кобыле в Борок, он уже изрядно намаялся с непривычки и выглядел не таким удальцом, каким выезжал из Заполья. Должно быть, на встречных он производил странное впечатление: в высокой цигейковой папахе, с черной бородой, в рас-

стегнутом полушибке. Одна баба, вывернувшая из-за угла, растерялась и, уступая ему дорогу, соскользнула в колею и недовольно пробормотала:

— Тыфу ты, лешой, опять цыгане наехали!

Миша усмехнулся и, чтобы не разубеждать женщину, которая еще несколько раз оглядывалась на него и плевалась, спросил у первого же мальчишки, где магазин, и направился туда.

Нагрузив рюкзак бутылками питьевого спирта, он помедлил немного, набрал побольше воздуху в грудь и поехал в сторону больницы.

Настя увидела его в окно, вышла на крылечко.

— Какой у вас внушительный вид, — приветливо сказала она. — Не сразу и узнаешь с бородой-то.

— Да, меня уж из-за нее цыганом обозвали, — усмехнулся Миша. — А я к вам за градусником. Нации женщины послали. Говорят, был один на всю деревню и тот разбили Марийкины ребята.

— А что ж это вы к нам с концертом не приехали? — будто не слыша его слов, спросила Настя.

— Да как-то не получилось... пока, — пожал плечами Миша и отметил, что здесь она намного смелей, чем тогда в школе. Видно, и правда родные стены помогают. — Да вы, по-моему, и сами не очень-то хотели нашего концерта.

— Нет, мы ждали вас...

— Но мы вас тоже не один раз поджидали. И на лен, думали, приедете. — Миша пытался обернуть в шутку Настин упрек.

Взглянув на него, Настя в какой-то момент растерялась, покраснела от собственного признания, но тут же спохватилась, лицо ее снова стало строгим, слишком строгим.

— Мы постараемся поправить дело, — мягко пообещал Миша. — Если уж не для населения, то хотя бы для вас с Клавой... А где она, кстати?

— Кто?

— Да Клава! С которой вы к нам в школу приходили.

— А... практиканка! Так у нее кончилась практика, и она уехала обратно в Никольск.

— Жаль... Мой друг влюбился в нее...

Он понимал, что мелет невесть какую чушь, еще больше волновался и еще больше запутывался.

— Он уже на флоте служил, самостоятельный человек... и надежный парень, это точно...

— Чего ж он, самостоятельный, взял да сразу и влюбился? — с иронией спросила Настя. — Тем более что раньше никогда не видел ее...

Миша почувствовал, что сглупил и Силкина оклеветал.

— А разве так не бывает? — несмело спросил он, опять ругая себя за то, что продолжает этот разговор, по остановиться не мог.

— Нет, почему же... бывает. Только ничего путного из этого не получается.

— Я вижу, вам неприятен этот разговор. Но я о другом думал... и не хотел вас обидеть, честное слово.

Боясь новой путаницы, он торопливо отвязал повод от изгороди, пеловко залез в седло и хлестнул лошадь.

Когда Миша Колябин подъезжал к школьному городку, он уже в который раз почувствовал на себе косой взгляд директорского дома, который по-прежнему стоял вроде бы отвернувшись от дороги и все-таки боковым окошком за всеми подглядывал.

Войдя в избу, Миша поставил рюкзак у порога.

— Ну вот, Галина Ивановна, все привез. А теперь пойду восьсяи.

...Дома все были в сборе. Игорь сидел за столом и читал, Таиска всхранивала па печи, а Марфа Никандровна сидела на лавке и вязала себе теплые чулки из овечьей шерсти. Она была в одном валенке, вторая нога голая: на нее Марфа Никандровна время от времени примеряла чулок. Возле нее промостилась Маня, тоже со спицами в руках. Марфа Никандровна успевала и свое вязать, и племяннице подсказывать:

— Да ты с этой стороны петли-то накидывай, вот так, — показывала она, — тебе попутней будет обратно идти. Да-ко мне вон лучше на шкафу очки, а то больно работа коповатая. Али лучше самовар греть? Замерз, поди-ко? — спросила она у вошедшего Миши.

— Да нет, я пока не хочу...

— Ну, тогда погоди, я скоро довяжу, да и Таиску станем поднимать. Пускай маленько погреется, а то всю ночь сегодня кашляла, как дрова колола. Занемогла что-то...

Она поглядела на Мишу:

— Это ты в таких штанешках-то и ездил тонюсеньких? Ой, ребята! Все форсите, а надо теплей одеваться: глядите, дозакаляетесь... Вот был бы женат, так баба-то не опустила так в экий мороз. Нет, надо, коли, скорее самовар наставлять, отогреть тебя. А ты, Игоряха, с книж-

кой двигайся под иконы. А то бы и отдохнул, дал глазам переморгаться. Все сидишь насугорбленный и ходишь эдак же, согнувшись. А вон братец-то у тебя, погляди: как стоночка!

Марфа Никандровна сперва принесла с мосту соленых волнух, полчуguna утрешней картошки и поставила на стол.

— Вот. Ешьте, кому охота посолиться. — Перевернула самовар и потрясла его над старым ведром, вытряхивая золу. — Грибы-то с леденями, осторожней ешьте, пусть пооттают, — предупредила она. — Ты, Михаил, видно, не весело съездил на Борок? И есть не хочешь. Ну, я вот сейчас тебе чаю начижу. Уж не заболел ли?

— Да нет, спать хочу. Натрясло да... и вообще.

— А вон Таиска поднимается, ты ложись на ее место. Холод-то из тебя выйдет, полегче и станет. Вздремни не нарочно, вздремни.

Ему сразу начало что-то сниться, хотя он еще слышал, как за обоями шуршали тараканы, а по углам — мыши, на зиму перебравшиеся поближе к теплу. Сначала он ходил по каким-то гнилым и шатким мосточкам над зеленой стоячей водой, а из воды, затянутой дурной травой и ряской, высовывались большие лягушачьи головы и бесшумно открывали и закрывали широкие безобразные рты.

Потом он провалился в воду и, дрожа от омерзения, увязая все глубже в этой хлюпающей грязи, изо всех сил рванулся и выбрался на берег, оставив туфли в затхлом, пузырящемся болоте.

С печи Миша слез весь в поту и пошел к умывальнику ополоснуться. Чай уже отпили. В избе, кроме Мани, были еще двое Марийкиных ребятишек. Но вот дверь снова открылась, и вошел Гришка.

— Закрывайте двери! Ишь холоду сколько напустили. Только боркотят дверями, туда-сюда торкают, переходят. Как почту гоняют. Не дали учителю поспать, — ругалась на них Марфа Никандровна.

— Да я отдохнул. Только все сны какие-то силились...

— Да и хорошо! Выспался и картинок нагляделся, — засмеялась хозяйка.

— Да больно невеселые картинки... — помотал головой Миша.

— Ой, мне вон тоже вчера сон-то какой приснился... Будто поймали меня мужики и хотят съесть. «Ела мясо?» — спрашивают. «Ела», — говорю. «Ну, даك теперь

мы тебя будем есть». Я им говорю: «Ой, вы, мужики! Да много ли во мне мяса? Не живала на веку хорошо-то: все репа да картошка. А тут разок удела кусочек телятинки — вы меня сразу и есть». Подумали, посовещались — и отпустили. Только напоследки матом обляяли, дураки, — и сама над собой засмеялась, — какая уж тут наедуха — росла все в недостатках... Вот как трудностей черпнула, все горя перенесла. Как-то налогу пятьдесят кило одного мяса наложили. Где их взять? Увижу, как начальство идет, так запру дом, да сама куда-нибудь бегом. И домой не ходишь не по одному дню, пока все не уедут. А то на лесозаготовках тюрились. Ой, было: христов вечерок, проклятое утро... Шла домой, дак качало. Подержившись за деревицу, постоишь, да и дальше. А на окопах-то...

— На каких окопах? У вас же немцев не было.

— К Вологде посылали. Тогда из нашего колхозу выдвинули двенадцать человек. В одной избе и спали, взад-вперед комельями. Сперва-то Марийку забрали. Да ее не раз и посылали. Придет сухая, еле ноги волочит. Последний раз ехала с окопов с одной бабочкой, а та ее и обокрала, последнее унесла. Приехала, а ее снова посыпать. Заревела, говорит: «Лучше удавлюсь, а не пойду». Таиска за нее ходила. Не покрасовалась девка. Так и состарилась. А что, Таиска, шла бы за Ваню-то Храброго. Хоть напоследок бы полизала медку, а? — неожиданно и с чувством сказала Марфа Никандровна.

— Чего мелет, сама не знает, старая, — недовольно заругалась Таиска. — Видно, язык-то ни разу не болел, дак и мелет.

— А чего, Тася, — поддержал Марфу Никандровну Миша. — Ваня, по-моему, положительный мужик. И дом у него еще хороший, и сам герой.

— Этот-то у него дом — что... Вот после матери он продал дом! — покачала головой Марфа Никандровна. — Когда его увозили из деревни, все пришли поглядеть. Жалко было отдавать эдакой дом на чужую сторону. Повезли, а бревна-то... как колокольчики...

— А дорого ли у вас дома продают? — полюбопытствовал Миша.

— Чего, уж не покупать ли надумал? — поглядела на него Марфа Никандровна.

— Да нет, я так...

— А что, и для отдыху дак больно хорошо. Река рядом, и лес недалеко.

— Да у меня ведь нет денег.

— А мы хорошему человеку и в долг дадим. Да, вот видишь: строили, строили люди; бревна рубили, ямы бутили, тес готовили, крышу надевали — сколько работы переделали, а отдадут за какие две-три сотни... — погоревала она. — А тебе-то школа и новый дом построит. Вот будешь на именинах-то и скажи директору, чтобы для тебя дом готовил к будущему году.

— Если в армию не заберут.

— А, ты еще не отслужился...

— Может, и не возьмут, — сам себя успокоил Миша.

— Ты к директору-то подговорись, он тебя затребует, али с военкомом договорится. Про все на именинах-то и потолкуй.

На именинах было не до серьезных разговоров. Сдвинутые в учительской столы, заставленные бутылками вина и графинами с разведенным спиртом и брагой, едва умешали гостей. Одна к другой стояли тарелки с рыжиками, огурцами, капустой, жареной картошкой и застывшим мясом. Галина Ивановна без конца напоминала хмельным визгливым голосом, чтобы не забыли отведать ее пирогов с яблоками и вареньем.

«Ох и голосок! — подумал Миша. — В оперу бы тебя».

Фитили в лампах все время приходилось подвертывать, потому что огонь задыхался в духоте, шуме и крике: Марфа Никандровна утром печку истопила, чтобы учителей не заморозить...

Силкина замучили — без передыху заставляли играть на баяне. Только он решит передохнуть, а ему снова ставят на колени «инструмент» и требуют музыки.

Уже были произнесены все приличествующие моменту тосты: и за именинника, и за его родителей, и за жену, и за семью, и за успехи в работе, а вина все оставалось много, поэтому пить стали просто так.

Второй раз в жизни Мише пришлось пить спирт. Голова кружилась, земля уходила из-под ног, а ему все наливали, что-то шептали то на одно, то на другое ухо, обнимали, чего-то доказывали и требовали выпить. Он сопротивлялся, но, видимо, слабо, а требующие бывают всегда сильнее, и он сдавался, заодно запивал и свое горе — неудачное свидание с Настей.

Митя сидел напротив, рядом с Николаем Степановичем. Он был серьезен, хотя директор и позволил ему сегодня выпить. Все смеялись, что-то рассказывали и приставали к Мите:

— Митя, а ты чего молчишь?

— А я юмору не знаю, — отвечал он и снова сидел как монумент.

Миша не понял, из-за чего вдруг возник шум, он только слышал недовольный простуженный голос Николая Степановича — директор разносил кого-то. Потом вдруг все притихли и молча стали собираться домой. Мужчины на ходу, не чокаясь, допивали стопки и уходили.

Наконец Миша понял, что сидят они с Силкиным одни за столом и Коля внушает ему, что надо собрать все силы и дотянуть до дома. Потом снова послышался простуженный директорский голос — педобрый, громкий и требовательный:

— Вы мне мешаете закрыть школу!

«Почему это я раньше не замечал, что у него такой дребезжащий голос?» — подумал Миша.

Потом выяснилось, что директор приревновал Силкина к Галине Ивановне, хотя повод был самый незначительный: Силкин вышел вслед за ней в темный коридор прохладиться, и они пробыли паедице минут пять.

Домой практиканты шли с трудом, ноги не слушались их. Они хотели сократить путь и пройти через лог, но, подойдя к нему и глянув в его непроглядное глухое чрево, поняли, что такого пространства им не одолеть. Слишком круты берега и глубока впадина: и трезвый-то с трудом оттуда выбирается. А тут еще мороз грянул. Миша совсем ослабел, и Коля решил, что лучше не испытывать судьбу, и потащил друга обратно к директорскому дому.

Они долго стучались, но им не открывали. Наконец вышел Митя и, ни слова не говоря, дал им по затрешище — практикантов как ветром сдуло с высокого крылечка. Но Коля и после этого не унимался.

— Или увозите на лошади, или пускайте ночевать, — требовал он. — Молчите? Но помните, если мы замерзнем, вам же хуже будет. Подумайте о своем будущем, оно в ваших руках... — Он еще пытался шутить.

В доме долго молчали, потом послышался разговор: похоже, Галина Ивановна внушала что-то мужу, и Николай Степанович, брякнув задвижкой, вышел.

— Устраивайте ночевать, товарищ директор, — ска-

зал Силкин, — мы у вас на производстве, и вы за нас несете ответственность, как бы к нам ни относились.

— Домой ко мне вы больше не войдете никогда, а ночевать я вас устрою. — В голосе зазвучала угроза.

И он повел их к интернату. Ученики на выходной разошлись по домам; Николай Степанович отпер двери и тут же ушел обратно.

Проснулись практиканты от холода. Спали они на одной кровати — спина к спине, накрытые своими пальтишками. Не догадались взять шерстяные одеяла с других коеч. Снег, начерпанный ими в валенки, даже не подтаял.

— Ждала я вас, ждала, — рассказывала на другой день Марфа Никандровна, — и пошла к Анатолию Леонидовичу. Достукалась, сам-то он спал, а Василиса Петровна сказала, что не знает, где вы. Мы, мол, уходили, так они за столом еще сидели. Опять подождала я, нет моих робят! Надо идти: грех да беда не по лесу ходят, а по добрым людям. Засветила фонарь, пошла. А мороз-то эдакой — кошка весь вечер с шестка не сходила, да и темно, боязно. Нет, гляжу, на дороге никто не лежит, и в домах школьных огни погашены... Ну, думаю, директор у себя оставил. Пригрузило маленько робят — и не пошли домой. Я и его самого одинова еле допровадила до места, эдак накозокался; думаю, укладет ребят, сам понимает. А ведь мне ничего Василиса-то Прекрасная не сказала, что у вас с директором расщепление такое вышло... Толкнулась к Василию Егоровичу, он тоже спал пьяной... Приревновал, ну-ко, директор-то к жене?

— Приревновал, — подтвердил Силкин, отогреваясь вместе с Мишой на печи.

— Ой, ему ли уж, крокодилушку, прискребаться бы к добрым людям... Ладно бы у самого никакого озадья не было... Сидел бы да не кукарекал!

Миша лежал молча, ему было опять тяжело. И больше всего стыдно перед Марфой Никандровной. Что она подумает о них?

А она уже протягивала ему на печь бутылочку с нашатырным спиртом.

— На-ко вот, нюхни, угар-то им хорошо вышибает.

— Дай, Марфа Никандровна, и я нюхну, — попросил Силкин. — Ну и шибает! Сразу похмелье в одну сторону, а сам в другую.

— Погодите, робята, чичас погрею супу, подкормлю

— вас, поотвалит, может. А то наш-то с похмелья не ест ничего, так его больше и карает. Виши, весь, как береста, побелел и глаза к потолоку закатил...

— Ничего, Марфа Никандровна, так скорей до ума, — злорадствовал Силкин.

— Не буду больше, — каялся Миша еле слышно и верил своим словам.

— Неужели? — издевался Силкин. — У меня, конечно, нет права вам не доверять, но нет причин и верить.

— Нет, не буду...

— Давай-ко слезай, Михаил, да выхлебай тарелочку, а напоследок еще кашей пригнeti. И добро будет!

— Сколько раз говорил я тебе: пей, но не глупей, — наставлял Силкин.

— Ты-то бы хоть помолчал, — запищался Миша, — не мог одеяла взять. Тоже, видно, хорош был. Да и с директором бузу затеял.

— Хорошо хоть челядешки-то не было, домой убежали, ничего хоть они не видели, — говорила Марфа Никандровна, — а с нашим директором разругаться недолго. Или уж надо терпенье стойкое. Не зря говорят: пьян, да умен — два угодья в нем. Николай-то Степанович не умен пьяной.

— А трезвый? — спросил Силкин.

— Да и с трезвым большое сердце надо. У меня ведь сперва-то стоял интернат, девочки жили. А мы с Таиской на кухню перешли. А у самого директора вторая половина в дому пустая все время, а он вам не отдал. Ну ладно, бог с ним... Сулил, что и дрова будут, и деньги за каждого по три рубля платить станут, и керосин выделять, а все обманывал старух. Такой скрежетина. Уж всего-то мне за техничество платит сорок рублей, а в летние месяцы половину скидывает. Только двадцать рублей платит. Нечего, мол, летом тебе в школе делать, в колхозе подрабатываешь. А я на школу и сено кошу, и в огороде работаю, да и после ремонтов убираю. Так не мене работать приходится, чем с ребятишками. А вот надо старухе досадить... Нет, я и рядовая, а за его бы, за учителя, не пошла...

— Он сначала-то был скользкий, как обсосанный леденец, а теперь ясно, что он собой представляет, — сказал Коля Силкин.

— Ладно бы с нами, с колхозниками; а с вами-то, учеными людьми, чего заноситься да задориться. Ведь уж немолодой, почти лысый мужик, понимать должен.

— Не каждая лысина, Марфа Никандровна, — признак большого ума, — назидательно проговорил Коля, и старушка звонко засмеялась, засверкала голубыми глазами. — И не будем о нем много говорить. Давайте лучше чай пить.

В школе никто не вспоминал о клуцинском торжестве и тем более его finale. Учителя на переменах старались не задерживаться долго в учительской, а если и оставались, то занимались проверкой тетрадей или готовили к следующему уроку карты, схемы, пробирки, колбы.

К Галине Ивановне, некоторое время носящей синяк под левым глазом, вернулась прежняя миловидность и приветливость.

У ее мужа в последние дни появилась на лице нездоровая одутловатость, и Миша подумал: уж не начал ли директор с горя попивать. Раньше у него припухлыми были только веки, а теперь надулось все лицо. Не с добра это...

Миша с любопытством наблюдал за ним. Николай Степанович приходил теперь в школу в белой рубашке с галстуком, в новых бурках. Говорил мягко, двигался осторожно. Миша долго не мог уловить, что в нем изменилось, и лишь потом понял. Шея и лицо его сильно обветрели и загорели, но по горлу от подбородка проходила полоса незагоревшей кожи, и это придавало ему сходство с кошкой. К тому же он начал отращивать усы. И были они у него редкие и бесцветные.

Николай Степанович пытался как ни в чем не бывало разговаривать с Мишой, давая понять, что вражда его с Силкиным больше ни на кого не распространяется, но Миша сразу заявил о своей солидарности с другом. Теперь он не мог относиться к директору по-прежнему.

Силкин старался не задевать и не сердить понапрасну Николая Степановича, но в каждом его движении и слове сквозило столько непочтительности и иронии, что Николай Степанович не мог этого не заметить, и, не ручаясь за себя, торопливо уходил из учительской, тем самым признавая Силкина победителем.

А Коля молчаливо бросал па Галину Ивановну значительные взгляды, и ему казалось, что она не только одобряет его поступки, но и подбадривает.

Запольские учителя по-разному относились к разыгравшейся баталии между практикантами и директором.

Резко и определенно пошел против директора только историк Василий Егорович Каравеев. От природы прямой и решительный, он никогда не осуждал директора заглазно.

Как-то при всех он сказал:

— Не так бы директору школы надлежало принимать молодых, Николай Степанович. У вас и так уже половина учителей разбежалась. Не мне бы вам это говорить.

— Да, не вам бы, — ответил Клушин, намекая на какой-то давний промах Василия Егоровича.

Лицо Василия Егоровича залилось краской, и он недружелюбно и долго смотрел в глаза Клушину, пока тот не отвел взгляда.

В таком положении разлада и разброда практиканты готовились к отъезду на зимнюю сессию. На душе было сумрачно, хотя поначалу война с директором придала вроде бы их тихой сельской жизни напряженность и остроту. Неловко было так уезжать и тягостно думать, что через месяц придется вернуться к тому же самому, а может, к еще худшему: директор ведь не будет сидеть сложа руки и, конечно, проведет воспитательную работу среди вверенного ему коллектива.

Миша твердо решил забрать с собой Игоря насовсем, хотя и жаль было срывать его с места в середине учебного года. Но смотреть парнишке на распри среди учителей нехорошо. Тем более он не только наблюдал, но и норовил в них участвовать.

Досадно все это было еще и потому, что в последнее время у них с братом установилось полное взаимопонимание. Игорь старательно учился, много читал и вел немудрое их хозяйство. А впрочем, Миша предвидел, что накладки все равно могут быть. К тому же ему самому надо было усиленно заниматься. К началу мая всем практикантам надлежало явиться в институт и сдать курсовые экзамены; ведь впереди еще оставались и государственные... Так что Игоря все равно пришлось бы срывать; а перед окончанием учебного года это еще хуже, чем в середине. Да и мать писала, что скучает.

Игорь с большой неохотой готовился к отъезду. Он согласился бы на все: каждый день чистить картошку, мыть чугуны, подметать пол, лишь бы не уезжать из Заполья, не расставаться с ребятами, с которыми уже подружился.

Теперь он не сможет поглядывать на вторую парту слева, где сидела Таня, и ждать, когда она случайно обернется и посмотрит на него теплыми, как у матери, глазами...

Бригадир посулил им лошадь, только велел самим искать возчика: из колхозников посыпать было некого. Но разве трудно в деревне найти доброхота прокатиться в легких санях по зимней дороге!

В провожатые напросился Пашка Синицын. Он уже сидел в избе и терпеливо ждал, когда учителя позавтракают. Но те не спешили, ждали хозяйку.

Наконец послышались шаги на мосту, — вошла Марфа Никандровна и, не затворяя двери, позвала:

— Ну заходи, заходи, что ты степенишься, не съедят ведь тебя.

В избу вошла Настя. Миша замер. Настя смущенно поздоровалась и растерянно топтаясь у порога.

— Давай раздевай шубу, — скомандовала Марфа Никандровна, — вешай на крюк. Садись сюда напротив молодых да хороших. Сейчас я тебе ложку подам, хлеба отрежу, и будем управляться. А потом тебя робята быстро домахнут на лошаде-то. Чего зря ноги стаптывать, еще долго жить. Вишь вот, Михаил, — обратилась она к Мише, — забыл тогда градусник-то привезти, пришлось девочке экую дорогу пешей одолевать. Градусник-то ведь без конца понадобляется, как жо! Ну вот, спасибо тебе, милая, теперь нам надолго хватит. — И она убрала его в посудник. — Ты девка задорная, молодец! — похвалила она при всех Настю. — Да и работаешь у нас долго. Другие фельдшера в деревне как принудиловку отбывают, а срок подойдет, фюнть — только дирка свистнет. А ты молодец!

Все засмеялись. Сразу прошла напряженность, и Миша, чтобы скрыть свое смущение, взялся за ложку и предложил:

— Поешьте, Настя. Дорога дальняя.

— Да я уже ела, — розовея, ответила она, — я ведь рядом ночевала, в соседней деревне, там девочка заболела. Решила и к Марфе Никандровне зайти да занести градусник.

Это было похоже на оправдание. Настя растерянно посмотрела на Мишу. Он понял, что она просит у него помощи. Встал и сказал твердо:

— Ну, пора ехать! А то опоздаем на самолет.

Марфа Никандровна собрала старые шубы и положила их в сани для тепла, обняла и поцеловала Игоря, попрощалась с Силкиным и Мишой, потом долго стояла на крыльце и смотрела, как сани выехали из деревни, пробежали полем, медленно забрались в гору и наконец перевалились на ту сторону.

...В самолете Миша снова вспоминал, как ехали на аэродром, и переживал их недавнюю совместную дорогу. Народу в сани набралось много, было тесно, и поэтому скоро установилась веселая непринужденность и простота. Сани заваливались то на одну, то на другую сторону. При каждом толчке Миша старался поддержать Настю, чтобы она не упала, и каждый раз девушка смущенно взглядала на него, но, встречая открытую улыбку и знакомые понимающие глаза, успокаивалась.

Пашка Синицын, повернулся ко всем спиной и беседовал наособицу с Игорем. И, словно сговорившись, все забыли про Мишу с Настей, а длинная и тряская дорога сближала намного больше, чем все предшествующие встречи.

Когда подъезжали к Борку, Миша предложил:

— Не поразматься ли нам немножко?

— И правда, я тоже устала сидеть, — Настя спрыгнула с саней.

На зимнике тонко пахло сеном. Сухие зеленые стебли травы, запутавшись в хвое, висели кое-где на ветках придорожных елок: видимо, возы с сеном, проходившие по зимнику с дальних покосов, были слишком широки.

— Почему вы тогда обиделись? — спросила вдруг Настя.

— А что я должен был делать?

— Вы не поняли меня...

Миша промолчал. Он хорошо помнил их разговор у больничного крылечка. Понимал он и то, что если сейчас они затаятся в себе и не пойдут навстречу друг другу, то отдалятся, может быть, навсегда.

— Вы все видите, Настя... Вы умница, — Миша посмотрел ей в глаза, и Настя не отвела их, кивнула головой.

— Вижу...

Возле больницы Настя несколько замедлила шаг, потом решительно пошла к аэродрому. А там уже Силкин беседовал с радиостом Веней как со старым знакомым. О билетах беспокоиться не пришло.

Долго смотрел Миша из окна самолета на махающего

фуражкой Вениамина и Настю. Бледное лицо ее быстро размывалось расстоянием и высотой...

Не успел Миша приехать в Вологду, как его потянуло обратно — на Кему, в Заполье. Слушая по утрам местное радио, он ловил себя на мысли, что ждет, когда скажут чего-нибудь про Никольский район или хотя бы передадут, какая там погода. Этот край становился его судьбой, и Миша, понимая это, испытывал необходимость больше о нем узнать, услышать, понять его людей и определить свое место среди них.

Он попытался всерьез поговорить с Гошкой Печниковым: все-таки парень там вырос.

— Ты мне скажи, — обратился он как-то к нему, — какие знаменитости родились в вашем районе, кроме Яшина?

— Я знаю точно, что в Никольщине рождаются самые крупные и кусачие комары. Хори еще, говорят, самые воюющие. Тоже достопримечательность.

— Перестань кривляться, — одернул его Миша. — Я тебя серьезно спрашиваю.

— А я тебе серьезно и отвечаю. — Печников рассердился. — Роется, роется в навозе, как жуки. Все жемчуг ищете.

— Ты чего разошелся-то? — прервал его Миша.

— Да так. Ведь наверняка притворяешься этаким радетелем сельщины. А небось на постоянное жительство туда и калачом не заманишь.

— Ну это еще посмотреть надо. Подумать.

— А чего тут смотреть да думать? Тебя никто туда и не толкает. Кому охота пропадать в захолустье? Там ведь за вредность платить не станут. Ты на хорошем счету, получше места найдешь.

Миша почувствовал бесполезность разговора: их понятия и наблюдения не совпадали. Особенно было неприятно, что Гошка говорил о своей родине отчужденно и называл Никольск захолустьем.

«Как же так, — удивлялся Миша, — там родиться, впитать речь той земли, унаследовать ее характер, жить среди тех людей — и все это в конце концов определить одним словом «захолустье»? Если б это сказал посторонний... А в этом захолустье люди светлей и чище хотя бы самого Гошки».

— Уж не влюбился ли ты в никольчаночку, что так расхваливаешь этот медвежий угол? Тогда, конечно, все будет казаться в сверкании и блеске.

— Дурак ты, Гошка, — только и сказал ему на это Миша.

А борода Мишина всех в институте привела в изумление и восторг. На нее приходили посмотреть даже студенты с других курсов.

— Ну раз она по душе народу, пусть растет, — объявил патетически Миша...

...Месяц, отпущенный па сессию, тянулся долго, и Миша едва дождался, когда он кончится...

...Борковский аэродром их не принял из-за шурги, пришлось лететь до Никольска. Они устроились в том же Доме крестьянина. Когда сдавали паспорта в регистратуру, столкнулись с инспектором облоно Перерепенко, Миша сразу узнал его по тучной фигуре и непрестанно вращающейся голове. Перерепенко, конечно, не узнал Колябина, хотя долго смотрел на него. У регистраторши он зачем-то спросил Мишину фамилию, а когда понял, что это новые учителя из Кемской школы, недовольно поморщился.

На другой день Силкин встретился с Глобусом в коридоре, не успел и рта раскрыть, как тот скрылся в своем номере.

Ребята уехали к себе, не подозревая, что Перерепенко, помимо прочих дел, вел разговор и о них у заведующего роне Пенькова Василия Васильевича.

До Заполья они добрались поздно: от Верховина пришлось идти пешком. Марфа Никандровна встретила Мишу у фермы, отобрала чемодан, и они радостно пошагали домой.

— В больницу-то не заходил?

— Заходил, но никого не застал.

— Гляди не отступайся. Девка — не прогадаешь. Да, а Ваня-то Храбрый почти уж склонил Таиску. Ну и молодец!

Дома Миша начал выкладывать подарки.

— Вот вам дрожжи, вот печенье и баранки, а вот, Марфа Никандровна, яблоки и апельсины...

— Ну на что ты все выгребаешь-то. Мне ведь с моими зубами ничего не добыть. Один зуб ведь остался-то да три корня, и хлеб-то едва ужубрею, а в этих апельсинах-то дак одни нити какие-то. А вот за дрожжи — дак спасибо. Ждет их Вания-то, пиво варить будет. Таиску уговорить хочет. Для нее и старается.

...Все в доме Вани Храброго было обычно и хорошо и на этот раз, но на душе у Миши Колябина лежала непонятная тяжесть: не хватало былой беззаботности и простоты, хотя Вания сидел недалеко и следил, что Мишин стакан не стоял пустым.

Вания был в приподнятом настроении, видел, что Таиска становилась к нему все ближе, смотрел на нее игравшими глазами и время от времени повторял громко: «Ой, Таха у меня — золотое перо!»

Таиска хохотала, довольная.

Смеялись гости, радуясь согласию и порядку застолья, простоте и веселости хозяина.

Силкин то играл на гармони, то пускался с бабами в пляс, то пел одну частушку озорней другой.

Соловей кукушечку
Долбанул в макушечку.
Ты не плачь, кукушечка,
Заживет макушечка.

Бабы, схватившись за животы, хохотали, а он уже начинал новую песню, еще хлестче.

— Вот так Николай Иванович! Ну и молодец! Всех баб перепел, не уступил никому. Мы еле на ногах стоим, ноги в кореньях расшатались, а ему хоть бы хны.

— А вы что думали, меня в школе учили только чистописанию? — хвастался Силкин.

— А чего друг-от у тебя сегодня больно пасмурный?

— Да директор грозится с него бороду снять, вот он и печалится.

— Как это бороду снять? Обстричь, что ли?

— Ну обстричь.

— Да пошто?

— А он сам не знает пошто. Надоело глядеть — и все тут!

— Ну, да на эдакую бородку и глядеть надоело. Вон какая у него шерстка-то курчавая да мягкая, так и отливает!

...Директор школы действительно настаивал, чтобы Колябин сбрал бороду. Он объяснил, что это требование Василия Васильевича Пенькова, а тому будто бы приказал инспектор облоно, который видел Мишу в Никольске и возмутился его внешним видом.

Нараспаш Миша объяснял Клухину, что ученики привыкли к его новому облику и было бы непедагогично (если вспомнить Макаренко) ни с того ни с сего менять этот облик и тем самым давать повод для неизбежных насмешек.

— Вы посмотрите на портреты Маркса и Энгельса, — взывал Миша к разуму директора и кивал на стену, — учителя мирового пролетариата, а бороды носили. Я же всего лишь учитель запольской восьмилетки...

— Вы все шутите.

— Нет, не шучу. Позвоните в рено, Николай Степанович, и объясните Пенькову нелепость его распоряжения.

— Вы же знаете, что позвонить невозможно.

Телефон в свое время протянули в школьный городок только на один день по случаю выборов в местные Советы, и Пеньков успел по нему позвонить. Выборы прошли, телефон сняли. А приказ остался приказом.

После этого разговора с директором Миша пришел домой расстроенный.

— Да плюнь ты на них, — решительно заявил Силькин, когда Миша все ему рассказал, — а то войдут во вкус и будут требовать бог весть чего. Интеллигенция... Бьет наверняка. Знает, что нервные клетки не восстанавливаются.

И Миша, ободренный другом, настроился воинственно.

Весенние каникулы в Заполье зависели от разлива рек, и Миша торопился пройти весь материал по программе до половодья, потому что не знал, как сложится его дальнейшая судьба.

Уже давно подтаивал снег под копытами дремлющих лошадей, а это первый признак приближающегося тепла. Марфа Никандровна радовалась близкой весне.

— Ну, робята, кажется, карантин-то тяжелой пережили. Уж скользить начинает, скоро подзатыльники дешевые будут. Всю-то зиму эдакая темень. Полкоробка спичек исчиркаешь, на часы глядя, чтоб не проспать. А теперь рано белой свет глаза протирать станет. Веселей дело пойдет. Только бы поросло хорошенько насаженное,

а то мало снегу уродилось в эту зиму, да скоро боженька и остатки заскребет.

Потом она переводила взгляд на Мишу.

— Оставайся-ко ты у нас, да и живи. Клушин ведь не вечный. Глядишь, куда-нибудь выдвинут. А ты знай себе детишек грамоте обучай, ни на кого не гляди.

— Легко сказать, Марфа Никандровна. С начальством худо спорить.

— Да, это верно. Начальничать-то они охотники. Я вот думаю: бог тоже худо руководит, надо бы и ему у себя ревизию сделать. А то кому два царства, кому ни одного.

— Ничего, Марфа Никандровна, — шутливо утешал ее Миша. — Зато их бог на небе накажет.

— Да ведь мы не увидим, как он будет на том-то свете карать, — не согласилась старуха с таким утешением. И ее голубые глаза построжели и загорелись суровым огнем, — пусть их здесь хорошенько пристукнет, чтоб все видели, как грехи караются; небось бы тогда поумеренное стали жить... Да и других бы озадачило, может, лишнее.

— Вот тут я не могу тебя не поддержать, — сказал Миша, — хоть мы и разных направлений.

— Направлений, — повторила хозяйка. — Чего будешь делать, как обстригут-то?

— Не обстригут, — твердо пообещал Миша.

Клушин понял, что Миша не намерен подчиниться, и решил настоять на своем.

— Я вынужден отстранить вас от занятий, — сказал он сердито.

— Отстраняйте. Но по всей форме — приказом.

Директор долго ломал голову, как изложить суть дела. Помог ему сам «пострадавший». Вместе с Мишой они написали нужную бумагу, которую Клушин тут же заверил круглой печатью.

Наконец Миша держал в руках заверенный приказ номер... «Учитель Запольской восьмилетней школы Колябин Михаил Васильевич не допущен к занятиям в школе за невыполнение приказа снять бороду. Директор Запольской восьмилетней школы Н. Клушин».

...— Петровский приказ! — хлопал себя по бедру Василий Егорович Каракев и гоготал на всю избу. — Брат-

цы, это же петровский приказ. Надо послать его в «Крокодил», в раздел «Нарочно не придумаешь». Дайте я копию сниму. Ей-богу, пошлю.

Миша не стал откладывать отъезд. С вечера он все собрал и побежал к Ване Храброму. Тот давно уже безвыездно жил в деревне, хотя и не рассчитался в лесопункте.

— Вань, ты бы меня завтра на Борок увез. Не хочется мне учеников просить... Чего я им скажу?..

Ваня лежал на остывшей печи, согнувшись так, что были видны его розовые, как у ребенка, пятки.

— Увезу, не беспокойся. Глони-ко лучше пива на дорожку, осталось тут... — Он слез с печи и, шаркая босыми ногами, направился в угол, где стояла большая бутыль.

— Да не хочу я...

— Ничего, ничего, легче будет. Да... А обидно тебе, поди-ко... Обидно. Я всего три дня без побегу в школу проходил, а и то скажу, что дурак ваш директор, хоть и ученой. Сколько годов живет тута, а так ни одного человека другом и не зaimел. Все жмется, жмется... Вон бабы наши — Таиска и Марфа Никандровна — каждую зиму по снегу-то и прут ему дрова из лесу, вытягиваются до ломоты — хоть бы спасибо путем сказал. Где там! Правильно, что не стал ты перед ним тянуться, перед крокодилом. Не зря его так прозвали!

Миша с жалостью вспомнил, как Таиска собиралась в лес. Она поднималась очень рано и в одной рубахе шла к рукомойнику. Мужская мускулистость рук ее и широкие плечи поражали его. Ни разу не рожавшая, так и захлохшая в девках, она с горечью думала об ушедшей молодости и только во хмелью срывалась порою, но тут же спохватывалась и выходила на мост, чтобы никто не видел ее слез.

Миша давно заметил ее голодную и несдержанную любовь к Мане. Таиска без конца тискала девчонку, целовала, намывала в бане, а потом причесывала перед зеркалом и, уложив с собой спать, прижимала к груди и все чего-то шептала.

Трудно было понять Мише горе несостоявшегося материнства. И, вспоминая Таискину массивную фигуру, ее жесткие узловатые пальцы и крепкие ноги, которые она по-мужски широко расставляла, проезжая перед окнами на телеге, Миша не раз думал: «Вот нарядить бы ее в бальное платье, обуть в модельные туфли и вывести бы

на блестящий паркет». Но он тут же пугался собственной мысли и стыдливо морщился в темноте, а потом почему-то долго не мог смотреть Таиске в глаза...

Прощаясь, он горячо пожимал ее костистую руку и говорил все еще стыдливо и горько:

— Прости за все, Тася, и не суди нас строго...

— Ну вздумал! Какой я вам судья? Приезжай лучше скорее, да и брата привози. А то наши девчонки без него скучать будут, — и засмеялась.

— Смотри не забывай нас, — обняла его Марфа Никандровна. — Не гляди на директора-то. Приезжай!

Миша развелся так, что не мог ничего сказать, только обнял и поцеловал старушку. «Хоть бы пожила подольше. Что-то совсем исхудала за зиму», — с тревогой подумал он, сел в сани, помахал на прощание рукавичкой и печально улыбнулся.

Трудней всего и тревожней было расставаться с Настей, но в глубине души он верил, что у них все еще впереди. Да и Настя говорила о будущей встрече как о самой разумеющейся. Ее беспокоил лишь самовольный отъезд. Как посмотрят на это в институте?

— Да ведь я законно уезжаю!

— Законно-то законно, да все-таки... Мало ли чего. Позвонят сюда, а здесь про тебя все могут наговорить, — сказала она, не заметив даже, что назвала его на «ты».

— Досадно, что характеристику не успел взять... Но ничего. Силкин привезет.

— Это плохо. Директор без тебя такого понапишет...

У Миши дрогнуло сердце. Ему было приятно, что Настя переживает за него.

Из-за леса появился самолет. Он сделал небольшой круг и быстро сел. Веня-радист вышел на крыльце.

— Ну, пошли на посадку.

Настя осторожно сжала Мишину руку.

— Я буду ждать письма, — чуть слышно прошептала опа.

Он взял ее за локоть и, наклонившись, прижался к ее щеке.

— Все будет хорошо, Настенька... — сказал он ласково и побежал к самолету.

С деканом Миша встретился на улице. Тот шел, глядя себе под ноги, лишь изредка поднимая взгляд. Голова его, по обыкновению вбранная в плечи, вдруг поднялась, словно ее вытолкнула какая-то пружина, и замерла на

вытянувшейся шее. Он сразу стал выше ростом и, разглядывая из-под шляпы Мишу, удивился:

— Откуда вы, Колябии?

— Из деревни, Павел Иванович.

— Как? Почему так рано?

— Я не буду объяснять, лучше покажу бумагу.

Декан взял листок, прочитал раз-другой. Печать есть. Подпись тоже.

— Что за чертовщина! Вас действительно из-за бороды выставили из школы?

— Но там же ясно написано. Ну ничего! Мы еще по-воюем!

Силкин вернулся под самый май и никакой характеристики, конечно, Мише не привез.

— Он и мне-то подписал скрепя сердце, — оправдывался Силкин. — На три балла с грехом пополам набрал моих подвигов и достоинств. А о тебе и говорить не хочет, орет: «Он у меня недоработал — и все, никакой характеристики». Надо добывать через роно.... Или самому ехать...

— Ну а как там жизнь в Золотом донышке? — спросил Миша.

— Да как? С Борка тебе привет, конечно. Хозяюшки твои пирожков послали, ешь на здоровье. Василий Егорович приказ директора относительно тебя все-таки послал в «Крокодил», и ему ответили, что используют. Клушкин как только узнал об этом, рассвирепел еще больше, теперь и на Каравчева. Марфа твоя надумала свет проводить в избу: хоть, говорит, перед смертью себя разглядеть хорошенъко. Ваня Храбрый у нее уже под крышей дыры сверлил. Он там вовсю разворачивается — свой человек. Все тебя звали в гости. На Борке тоже приглашали...

— Да... кажется, придется ехать. Не пришлет он мне характеристику.

— Ну и съездишь! Что ж такого. Заодно поглядишь, как там Квасников интернат ремонтирует. Материалы уже при мне завезли. Добили мы его все-таки...

Телефонный разговор с роно ничего не дал. Пеньков сказал, что может прислать лишь справку о том, что они действительно работали, — и все.

На письмо, посланное в школу, директор не отвечал. А в деканате требовали документ.

— Колябин, из всего курса только у вас нет характеристики, а без нее я не имею права допустить студента к госэкзаменам. Вы это знаете? — говорил декан.

— Знаю, Павел Иванович!

— Так в чем же дело? Я не сомневаюсь, что теоретический курс вы знаете.

— А практический я теперь знаю еще лучше, Павел Иванович!

— Но мне нужен документ.

— Будет документ!

Миша вышел из института и решительно направился в предварительную кассу.

Время поджимало. Местные грунтовые аэродромы уже закрывались. Борок не принимал. Но в Никольск попасть еще можно было.

— Скажите, пожалуйста, долго еще в Никольск будут самолеты летать? — спросил Миша у кассирши.

— Сама не знаю, паверно, не больше недели.

«Ничего, — подумал Миша, — если дороги не развезло, — обернусь. А в Никольске заодно и к Пенькову зайду, в глаза его погляжу...»

— Дайте мне на самый ближайший рейс, — сказал Миша и протянул деньги в маленькое окошечко...

РАССКАЗЫ





СТОЯЛИ ДВЕ СОСНЫ...

Они стояли на сухом земляничном взлобке, километрах в двух от деревни. Вокруг тянулись поля, которые раньше пахались и засевались то пшеницей, то рожью, особенно хорошо удающейся здесь. Потом это место было отведено под клеверища, и в летние дни округа звенела от плодоносных липовских пчел. И хотя в последние годы всем хватало дела и на ближних полях и это место заросло, его по-прежнему называли «пашни».

Сосны стояли парой. Мужики выкопали между ними силосную яму, и для нас с закадычным дружком Ленькой было большой радостью, вскарабкавшись — каждый по своему стволу — до нижних толстых веток, идти по ним навстречу друг другу. Босые ноги ощущали под собой прохладную гладкую поверхность, раскинутые руки еле чувствовали мягкие уколы соседних лапок. И чем дальше мы отдалялись от стволов, тем ниже прогибались ветви. Сердце замирало, но мы спешили добраться до конца и, не дойдя полуметра, прыгали солдатиками в хрустящую травой влажную яму и смеялись от непонятного счастья. А следом за нами уже другие ребята лезли по стволам. Это продолжалось целый день, пока силос не утрамбовывали окончательно. Потом засыпали яму землей, и мужики уже утаптывали ее сапогами.

Когда началась война, я был совсем маленьким, но хорошо помню, как мама, проверив школьные тетради, уводила меня спать в верхнюю половину. Мы подолгу не укладывались и все сидели у растворенного окошка. Она брала меня на колени, прижимала к теплой груди и, покачиваясь, напевала:

На Муромской дорожке
Стояли две сосны,
Со мной прощался милый
До будущей весны.

Моей фантазии не хватало, чтобы понять, кто этот «милый», но я твердо верил, что мама поет про эти две сосны, так хорошо видные из нашего окна, и мне нравилось,

что дорога, бегущая к ним, называется непонятно и звучно — муромская. Уверенность моя крепла еще больше, когда у нас по вечерам собирались мамины подруги и, распевая эту песню печальным хором, часто и подолгу смотрели в сторону сосен и плакали.

Со временем дорога и для меня стала обыкновенным проселком. Она вела в рудишкинский малинник да на Семское и Озерное болота, куда каждое лето и осень отправлялись бабы с огромными плетюхами за лесной и болотной дапью. Но этому же проселку ходили и за груздями в Церковный мыс. Оттуда уже перли обычно полные пестери и корзины кто губины, кто варений и парений. Упетаются сердешные: путь неблизкий, да и нешибко ровно. А дело уж к вечеру, страшновато в темнеющем лесу, хоть и людно ходят. Но только выберутся к соснам, обязательно посыпывают ноши в траву, усядутся под высокие вершины, развязут платки и облегченно вздохнут: сидеть сухо, и деревню видать.

А сосны из Липовицы тем более видно. Бывало, ждешь, ждешь бабку с болота, проголодаешься, натоскуешься, сядешь к окошку в верхней половине и все глядишь в ту сторону: когда покажется липовская артель.

Да и не только из деревни были видны эти сосны, а отовсюду. Уйдешь на гулянку в дальнюю деревню, глянешь на закате в свою сторону, а на багровом подкладе и парят два темных густых султана. И уж знаешь, что недалеко от них и твой дом. Совсем недалеко. А пока дом видно, ничего не страшно. Пускай самого-то дому и не углядишь, ни трубы, ни крыши. Но раз видны сосны, значит, и дом тоже.

И бабы не раз о себе рассказывали. Уйдут, бывает, на Лебедское болото за крупной клюквой, какая не нарастает на ближних. А там тараканнику, что краивы вокруг скотного двора. Нанюхаются, закружаются, свету белого не узнают. Особо нездешние, дальние, непривыкшие. А кругом одни дохлые сосенки, одна на другую похожие, как рукавицы. Куда идти? Вот найдут деревцо, которое покрепче да повыше, да подсадят на него бабенку потоще. Поглядит она во все стороны и увидит эти две сосны в пачнях. Перекрестятся клюквенницы да прямиком, не выбирая и не разглядывая тропы-дороги, пойдут на них. И выбредут на путь.

Сколько народу спасли от погибели эти две сестреницы, одному господу известно.

Но вот однажды через Липовицу прошли три незнакомых и по одеже нездешних парня. С рюкзаками да с треногами они направились в сторону пашен.

По избам прогуляя слушок, будто нефть хотят в рядовых болотах добывать или просеку новую рубить. Точно никто не знал: никто ведь мужикам не докладывается.

Долго ребята чухались в болотах, чего-то размечтали, вколячивали кое-где колышки, говорили «для привязки». Поздно возвращались вечерами в деревню. Глухая старуха, у которой они остановились, бывало, забеспокоится, к мужикам побежит:

— Сходили бы, мужики, погаркали робят-то. Может, их водят. Больно часто они за вином-то по вечерам его поминают. Может, и водят с этого.

Но ребята снова возвращались невредимыми и рассказывали, как и вправду заплутали сперва, да вышли на приметные сосны, а уж тут дорога тореная.

Мужики уговаривали ребят куревом и все выспрашивали, хорошо ли, надежно ли те «привязались» к здешним болотам на этот раз. Уж больно мужикам поглянулось такое знакомое слово в таком необычно новом значении. Они похочатывали:

— Не отвяжетесь?

— Не, не отвяжемся, — смеялись парни в ответ.

Дело у них двигалось к концу. Еще одна привязка — и можно собирать рюкзаки. Они долго не могли выбрать самую высокую точку, а потом их осенило: «А сосны-то на что!»

Отрубив сучья, они приколотили тонкую длинную жердь к вершине одной деревины и на прощанье уселись на корневищах спрыснуть счастливое завершение осто-чертевшей работы. Высокий яркий костер, разведенный под дремучей кроной второй сосны, зловеще освещал осокоренное второе дерево, которое уже только из привычки и жалости можно было назвать прежним именем.

Липовские мужики видели этот ночной костер (а один молодяшка даже был свидетелем, как отрубали ветви у первой сосны). Но никому не хотелось идти в пашни в такое позднее время. Один старик Ходоха поджидал ребят в деревне долго, но потом тоже сморился и ушел спать ругаясь:

— Я-то чего? Им не надо, а мне помирать скоро. Я-то чего?

Только глухая бабка не соснула ни часику и, впуская постояльцев в избу, не поставила им молока и не подала ярушников. Она всю ночь ворочалась на лавке и ждала, что кто-нибудь постучит, нарочно двери не заперла, но никто не постучал, никто не пришел. Ребята тоже худо спали, хотя пришли нетрезвые. Они затемно поднялись, уложились и стали с бабкой прощаться:

— Спасибо вам за все. Простите, если что не так... — И стали ей совать деньги.

Она молча их приняла и напоследок сказала:

— Прежние бы мужики вас так не отпустили...

...Теперь часто, приезжая на лето в отпуск, бывшие липовцы смотрят в сторону сосен и ничего не видят. Обе посохли и скоро упадут. Отпускники ругаются, нервничают и спрашивают за водкой:

— Кому глаза драли?

Несколько раз они пытались посадить возле сушин молодые сосенки, но те никак у них не приживаются. Может, садят не вовремя или слишком близко к мертвым деревьям. А может, еще чего не так делают...

С ЛУКОМ

Лето было дурное, и луку у Парменовны наросло мало. Нельзя пообидеться, что совсем худо поросло, но надо бы поболе. И гроздочки были дородненькие: по три, по четыре, а в ином месте и по шесть луковок, но многое сгнило из-за дождей. Она весь лук перебрала, обрезала ножом усики, обстригла пожухлые перья, и он долго сушился у нее в верхней половине.

Заготовитель жил в ихней деревне, она ходила к нему проведать, почем будут нынче принимать, и он сказал, что как и в прошлом году, по двадцать семь копеек за кило да скидки пять процентов.

Принимали уже больше недели, и она подумала, что теперь народу поотвалило и не придется выстаивать большой очереди. Поразмыслив так и успокоившись, она села у окошка поджидать попутную подводу и выбежала на крылечко, когда первые гремучие drogi выехали из отвода.

— Гляжу в окошко: ведь божатка правит.

— Ой, Марья Михайловна! Доброго здоровья. А я думаю, сейчас приворочу да маленько перемёшкаю. Может, витер-от и поуймется.

Крепенькая старушонка бойко спрыгнула с drogi и, натянув правую вожжину, повернула лошадь в заулок.

— Одна дома-то?

— Пошто одна, домовика приняла.

— Ой, ты, лихota, да что ты меня-то не известила? Я бы хоть поотсоветовала. Нонешние домовики последнее профинят.

— А нет, ничего, у меня смирёной, не изобижает. А и финтовой бы попался, так немного наразгуливвал. — Парменовна открыла двери и пропустила гостью в избу. — Да не колонись о косяк. У нас, как в пещере, все надо сгибаться. Вон погляди, какой у меня домовичок.

На широком соломенном матрасе по полу раскидался мальчик лет шести.

— Это чей парнек?

— Да ведь Люськин, Минька-то. Али ты его не видывала?

— Видывала, видывала. Как не видывала. Значит, мамка в деревню привезла, на легкий воздух?

— Да я сама ездила дак и забрала. Вон у меня как парень-то разоспалсё, не скоро теперь и добудиссё. — Парменовна наклонилась над мальчиком и утерла сладкую слюнку с его щечки. — Минюшка, вставай, христовой. Миня, Миня, будет нежиться.

Мальчик не сразу открыл глаза, снова зарылся головой в рыхлую подушку и поддернул одеяло.

— Вставай, вставай скорей, Миня, да бежи к косяку-то меряться, на сколько за ночь подалсё. Ой-ой-ой, ну-ко, ну-ко, намного. Вишь, вчера как супу-то нахлебался и вон как заметно подалсё. Ну вот, а теперь садись на лавку и одевайся.

А Миньке лень самому одеваться, его в городе всегда мама одевает. Сначала тоже заставляет самого, но он долго копошится с чулками, потом с лямками у штанов, а маме надо торопиться на работу, она не выдерживает и сама начинает натягивать на него чулки, рубаху и ботинки. Минька видит, что бабушка сегодня куда-то наряжается, и он ждет, когда она тоже не выдержит.

— Ой, соплеватой, приучили тебя в городе. Там все праздные: ни печь топить, ни дров носить, вода готовая. А ведь бабушке некогда. Вот выпехну на улицу; вон цыганы едут, так подберут, и будешь с ними по холоду скитаться.

Но Минька уже не боится цыган, он знает, что его никому не отдастут.

— А ты, божатка, не в Чучково наладилась? Мне бы луку надо увезти, подводу и выглядываю.

— В Чучково я, на почту, посылку сдать.

— Ой, дак на что лучше. И у меня тоже на почту орудье есть. Ой, Христос тебя послал. А к нашему конюху приди лошадь запрягчи, так то ёздцы все прирваны, то у хомута супони нет, то вожжи украдли. А как за вином, так скоро срядятся.

— А кто ионе лук-от принимает? — спросила божатка.

— Да этот... У него еще какое-то величанье трудное. Геннадьевич, вздумала.

— А... ну, тогда знаю.

Женщины вытащили вдвоем мешки с мосту на крыльце и стали перетаскивать на дороги.

— Погоди, божатка, поотпышкаюсь. Руки стали худо держать.

— Да что ты, девка! Ведь ты меня, поди, помоложе?

— А вот и позднее родилась, да ране состарилась. Тихо стало дело подаваться. Где надо одинова, я три раза заворочусь.

Наконец они положили на задок последний мешок с луком. Божатка отвязала лошадь от огорода, перемахнула вожжи на другую сторону и выехала к большой дороге. Тем временем Парменовна принесла с мосту замок, продела его в пробой и сунула Миньке в карман кусок пирога да две глибки сахару.

— Смотри, Миня, на большую-то дорогу не выбегай, а не то машиной замнут. Шофер-от пьяной, глаза зальет да закатит на тебя машину, вот и голова в канаве. Я недолго прохожу. А ты как проголодаешься, так и вспомни, что у тебя в карманчике свой буфетик. Ну, оставайся с богом.

Парменовна не стала садиться на drogi, а пошла рядом, чтобы слышнее было разговаривать. Она несколько раз оглянулась на Миньку, который уже сосал кусок сахару, и, чуть заметно улыбнувшись, прокричала:

— Смотри не балуйся у меня. А как озябнешь, так побегай к Таньке.

Она помахала ему красной от холода рукой, отвернулась и пошла снова, больше уже не оглядываясь.

— Вот, божатка, и об их заботушка заела. Только ведь и сухотимся из-за деток. Об Люське так уж ревлю, ревлю... Ночью-то глаза зажимаю, зажимаю, а уснуть не могу. Все писала мне: мама, мы живем хорошо. Нагляделась я ноне, как они хорошо живут.

— Мужик-от, поди, тоже попивает. От других отставать неохота?

— Да он, пожалуй, поперед всех бежит. Задорной на вино. Кажное воскресенье во все карманы бутылок накладет, да за опушку-то сапогов заткнет, только что в середыш не сунет. За этакую сулему что денег валят... А ведь дома груда ребятишек. Налопается, да эдак-то всю ночь и комедится. Уж пьяной-припьяной, кажется, нажрался, а покажи снова бутылку, так на коровках за ей поползет. И куда только в них лезет? Ведь морной сам-от, как колхозный теленок, а в три горла катит. Наутро-то его и вьет, и вьет. Я и говорю: «Уж терпи, Санушко». Пьяной — смеяться, трезвой — реветь. Так не

глядется. «Ты, — говорит, — только дочь свою любишь. Небось бы ее так вертело, так сбегала бы за мерзавчиком». Это они так четвертинки прозывают. «А я, — говорю, — дочь тоже не выгораживаю. Тоже не научена жить».

— Где она у тебя работает-то, забыла? — спросила божатка.

— Да за буфетом. Ох, уж тоже не бережная. Платья все свои прежние, виши, не по индраву. Надо по-городски чтобы. Так начнет стричь да перекраивать, что потом едва на кофту соберешь. Али натащит арбузов. За каждое кило передаёт по шестидесяти копеек, а там больше корок, чем делового. Да и это-то все пустое. Одна сырость. Сроду бы не расстаться с деньгами. Где тут па все натягаться. «А что, — говорит, — мама, он пьет, а я ребятишкам отказываю».

— Да ведь и верно, Марья. Они этих арбузов на вине не один кузов прожирают за месяц-от.

— Не говори, божатка. Что беды на свете из-за этого вина. И в тюрьмах сидят из-за вина, и в сумасшедших домах сидят из-за вина, и прощают много из-за вина... Ведь половины бы горя не было без него. Что творится с народом? Как ополоумели все. Наш до того уж допил, что владенья собой не стало. С робот везде гонят. Так на Север на два года забраковался. Только, поди, ведь и там толку не видать. И денег тоже. Все равно все прокатит. Что уж, рот с дырой дак...

Парменовна надолго замолчала. По ее усталому исхудалому лицу во все стороны, дрогнув, разбежались морщинки. Сухие бесцветные губы уголками опустились вниз, и она стала похожа на обиженного ребенка, который готов заплакать от любого неосторожного слова. И только глаза были молоды и зорки. Как будто с другого лица.

— Деревенских-то своих кого в городу видела? — снова заговорила божатка.

— Видела, видела. И Шуру Виторьевскую, и Галиненка и Орашиху.

— Ну дак, коли, гляди, много ваших?

— А если бы всех собрать, так большая бы деревня вышла.

— Так хоть жизнь-то тебе свою хвалят?

— А передо мной что хвастать... Я сама все вижу. И посланце нашего хлебают, а ведь все с купки, все по

часикам, да все впробеги. Но уж, видно, правда: где камень облежкался, там ему и хорошо.

Дорога пошла в гору. Божатка тоже спрыгнула с дрожек и пошла рядом с Парменовной. Она была пониже росточком, но поплотнее, повальяжнее. Одежка была на ней старенькая, поношенная, и виднее всего были новые накладные широкие карманы, пришитые к выцветшему мужскому пиджаку. Она бросила было вожжи на подводу, но впереди показалась машина, и лошадь забеспокоилась. Тогда старушонка впрыгнула на дороги, встала впереди на коленки и натянула вожжи.

— Иди, иди, не бойся. Не обдерут тебя! — прикрикнула она на лошадь и дождалась, когда тяжелая машина, таща на прицепе две длинные трубы, с ревом и гарью прошла мимо.

Парменовна отшатнулась в сторону и даже зажмурилась.

— Боюсь этих леших водяных. Так сердце и остановится. Ведь что творят... Носятся, как духи. Нормальному человеку тут и не выслужить. Сейчас еще посбавили: дорога-то вся искорчена. А ведь сперва так и не выходит из дома: ветром сшибет, как носились. В Вологде, чула, наваливают трубы-то, а возят куда-то далеко. Газ, что ли, протягивают. Зимой много было труб на дороге натеряно, а теперь опять собирают, ездят. По пятнадцати рублей за трубу, слышала, получают, если ладно привезут. Сколько месяцев дорогу-то излажали, излажали, все напичкались, а эти трубачи в одну вёсну нарушили.

— А не надо было их пускать, пока бы хорошенко не просохло да не закрепло. Рано пустили. Трясок на тряске теперь.

— Ладно, хоть у нас багаж такой, что не переколется.

Божатка поглядела на Парменовну, на ее мешки и спросила:

— Намного, думаешь, потянет?

— Да, думаю, килограмм на сорок, а хорошо бы на пятьдесят.

Когда они подъехали к Чучкову, то сразу поняли, что очередь на сдачу большая и стоять придется долго. Парменовна забеспокоилась.

— У меня ведь там парнишко. Что это я делать-то буду?

По деревне ходили мужики из дальних деревень, с витнями, у которых по закопченному кнутовищу были вы-

резаны разные узоры, а длинный кнут из крученой сырьомятиной волочился по земле. Многие были в шапках, а старики даже в шубных рукавицах. Полно бегало ребятишек, не отпущеных сегодня в школу матерями: надо было кому-то и за лошадью присмотреть, и в очереди смениться, да и мешок помочь перетащить за легкий конец. Ребятишки, видимо, не унывали, что пропускают уроки, и попеременно раскатывались на одном велосипеде, то натужно взираясь в гору, то с ветерком летя обратно.

— Экие маленькие ездят, гли-ко, и не перевертываются, — уж в который раз подивилась Парменовна. — Ну так ты иди, божатка, на почту, а я подъеду, свалю мешки да и в очередь встану. Погляжу, может, кто и перепустит. У меня ведь там парнишко один на воле.

И она подхлестнула лошадь. В очереди у нее сразу же отыскалась стародавняя подружка Егоровна, которая согласилась ее мешки сдать вместе со своими.

— Да что тут разговаривать из-за четырех кулечков. Ты лучше поговори, как живешь сама-то?

— А хорошо. Что худо жить, только маяться. Ребята все женились, дочки взамуж повыскакивали. Каждинный день то от одного, то от другого го привет, то посыпочка. Римка на Черном море живет, Генко в Череповце, Ленька с трактористов снялся, теперь механиком форсит. Сама всю картошку выкопала. Да приезжали производственницы-то, у меня стояли, так подмогнули. Зиму теперь как-нибудь пропелюгаюсь.

Очередь двигалась медленно, и даже за разговором Парменовна вдруг спохватывалась и, покачивая головой, глядела в сторону своей деревни.

— Ведь у меня парнишко один на воле. Прямо душа лопает, как беспокоюсь.

Егоровна подошла к женщине, наваливающей уже свои мешки на весы, и что-то ей пошептала, та согласно покивала головой, и Егоровна подошла снова к Парменовне:

— Давай понесем твое к весам. Там наша бабочка наваливает. Сейчас ее обвешают, потом твои наверх закинем, заодно и твое обсчитают.

Мужик, который следом готовился сдавать лук, недобро запосматривал на женщин, догадываясь, что его собираются обойти. Он приподнял короткий козырек замасленной восьмиклинки без пуговки. Его отросшая рыжая

щетина вдруг словно бы встала, загорелась на вспыхнувшем лице, и он заорал:

— Какого хрена, липовцы приехали после нас, а сдаают перёже?

До сих пор занятые разговорами бабы опомнились, встрепенулись и тоже загудели:

— Нечая, неча, сами встали не ума свету да и морозимся тут. Да и ребятишек голодом морим.

— Тихая, тихая, а вон что вытворяет.

— Да как вам не совестно, бабы, из-за четырех-то кучечков столько дуру подняли, — вступилась Егоровна.

— Четыре, не четыре, а очередь для всех положена! — опять заорал мужик в восьмиклинке без пуговки.

Парменовна застеснялась, опустила глаза и не знала, что сказать. Потом она тронула Егоровну за рукав:

— Ладно уж... не надо, я достою коли...

— Знай помалкивай да стой. Я сама все обделаю. Им ведь только дай поперечетырживать. Надоело без дела топтаться, вот и нашли разглуждку: покричат — посогреются. А у этого, у Мишки-то рыжего, и жена такая глотина, любого мужика переорет. Ты не гляди на них.

Приемщик, не встревая в разговор, начал взвешивать уложенные поленницей тугие мешки. Но потом, что-то вспомнив, развязал один, засунул туда руку до локтя, вынул несколько луковок, оглядел их, снова бросил в мешок, завязал устье и стащил его с весов. Развязал другой, опять сунул руку, вытащил две луковицы и бросил обратно.

— Я же предупреждал, чтобы не обрезали так. Половину повезете обратно. Не велено мне принимать, у кого так обрезано. Надо только усики ножницей обстричь, а не резать. Гниет после этого.

Бабы зашевелились, запереговаривались, запосматривали друг на друга, словно не соображая, о чем речь.

— Да ведь о прошлом где наоборот велели обрезать. Не принимали, если усики обстрижены, а не обрезаны.

— То дело о прошлом где, а нынче другой помысел.

— Да неужто мы не знаем, как надо лук обходить. Всю жизнь водим, неужто не знаем.

Но приемщик стаскивал с весов всё новые мешки, отставил в сторону один и у Парменовны. Пока бабы шумели и обсуждали новый порядок, качали головами и отплевывались, Егоровна получила у приемщика квитанцию и послала Парменовну в бухгалтерию.

— Иди получай деяньги. Еще бы немножко озевать, ни за что бы не пропустили. Теперь осерчали. Хоть бы меня-то не выперли из своей очереди. Ну иди с богом.

...Парменовне выдали на руки тридцать один рубль сорок три копейки, и она тут же решила двадцать рублей отложить, десять послать Люське и на остаток купить белого да Миньке гостинцев.

Ей помогли взвалить мешок на спину, и она, пошатываясь, засеменила к почте.

— Хороший, видно, человек этот приемщик-то. Ведь у меня и в другом мешке было обрезано. Пожалел, наверно, старуху. А этот отставил, так и ладно. Я хоть на деле и пошлю ребятам по посыпочке. Видно, придется на пересыпку брать из отложенных. Ну, ничего. А то что у них там, в городе, за лук. Одна шкура!

К дому она подходила уже далеко за полдень. Минька, увидав ее издалека, пропустил по дороге так, что ошметки летели выше головы. Он подбежал к ней, ткнулся в подол носом и обхватил ручонками ноги. Парменовна согнулась в коленях и склонилась к мальчику.

— Что, стосковался без баушки? Вишь, как одному-то неповадно. На-ко вот я тебе калачик-то какой принесла. — И она подала Миньке сушку, посыпанную маком. Вытерла ему нос, отодрала репти от рукавов и заворковала: — Ой, ты, свинья нескребеная. Смотри-ко, весь переватлялся-то, липух-то на тебе, как на беспризорной овце. Поди-ко, и голоднехонек-то, что терпежу нет. Пойдем-ко скорее в избу да хоть нос-от тебе выстираем.

Миньке стало до того хорошо, что в носу сладко засипало от близких слез. Он грыз свою сушку и, когда почувствовал, как бабушкина рука щершаво погладила его по голой шее, снова ткнулся в подол и свободной рукой обхватил худую бабкину ногу.

— Ну, будет, будет. Баушка ведь не ругает тебя.

Когда они проходили около рядового дома, из крытого крылечка высунулась соседкина голова.

— Ладно ли съездила-то, Парменовна!

— Ладно, ладно, Миколаевна. Почти все сдала. Остатки ребятам послала, да вот и себе еще оставила. На ползимы будет. Ладно, как неладно. Вон и гостинцев внуку накупила. Теперь опять нету беспокойства до осени.

Она отперла замок, пропустила Миньку вперед и вошла, сгибаясь под притолокой, в избу.

— Ну вот, слава богу, кажется, и дома.

ВСЕХ ЖАЛЬ

Дорога медленно и тяжело вползала в гору. Или Кирилловне самой уже тяжело было переставлять ноги и напрягать поясницу... Но она еще в это не верила до конца, хоть и чувствовала, что силы ее на истае... А кажется, давно ли они с дедом сенокосили у Шитровы-реки и она на обноске копен этого же Шибалова, к которому сейчас шла, опираясь на багог, — его и то до того упетала, что он валялся у нее сзади носилок: и руки не держали, и ноги подкашивались.

Он, поди-ко, и теперь еще помнит, не оторпется! Дедушко над ним тогда долго подтрунивал: «Что, Мишка, укатала тебя моя баба? Вот, парень, ты за один день с ёй увозился, а каково мне всю жизнь маяться?» — а сам похохотывал довольнехонек.

Теперь и во сне не наснится такой жизни!.. «Совсем худа стала, — подумала она про себя с жалостью, — помру, дак на тот свет не унесу мяска...»

Наконец она доползла до шибаловского дома, поднялась по ступенькам на крылечко, оттянула дверь.

— Можно будет?

— Давай заходи, заходи, Кирилловна, — раздался голос.

Шибалов сидел дома один, чаевничал в душегрейке. «Тоже, видно, не много жару в крови осталось», — подумала про него Кирилловна.

— Ну, здравствуйте, коли, — сказала, огляdevшись, старуха.

— Здорово ежели. Проходи ближе да садись к столу, водичкой теплой попотчуйся. А то дак и кашу грешную разогрею, если будешь. Поди-ко, постыла, хоть и недавно ели.

— Кashi грешневой не хочу, а чаю уж я пила, — отказалась Кирилловна.

— Так ты пила из своего колодца, а теперь попробуй из нашего. Из нашего слаже. Не зря сюда полдеревни за водой ходит. Чего руку-то из-за пазухи не вынимаешь?

Уж не камень ли па меня наготовила? — сверкнул, покосившись глазом, Шибалов.

— Да что ты, Михаил Николаевич! Какой камень! Калошу вот принесла. Погляди, быват, заклеишь... У тебя ведь, поди-ко, всякого kleю-то много, и калошной есть. А то надожило, в одних катаанках и к поленице не пройдешь: сырьо, а в кожаной обутке ногам стало жестоко. Вот и не знаю, куда сунуться, и пошла к тебе.

— Ну и правильно сделала, и клади на лавку свою галошину-то, недолго заклеить. Да двигайся, выхлебай чашечку, — снова предложил Шибалов. — Картошку-то копаешь?

— Копаю, — откликнулась Кирилловна.

— Дак какова?

— Да глиняя много, а под волотью мало: по три да по четыре картошины. По пятку дак редко и попадает.

— Дак не всю выкопала-то?

— Да где там — всю! Копальщица-то сам видишь какая...

— А что копальщица? — удивился будто бы Шибалов. — В самый раз. Вот сейчас галошу заклею, дак хоть снова замуж отдавай. Никого еще себе не приглядела? — тешился он.

— Как не приглядела, — засмеялась старуха и обнажила беззубый рот. — Приглядела дролю дева... Ой, Мишка, когда только к тебе ум придет... Я уж на житье вековое марли себе наготовила, а он знай прималышивает!

— Ну, девка, не торопись туда, покорми еще комаровто, — раззадоривал ее Шибалов, — а то у них ноне голодно: гостей-то по деревням было мало.

— Дак я и так покормила век-от этих кровососов. А ноне и вправду их такая гущина скопилась: кол станови — не упадет. Да и теперь еще по вечерам-то комаристо, но уж остатки...

— Нет, девка, не торопись на тот свет, — легко повернул Шибалов на прежнюю тему, — там и без нас людно.

— Да ведь торопись не торопись, а прижмет так... Это ведь не рукоделье, на другой день не отложишь, — возразила Кирилловна.

— Все равно отпехивайся, — посоветовал Шибалов, — а то у тебя Санко больно рано убрался, хоть и хорохорился передо мной. «Я, — говорит, — Мишка, все равно

вперед тебя не сунусь». А вот... Да... Пришел я к нему как-то (болел он уж), мы одни-то сидели, долго разговаривали, молодые годы вспоминали: вместе ведь ходили, да у девок носовики выгуливали. Так ведь чего вспомнил... «Все, — говорит, — Мишка: остаток сил уходит. А помнишь, — говорит, — как однова шли под утро из Завражья с Петрова дня?» — «Дак мало ли мы, — я-то ему, — утрами хаживали, где все упомнить». — «Да нет, — говорит, — мы еще девок-то вперед нарочно послали, самим-то невтерпеж было». Вот... Это... За Филино гумно и завернули. Достали да и давай наперебой, кто выше чиркнет.

Старуха мелко затряслась от смеха, заподпрыгивала, рукой прикрыла полый рот.

— Ой, наш-от тоже придумщик был, — довольная, проговорила она.

— Ну вот... — продолжал Шибалов. — «Я, — говорит, — ведь тогда всех вас перешел, до девятого бревна достал». Да... А потом эдак приуныл Санко-то и головушкой невесело покачал. «А теперь, — говорит, — только головки сапог гною...» А ведь я и вправду помню, — оживился Шибалов, — было, вправду соревновались. Самому-то не вздумаю, какое место досталось.

— Ой, Мишка, и охота тебе языком вертеть, — вдруг опомнилась и заплевалась Кирилловна, — чего только не набалаболит. Ты ведь уж стариk, поумеренней и тебе быть надо. Клей-ко лучше калошу-то, некогда мне!

— Какой я тебе стариk? — встрепенулся Шибалов. — Да ежели бы мне своя-то старуха не мешала, я бы себе такую артистку высватал, что у всей бы деревни глаза лопнули. А то моя-то карга стала ни тпру ни ну. Только все стонет да стонет... — И его остренькие глазки снова засмеялись. — Давно уж менять бы надо...

— Да уж это верно, что твоя-то стонотина... Ей хоть масла на голову лей, все равно стонет, а сама ведь здоровая, еще, гляди, она и тебя переживет, — согласилась Кирилловна. — А вот погоди, ежели помрет, так все равно жаль будет, ведь своя, какая-никакая...

— Дак ведь конечно, как же! — задумался Шибалов. — Да и сейчас-то ничего, я ведь не больно поддаюсь, — сказал он и взялся за старую галошу Кирилловны.

— Ой, не говори, Миша, вот уж как мне дедушку-то жаль, что раньше меня умер... Без его-то я всяко нахле-

балась... Да и об детках убитых на чужой стороне тоже ревлю и тепере. Всех жаль. А и живых жаль не мене, — словно для себя самой говорила старуха.

— А чего живых-то жалеть. Эти сами себе хозяева: живут-поживают!

— Ой ты, Миша! Какая у них жизнь в городах? Ну пускай они там ходят по асфальтам, да вразвалку, да в белых рубахах, как гуси. Ну дак и что? Совсем другой склад жизни.... Все-то в тесноте да в тяжелом воздухе, а на базаре-то ведь очередь в четыре ряда. А дома... С улицы пыль, из-за стенки музыка... И постонать нельзя, соседи пробудятся.

— Где это ты страстей-то таких нагляделась? — удивился Шибалов.

— Да это я у Нинки так погостила. Жила тоже: кусок весь оговоренный ела. А уж много ли старухе надо... Как кошке... Молочка иногда подавай — и ладно! Да зятю-то, вишь, не любо, что я живу. Так чаем ни разу не примолвил угостить. И дочка молчит, не хочет противиться ему... Ну и пусть живут. Заслужила овца барана! Я у них и пробыла недолго, уехала к Ваське.

— А ты бы не глядела на них, ела да и все, чего нашла. Ты ведь дочку для его выкормила, для зятя-то, — разозлился Шибалов. — Он тебе бы должен спасибо говорить. А ты там голодовала...

— Да ведь, конечно, отложить стыд, так будешь сыт, — рассудила Кирилловна, — но я не умею нахальничать и поехала к Ваське. Долго мы с ним на пару жили. Добро! Он побаливал, язву у него нашли. Дак выпивал изредка, а не пировал, ему нельзя было.

— Он долго ведь у тебя и не женился что-то, — поинтересовался Шибалов.

— Да все свободы жалел, да и худо ли ему со мной было? Придет — все готово, рубахи выглажены. Поел да пошел гулять. А где-то потом на вечеру потанцевал с одной, да на первый взгляд и влюбились. И женились. Вот ведь как ионе бывает. Ну ничего не скажу, баба добрая была и на работу на всякую ушла. Уж до того востра, востра — так на камню диру и вертит! Быстро они все завели и наставили. Васька-то был сытой, как боров, — с гордостью сказала Кирилловна, — да и роботной ведь он. За лето дом себе сстроил. Жить бы да жить! Хозяйство-то эдакое хорошее, одного луку по восемь мешков наживали с огороду. Да нет, не живется... Работала она

на стройке, да с бригадиром-то и схлестнулась, присвоила чужого мужика. А наш-от узнал, да и опоясал ее кочергой. Уж простил бы... Может, больше бы и не стала... А он ни в какую! Говорит, вот, отрастила брюхо, как у стельной коровы, теперь и повело... А мне жалко бабочку-то. Она и вправду распышняла, живучи за ним; выладилась, хорошая была такая, красивая из себя. И отец-то у нее такой умный мужчина, рассудительный. Да ведь не все дети удаются в родителей... И все полетело кувырком! Вот тебе и женился — как в ад провалился... Ну и стал прихлебывать, да и крепко. Где-то с бригадиром одинова схватились, а тот, видно, уж подговорил своих дружков, они Ваську-то и натолкли, эдакие грызла все... Духа ему и смяли. А ничего им и не сделали. Вишь вот, у которых отцы-то есть, так все лишнее защищают дите, а у наших нет, так их везде и хлещут, бесправных.

— Да ведь Васька-то сам отец, — возразил Шибалов, — чего ему еще от отца застон ждать. Сам за себя постоять должен.

— Да, конечно. Это я к слову только... — оправдалась Кирилловна. — А сразу после этого Васенька и сдал. Раньше вон какой лось был, с кем хошь нечего было делать, а тут от хмелю ослабнет, усядется, а встать не может...

— Да, здоров он был в парнях, — согласился с Кирилловной Шибалов, уже зачищая рашилем дырку на галоше и выстригая заплату из остатка старой велосипедной камеры.

— Ой, здоров, — подхватила старуха, а сама боялась, чтобы Шибалов не сильно рашилем-то тер, да не распорол еще больше. — Да и красивой такой, ой, красивой! — гордилась она сыном, ровно чужим. — Но ведь одно горе проходит, другое тут и есть... с винцом со славы-то и попропал. С работы сняли. Но относились-то к нему добро и уважали, он ведь ни разу на работе прогула не сделал. Вот ему и документы хорошие дали, а на кранте работать не разрешили боле. «Вишь, — говорят, — чего-нибудь спихнешь с похмелья-то, дак нас всех и засудят». Да и за его побоялись, самого пожалели, может, чтобы хуже не вышло. У него уж и с нервами не то стало, поослабли.

— Дак, конечно, — сказал Шибалов, — там надо жилу крепкую и глаз трезвой, на кранте-то, да и руку твердую, а то развалишь стену вместо того, чтоб построить.

— Вот ему и пришлось сюда возвратиться да на Сухой реке в лесу и работать, не захотел там оставаться; бригадир-то, вишь, ему уже грозил. А и вправду: чего случится, так в тюрьму ворота широкие, да обратно узко проходить, плечи застревают. Ой, а в лесу-то, я поглядела, в бараках живут; все черные, как киргизы. Народу-то напёхано, повернуться негде. В уборную ходят и то в очередь. А уж какого только народу нет. Да баб-то всяких... Послушаешь их разговоров — дак волос на голове вьцет. У каждой по ребенку да по два наработано. Васька-то запирался от них — вот какие нахалы, так и лезут прямо, и напирают... Я-то его пооберегала, пока жила. «Смотри, — говорю, — Василий: надо искать ту, которая не за гулянкой гоняется, а жить думает. А которая об жизни не думает и на хитростях едет, — ту обходи. Да и на ту не зарься тоже, коя в землю глядит... А все равно жениться надо, нечего так шататься да пировать».

— Дак ведь он вроде давно с лесопункта-то снялся, — засомневался Шибалов и на время прекратил клеить.

— Уехал он с Сухой, не мог подыттать себе подходящей бабенки. Да Колюха его к себе сманил. «Там, на югу, — говорит, — полегче житье, да и я, мол, помогу тебе. Как же, брат все ж таки, а свой своему и лежа помогает. Теперь Василий за рекой, за Днепром, живет... В каком-то Кривом Роге. Уж, пишет, и квартиру напытал. Да Колюха-то сказывал, больно худ стал, одни кости...

— Ну а старшая-то у тебя где, Шура-то? — спросил Шибалов.

— Да эта все там же, в Архангельском.

— Парнишко-то приехал к тебе ейный?

— Ейный, ейный. Ой, парнишко-то дак чистокапельной отец — минутки не посидит дома. Только приехал, обернулась — уж нет. Всю деревню выбегала, едва нашла. «Где, — спрашиваю, — ты пропадал-то?» — «А с собачкой, — отвечает, — играл, с Моряком». Вот не успел приехать, уж всех собак по имени знает. А что, как укусят? Они ведь его не помнят.

— Да наши собаки не тронут, — успокоил Шибалов, — они маленьких-то не обижают, хоть ты что позволь с ними. Ну а Шура чего делает в городу? — спросил он снова.

— Да всю зиму дак болела. Каменя у нее в почке образовались. И так, видно, болели, что сама запросила

операцию. «Лучше смерть, — говорит, — чем так мучиться». А врач-то ей напоперек: «Вот придумала! Буду я тебя резать, такую женщину». Больно ее уважают на работе, вишь. Так падавал лекарств дорогих, что нигде и не купить самим, — и все так прошло, — говорила Кирилловна, а сама все поглядывала, чего Шибалов с ее галошкой делает.

— У нее ведь старшая-то вроде дочка? — спросил он.

Шибалов уже приkleил заплатку и теперь положил галошу на пол возле ног, а на kleеное место устроил железную болваночку, чтобы лучше припечаталось. Старуха поглядела, подумала: «Хоть бы не довел. Галоша старая, а он железину на ее заворотил», — но ничего вслух не сказала об этом, а начала про Шуруину дочку:

— Дочка, Ленка, старшая-то. Беспокойство растет матери тоже. Вздумала на геолога учиться. Я говорю: «Ну куда ты суешься, девка? Да разве это для девушки робота? Вон в телевизоре кажут. Хоть и морожжит в нем, морожжит, а кое-чего разобрать можно. Они, геологи-то, и на горы лезут с мешками, и через реки переходят бурные. А вода вон до вилок достает. Да как чехнет, да чехнет, полные сапоги начерпашь, а и обсушиться негде. Учись, — говорю, — давай лучше, чтоб писать где-нибудь да у батарейки сидеть. А то вон матка всю жизнь доски таскает, и тебе охота?» Вот собрала вчера посылку к ним да ей и письмо снова написала про это. Да и с огорода кое-чего послала.

— Сколько за посылку дотуда платишь? — поинтересовался Шибалов.

— Да не помню... А мне всегда скажут на счетах, сколько заплатить-то. Да надо бы и самой в Архангельское собираться. «Парня, — говорят, — привезешь, и сама опять живи сколько хочешь». Вот уж подстынет, так и надо на попутшую машину попадать. Лошади-то не дождаться все равно у нас, да па наших конях никогда и запрягу нет никакого. Собираюсь я, собираюсь, а то до снегу скоро, холоду-то вон сколько... Да все еще Ваську ждала, приехал бы хоть приотъелся, я бы покормила хоть яичками, да и молочка бы для него лишнее побрала. Прислал фото, так совсем глаза провалились. Все ждала, ждала. И ночью-то крепко спать боюсь, думаю, вдруг приедет, а я и не услышу. Так кошка с печи соскочит — я уж и проснулась...

— Может, ему отпуск в другое время определен, — успокоил ее Шибалов, — или напротив летом прикатить задумал. Опериться сперва хочет...

— Напротив, может, приедет только к матери на могилу, — спокойно и грустно сказала Кирилловна и вроде захотела вставать, наклонилась и зашарила под лавкой свой батог: — Ну, ладно, идти... Давай, коли, мой ступень-то.

— Да погоди маленько, — остановил ее Шибалов, — дай хорошенеко клею-то пристать... Про Шуру-то саму ничего не порассказывала. Как они живут с мужем-то?

— Да у них как хорошо, нельзя похаять.

— Мужик-от здоровой у нее?

— Да какое тоже здоровье, как по целой горсти порошков зараз съедает... Но хороший мужик. Ой, я и забыла: ведь его матери-то тебе какая-то сношепница, — обрадовалась Кирилловна.

— То я и спрашиваю — нам она по своим, как же! Мой тетки двоюродница.

— Ну как через это, коли, и мы с тобой родня, — улыбнулась Кирилловна.

— Далеконькая, правда, — пожалел Шибалов, — а все ж родня!

— Как бы ловчей сказать-то... Нашему кузову троюродный пестерь, — определила наконец Кирилловна. — Ноне это и за родство не почитают, а в прежнее время так знались и гостились.

— Так хорошо, говоришь, у них промеж себя-то все? — снова вернулся Шибалов к своей заботе. — Не дерутся, не разводятся?

— Добро, добро живут. Не заносятся друг перед дружкой да заботятся — вот и живут, — сказала Кирилловна. — Ведь и мы раньше эдак же норовили. А с чего засносяться? Я вон когда из-под венца-то шла по церкви, так ботинки ревом ревели, и три гребенки в голове воткнуты. А что Олексан был? И кожаники кое-какие, да и ширинка была на деревянной застежке, а эдак же жили в уважении!

— Да полно-ко тебе, на деревянной застежке! — не поверил ей Шибалов.

— А полно, так отпей, — поднялась Кирилловна. — Говорю тебе — на деревянной...

— Ну тебе лучше знать, — усмехнулся Шибалов.

— И пуговицы на пинжаке были деревянные, я ведь помню, — не поняла его Кирилловна в увлечении.

— Ну ладно, ладно, — успокоил ее скорей Шибалов, — на вот тебе за это. — И он подал ей заклеснную галошу.

Кирилловна поразглядывала, осторожно потрогала заплатку, сказала:

— Ну теперь мне не износить до смерти. Галоши-то давнешние, а хорошие. Резина попала не прелая, стойкая. Ну пойду. Вишь, какой уповод просидела, прокалякала с тобой. Надо идти да искать Петьку. Опять, поди-ко, с собаками куда-нибудь усвистал.

Она попрощалась и вышла. И лишь когда спустилась под гору, поняла, чего это Шибалов ухмылялся напоследок.

— Тыфу ты, пакостник какой! Все перевернет по-своему, килун лешов. У самого-то детей не было, да всю жизнь только прихехенюшками и занимается. Ладно ли хоть галошу-то сделал, а то, может, и тут над старухой надсмеялся.

Она остановилась, достала из-за пазухи галошу, спонва ее оглядела и поотколупывала заплатку: нет, та сидела крепко. Тогда она успокоилась, засунула галошу обратно и направилась дальше, что-то бормоча себе под нос.

НА МОЛОКО

Глаза у Катерины Вячеславовны стали совсем худы.

А и началось вроде не взаправду. После сенокоса она выкопала в одиночку всю картошку на задах, перебрала и сносила ее в погреб и к ночи почувствовала, как у нее что-то глаз заподергивало. Она решила, что это надуло, и легла спать на печь.

Утром перестало дергать, но все что-то мешало, а с обеда вдруг глаз заболел. Она снова легла, теперь уже на кровать за шкапом, и пролежала до потемок. Хозяин, видя, что с женой неладно, спросил:

— Ты чего это, баба, кубасишься весь день?

— Да глаз у меня что-то стонет.

Он усмехнулся:

— Ну, глаз, тогда ничего. Проморгается...

И Катерина Вячеславовна опять лежала за шкапом, пока не пришла пить чай соседка Саня. Она жила одна и не любила для себя ставить самовар, а ходила со своим сахаром к соседям. Она сразу заприметила, что большуха не вовремя лежит, и подошла к ней.

— Ты чего, не заболела ли?

— Да не особая болесь. Глаз чего-то, — ответила Катерина Вячеславовна.

— Так не напорошило ли?

— Да нет вроде.

— Может, рожью наколола?

— Не должно бы...

Утром хозяин позвал домой Кураниху. Она работала у Покрова в больнице санитаркой и поэтому считалась в деревне самой знающей по медицине. Кураниха пооттягивала веко больного глаза у окна, в одну да в другую сторону повертела голову Катерины Вячеславовны и заключила:

— У тебя, Вячеславовна, болесь. Зрачок темной и широкой. Надо сходить к фершалу.

До фельдшерицы пришлось идти километра четыре. Погода была опять не очень спокойная, и Катерина Вячеславовна пришла к медпункту, уже держа у глаза платок.

Молодая круглица бабенка в белом халате тоже повертела у нее голову в разные стороны, пооттягивала веко да позаглядывала в глаз, а потом взяла какую-то желтую, как глина, мазь и несколько раз провела ею по ресницам. Глаз так зажгло, что Катерина Вячеславовна едва усидела на диванчике. Пообтерпевшись, она тяжело выдохнула:

— Эдакую ты мне разорветицу напехала. Чуть не выворотило глаз-от. Какие ноне и лекарства изготавлиают, ну-ко. Ума можно рыхнуться. Бык задурит.

Старнику Катерина Вячеславовна ничего не рассказывала, но он понял, что дело у напарницы не поправляется. Вскоре его вызвали в райцентр на медкомиссию, и он велел старухе наряжаться с ним.

Пожилой высокий доктор внимательно и долго осматривал ее и под конец признался:

— Не знаю, баба, что тебе и посоветовать. Надо, видимо, в город ехать. Зря тебя и дура эта мазью мазала. Хорошо хоть глаз совсем не вылетел. Мы едва ли тут сможем тебя вылечить. Возьми вот капель, если не помогут, тогда и езжай в город.

«Ну, город от меня не уйдет, — решила Катерина Вячеславовна. — Да и скотину управлять некому. Мужику не суметь, а Саша ведь, поди-ко, не возьмется, тоже не молода. Потерплю еще, что будет...»

В городскую больницу она приехала уже спустя месяц. Ее два дня обследовали, а на третий сказали, что решили делать операцию. Катерина Вячеславовна испугалась и стала отказываться, но ей сказали, что если она уедет так, то глаз все равно в деревне жить не даст, и она сдалась, поразмыслив: «Уж все равно. Лучше зараз. А то что: приедешь, да, может, опять на той же ноге придется в город ехать».

Выписывая, ей говорили, чтоб тяжело не поднимала, не велели много читать, советовали больше отдыхать и лучше питаться. Она согласно кивала перевязанной головой и только повторяла:

— Ладно, ладно, понимаю. Ладно.

Через год оперированный глаз у нее совсем закрылся, да и на второй, видимо, повлияло. Белый свет затуманился. Бывало, паччет читать письмо от сына Леонида из армии, а глаз вдруг и заслезится, приходится откладывать письмо до завтра.

— Совсем виденья не стало, — жаловалась она стари-

ку, но тот откликался мало, потому что сам как-то разом сдал и теперь редко поднимался с кровати из-за шкафа.

— Худо тебе будет без меня жить в городе, — однажды сказал он, — не то что здесь: тут, куда ни пойдешь, машина не замнет и милиционер не обсвищет. А там слепой-то худо. Но ты не надсажайся. Корову... да и дом продай. Больше он, видно, робятам не понадобится... За меня тебе пенсию дадут инвалидскую, военную, а с деньгами и деткам полюбее будешь. Может, и не прогонят. Одной тебе здесь все равно не прожить, поезжай в город. Да помене там докторам-то в рот гляди. Они горазды только резать да потрошить. А разве от резаного лучше будет... Уж что изрезано, так и есть изрезано. Отпазгнуть-то не мудрость. А ты вот живое взамен поставь. Где там... Они вон хвалятся, что зубы паучились заменять. А что этими зубами ужусь? Манную кашу, будле. А у тебя — глаз. Потеряешь последний — нового не жди, никто не припасет.

Катерина Вячеславовна уже много лет после смерти мужа жила в городе, но почти до слова помнила этот его наказ. Сначала она жила у старшего сына Николая. С невесткой у них было согласно, поэтому жилось легко, хотя по профилю своей работы хозяин частенько выпивал. Он был бригадиром у плотников. И как-то под осень, сдав новые хоромы, он перебрал, уснул на сырой земле, недолго полежал в больнице и помер.

Теперь Катерина Вячеславовна жила у второго сына, Леонида, который после армии отстроился, обзавелся кой-каким хозяйством и привел в новые хоромы молодушку. Катерина Вячеславовна раньше ее не видывала, только слыхала, что работает она бухгалтершей в автоконторе, где работал шофером и ее сын. Переживала она, что сын не познакомил ее со своей ухажеркой, не спросил совета, да и сам недолго приглядывался к будущей жене. Поэтому Катерина Вячеславовна жаловалась рядовой старушонке, тоже приехавшей из деревни жить к сыну:

— Не знатое дело — и так скоро решиться, ну-ко. Мало ли вон девок у себя в деревне. И родителей знаешь, и всю родню, и саму выглядишь и в работе, и в гулянке. Так нет, кинулся на городскую. А что в них, в городских. И на девок-то непохожи: курят, пьют, матлются. Распетушицы какие-то. И в хозяйстве от них немного проку. Ни у печи ничего сделать, ни в огороде, ни с робятишками. Ставь их в угол заместо иконы да кре-

стись на них. А платьишко-то нашают себе. Господи. На четверть выше коленок. Уж до того доподнимали, что нагнется — и чернильницу видать.

Но дома Катерина Вячеславовна виду не показала, что чем-то недовольна. Она всячески старалась уворовать снохе, только про себя думала: «Как-то поживется...»

Пожилось плохо. После первой же ночи Леонид собрался и уехал в Данилов к сестре, которая по болезни не была на его свадьбе. Домой он пришел через три дня, матери ничего не рассказывал, а Катерине Вячеславовне потом донесли, что никуда он не ездил, а все три дня пьянистовал вместе со своим дружком Пашкой, давнишним разведенцем.

Попивать Леонид стал чаще, чем до женитьбы. Только передохнул месяца два, когда народился у них мальчик, а потом начал снова. Жена не раз зудила его то за товарищей, то за выпивку, то за мать: мало-де в дому помогает, худо за ребенком присматривает — вечно он в грязной рубахе и незастегнутых штанах. Делала она это не прямо, а вдруг начнет пенять мужу, что воды не наношено, огурцы не политы, клубника не выполота. А он на нее: тоже, мол, не переломилась на домашней работе.

Однажды Катерина Вячеславовна не выдержала и встремляла:

— Ой, вы, робята. Да не совестно вам? Есть ли об чем ругаться. Да было бы у меня получше видение, я бы залила вас водой. Только боюсь поднимать тяжело, чтобы не навредить глазу.

— А за целый-то день и по полведра можно наносить, — как-то сказал Леонид.

Катерина Вячеславовна осеклась и с того дня следила, чтоб в доме постоянно была вода.

К этому скоро привыкли и, когда мальчика отдали в садик, на Катерину Вячеславовну свалили и огород. Постепенно приучилась она луковкой расшаркивать пестолистые деревинки и растякивать топором плахи.

Мира у молодых никак не получалось. Они делили власть, каждому хотелось командовать, и никто не хотел уступать. Вскоре бухгалтерша забрала свою скрутку, оголя ребенка и перешла жить к матери.

Леонид с неделю пил; в последний раз перебил посуду, а потом вдруг обмяк и начал пить тихо и постоянно. Мать беспокойно следила за ним, больше молчала и ста-

ралась не напоминать о себе. Она тревожно ждала сына вечерами, заранее готовила ужин и, не угадывая ко времени, по многу раз разогревала еду. Он приходил до того пьяный, что, забываясь, поминутно спрашивал у матери, который час; на своих уже ничего не видел.

Она совсем измучилась с ним и однажды потихоньку пошла к снохе, уговорить ее вернуться, но та разговаривала с ней сквозь зубы, с усмешкой, и Катерина Вячеславовна, чувствуя свою бесполковость и прииженность, вернулась домой ни с чем.

Леонид тоже ходил не однажды. Катерина Вячеславовна не знала, о чем они говорили, но догадывалась, что сноха не идет из-за нее. В подпитии сын все чаще стал придираться к матери.

Катерина Вячеславовна долго терпела, но однажды не выдержала и сказала:

— Ты, Ленюшка, меня не кори. Я вам худого не желаю и поперек дороги не стою. Коли не нужна стала, так и скажите. Я себе найду притулье. Либо к Шуре поеду, либо к Сашке. Только живите в согласии. Пусть она приходит, и я сразу уеду. Боюсь только, чтобы ты один не жил. Не совладать тебе.

— Никого мне не надо, — пьяно кипятился Леонид. — Один буду жить. И ее не надо, и ты поезжай.

— Да ведь если я сейчас уеду, у тебя все мохом зарастет.

Но мысль куда-нибудь съездить да полечиться запала Катерине Вячеславовне. «Может, один-то поживет, да и поодумается, — рассуждала она. — Можно погостить у сваты да съездить к Сашке, давно тоже не бывала».

Держал ее огород. Насажено всего было много: не одна грядка огурцов и помидоров, морковь, капуста; но пуще всего беспокоила Катерину Вячеславовну картошка. Насадила она ее много, с крестьянской основательностью и предусмотрительностью на случай беды. Картошка не однажды спасала ее семью от голодной смерти, поэтому Катерина Вячеславовна ставила ее выше всего.

На сына Катерина Вячеславовна надеяться не стала и принялась копать картошку одна. На второй день к обеду у нее заболел глаз, и она заторопилась, нажимала на работу, чтобы скорей разделаться с копкой.

Последние мешки она ссыпала в подпол па ощупь, совсем худо видела, где отгорожено для картошки. К врачам больше не ходила, только постоянно закапывала ка-

кие-то капли, хоть толку и не прибывало. Скоро зрение совсем ослабло, и она поняла, что теперь в больницу толкаться бесполезно. Уж не раз пожалела, что не попробовала лечиться дома, старика винила за то, что в город ехать насоветовал.

Теперь Катерина Вячеславовна твердо решила съездить на родину, попить калины, а самое главное — тамошнего молока. Уж если от этого лучше не станет, тогда ничего не поможет, придется впопыхах век дожидаться.

Зиму она переждала, а к лету Леонида перевели на другую работу — он часто стал ездить по командировкам, и Катерина Вячеславовна осталась праздной. Както в очереди она разговорилась с одной знакомой старушкой из той же волости: та налаживалась ехать к дочери на время сенокоса понянчиться с ребятишками.

Старухи договорились вместе ехать на поезде до Сокола, переночевав там, а потом пересесть на автобус.

Вокзал гудел ровным летним круглосуточным гулом. Добыв билеты в пригородной кассе и разыскав свой поезд, попутчицы подошли к проводнице узнать, скоро ли поедут.

— А как свистнет, так и поедем.

Их натолкали, пока они пробрались в вагон, но два mestечка в конце старухи все же нашли. Сели друг против друга, дождались свистка и, когда поезд тронулся, говорить стали связнее и ровнее:

— Ой, что народу переезжает... Как вода переливается. Ровно все стронулись с места и кочуют, — сказала Катерина Вячеславовна и поджала губы, отчего подбородок ее сразу поднялся вверх и загнулся, как носок старого башмака. Она сощурилась и тихонько покачивала головой. — Что народу... И нам, старухам, дома не сидится. Ты-то, Павла, к которому сперва надумала: к Злике али к Мишне?

— Да оба зовут, — отозвалась Павла. — К Мишне-то не больно охота, неспокойно у него житье, с бабой не может совладать никак. Он думал, жениться — как с горки скатиться. А ведь не зря говорили, что жениться — как заново родиться. Прямо битва. Сам-то он, не похвалю, неловкой мужик, кипятилко. Да и она тоже добра. Все бунтит, бунтит — мужика и выбьет из терпения. А уж чего задирается? Знает сама, что хвост нечист, так уж норовила бы...

— Да ведь я помню, Павла: она что-то в девках печенегенно погуляла. Ведь у нее до мужика-то был нажит один?

— Ой, Катерина, да я ведь вроде тебе сказывливала. У нее уж был один мальчишко, найдёной, когда она с момим-то схлестнулась. Чего тоже глядел, в какую сторону... Бабы-то ведь наши все руки изломали, когда он ее брал. Ой, не говори лучше, пропал парень не за денежку. Да ведь и женился не втрезве. Бегала-то она за ним взавитую. Все к себе-то водила да поила, поила. А он больно кидок на вино-то. Вот с пьяных глаз и показался черт куколкой. Сама его привадила к вину, а теперь за пьяницу и калит, калит... Сама эдакая маленькая, нераженькая, а злости из нее, как из осья пузыря...

— Да что она, пугорья лешова, по хорошему-то жить не хочет? Кому она, пугорья, еще нужна-то? — не выдержала Катерина Вячеславовна. Павла своими словами затронула самое ее больное место. — Они все на язык-то остры, только бы их языками капусту и резать. А хозяйки такие, что двум собакам щей не разлить. Им ли с нашими робятами не житье. Да с такими мужиками можно защуряясь жить. Бывает, что и худой мужичок, а все-таки опора. Из-за высокого-то костра, говорят, и щепочка остра. Наша вон тоже чуть что не по ней — и нос кверху. А чего тоже кулеме надо? Ведь на ей, на кулеме, тяпок жириу, поди. За собой никогда не приберет, хоть пастуха за ней ряди. А тоже, поди-ко! — несется. А с чего нестись? В разговорах да как на хромой не объехать. И гордая, уж и пересолит, да выхлебает.

Катерина Вячеславовна все больше распалилась. Она редко кому открывалась, но теперь ей надо было выговориться. Помня Павлу еще с девок и тут почувствовав в ней человека, родственного по судьбе, она вдруг дала волю своему сердцу.

Народу в вагоне было порядочно, и многие с любопытством прислушивались к их разговору. Но то ли вечная русская открытость и доверчивость, то ли сознание того, что люди их окружали незнакомые, случайные и они скоро разойдутся навсегда, по беседа продолжалась тем же порядком, каким началась: старухи толковали, как будто сидели одни в избе, и никто им не мог помешать. Только бы самим не сбиться.

— Теперь ведь, Павла, и выбирают-то не по уму. Наш-от поглядел: па рожицу приглядистая — и давай

скорей раздувать кадила, как бы кто не перехватил. А ведь надо было узнать получше. Больно нынче уж девки-то вилявые. Нет, поди, единой безызменной. Ни у которой терпежу не стало. Так ведь не зря и говорят: сколько в квасной горшок семя войдет, столько раз баба мужика обманет. Наш-от как домой свою привел, я сразу вижу, что по носу глядит. Ну, думаю, налетел Леня, убил бобра. Так и оказалось. Развеялка баба — деньгами сорит во все стороны... Да и я поспешила, тоже его подторопила. «Женись, — говорю, — Ленюшка (как из армии-то пришел), что одному вечерами-то умирать. Не упускай хороших невест, а то выдергают всех». Боялась тоже, чтоб и не загулялся... Так вот он и выдернул. Уж такого командира, такого атамана... Как она зашла, — так уж сразу столбиком и становись. Нонешние бабы не то что мы. Нонешние навыкли жить с мужиками так, что только им наряды сверху спускают. А те, чтоб скорее бежали, да выполняли. Поменьше бы люлькались, так дело лучше выходило. Разве можно бабе власть давать? Она ведь ее всегда употребит, чтоб выполнить свой каприз. Обрадели, что их верх пошел, на мужика налетят из-за пустяковины да и пушат его, пушат. А дело слова не стоит. Мы-то, бывало, в праздник за мужиками ходим да ходим, лишь бы все ладно было. А напытается в чужой деревне, сгребешь его в охомяtkу да и ташишь домой. А эти нет. Мужик в чужих людях пьяной сидит, а она одна домой повиходила. Да придет он, так его еще и обругает всяко. Наша-то уж больно резкая. А ведь нельзя сердце-то распускать. Вот и не пожилось чередом. А чего бы не жить? Дом-от полной всего-всего накутили. Вдругорядь опять всю мебель перефрантила, много чего пазаводили. А какие бы уж теперь заводки — парень растет, за ним глядеть надо, да хозяйство большое. Я однова и навссила сказать: всего-де у вас и так вдоволь. Так не поправилось. Сидит молчит, не знаешь, что она и думает. Боюсь я таких. Да и неработная. Придет с производства, бухнется на диван: устала. А с чего там уставать. Ведь интеллигенция: до обеда здороваются, с обеда прощаются. Ничего для дома поработать неохота. Как-то отец ее на казенной машине приехал. «Поедем, Валя, в выходной-то в лес за грибами». — «Неохота», — говорит. А он ей: «Да хоть подышишь свежим воздухом». — «А мне, — говорит, — и здесь хватает». Вот и поди. Уж под окошки подъехали да и привезут — и то неохота. Неужели бы

мы так смогли? Пошевелиться лень, ни к чему не привучены...

Все это время, пока словоохотливая Катерина Вячеславовна жаловалась на свою жизнь, Павла не перебивала ее, только в конце, словно в утешение подружке, сказала:

— Да, гляди, Катерина, ты думаешь, твоя сноха на отмену, а иные все такие...

Катерина Вячеславовна закрыла глаза и снова поджала губы.

В соседних купе прекратились почти все толки. Было видно, что пассажиры внутренне участвуют в разговоре старых женщин, но никто не решается вмешаться. Только один молодой мужик, сидевший через проход от них у окошка и допивавший бутылку пива, попытался встрясть:

— Теперь бабам мужик нужен только в день получки. Приди, подай деньги через форточку — и можешь снова быть свободным до аванса.

Но женщины не отозвались на его замечание. Только Павла посмотрела на его стол, уставленный наполовину порожними бутылками из-под пива, и снова отвела взгляд. А Катерина Вячеславовна, похоже, не слышала даже слов этих. Ее мысли, словно разогнавшись, катились своей нелегкой горькой дорогой.

— Что, Катерина, говорить про нонешнюю жизнь. Мужики хороши, а бабы еще лучше. Весь женский полк чокнулся, все контуженные стали.

Павла немного помолчала и добавила:

— Им хоть бы что. Да их-то бы самих дак и дери лешой. Но ведь робятишки страдают... Велик ли у ваших-то выводок?

— Да ведь иные в городу помногу не посят. Раз-два — и все. Это мы прежде, пока пол-избы не наносим, дак не остановимся. А и у нашей только один. Была и со вторым, да как взаболь-то у них пошло, дак выжила.

Павла сокрушенно закачала головой, зашевелила губами и даже незаметно перекрестилась.

— Дак надо развестись с ней, да и все, коли. Все одно толку с этой не будет.

— Поди-ко... Ее не скоро облакутишь. Они нарочно узорятся, не дают разводу, чтоб самим денег не платить, чтоб все на мужика присудили. Он, мол, желает, а не я. Да бог бы с ними, с деньгами. Наш-от до чего тоже до-

расстраивался, что пить стал не по-чередному. Так от вина-то повышене в крови сделалось. Дома все запустил... Да при такой жизни ничего и на ум не идет... За все-то время много чего было, да всего не упомнишь.

Женщины до того заговорились, что, когда проводница объявила остановку, они не сразу сообразили, что им пора вылезать.

— Ой, Катинька, понеси прах, ведь нас дале провезут.

Они суетливо начали собираться. Павла подхватила под руку Катерину Вячеславовну, потащила ее за собой, напирая на передних. Старух провожали со сдержанными улыбками их попутчики по вагону, а тот мужик, которого дома ждут только в день получки, решил помочь Катерине Вячеславовне донести до тамбура большую сумку, по она хоть и не разглядела его заросшего щетиной лица, все-таки крепче прижала к себе сумку и, смеяя к выходу, приговаривала:

— Не заботься, пе заботься, сами управимся...

Мужик, видимо, чего-то сmekнув, потоптался около них и вернулся на место.

...В Завражье Павла привезла Катерину Вячеславовну на второй день. Накануне прошли дожди, дорогу раскинули, и ехать было трясковито. Женщины поругивали дороженьку, но так, чтоб шоферу не было слышно:

— Ведь и тряхнет каждый раз, как приколачивает. Да все-то время из нырка в нырок, да из конурины в конурину. Тут и сроду не умел матюгаться, так за такую дорогу научишься.

Но с горем пополам они вылезли из маленького автобуса, и Павла свела Катерину Вячеславовну к Крестике.

Той не оказалось дома, и Павла усадила подружку на рундучок, а сама заторопилась: идти ей было еще далекинько.

— Я уж, Катерина, пойду. Проведаю сначала Миннюю, а до его порядочный прогон. Ты теперь дождешься. Крылечко у тебя крытое, и дождь пойдет, так не обмочит. Я бы подождала, да некогда. Захаживай, коли в наших краях приведешься.

Катерина Вячеславовна притянула Павлу за рукав к себе и зашептала:

— Ты только никому не сказывай, чего мы с тобой-то говорили, что уж, им жить, не нам. — И громче добавила: — Да уж и не знаю, бывать ли в ваших краях. При-

вет передавай своим. А меня уж туда надо, будле, только за батог вести. Самой не уйти. Ну да с тобой-то и в городе увидимся. Иди, коли, иди, не затягивайся.

И Навла торопливо зашагала по утоптанной тропочке. Долго было слышно, как широкие резиновики хлопают голенищами по ее высокшим икрам.

Крестиха пришла под вечер и, еще с дороги увидев Катерину Вячеславовну, захлопала по бедрам:

— Ой, какую гостью-то мне боженько послал. Здравствуй, Катерина Вячеславовна, да заходи давай в избу. Пол-от срамота у меня, как чугунный, грязи как на большой дороге, да все некогда собраться со временем-то. Ну да ничего, ничего, может, и не разглядишь; проходи, проходи, да говори, куда тебя посадить. Ну-ко вон садись на диван, тут помягче.

— Да я в автобусе ехала, так насидалась на мягкому-то.

— Ты хоть вещи-то оставь, я сама занесу да уложу. И так, наверно, руки вытянуло, — забеспокоилась Крестиха.

— Да я немного и набрала-то с собой. Собиралась на крутую руку дак. У меня ведь нетяжелое, только рогатое все. На Олекине, чула, обгорели Паранёнковы, дак вот привезла на погорелое-то место кое-чего из обутки да из одежи. Сама-то, поди, с сенокосу? — спросила Катерина Вячеславовна.

— Да с сенокосу вроде. Хоть одно название — сенокос. Ничего не покосилось ноне. Лето все такое вредное, дождь и дождь. По ведру на место было. То с одну, то с другую сторону напесет. До чего дооколевали тоже... А и косильщица я аховая: на копну накосить дак пять раз надо косу поклепать. Силешки-то не стало. Кошу у себя в выгороде, а там чищенья такие, что корова ляжет, так уж хвоста не протянет; но уж дальше не хожу. Мы теперь стали работнички ложечные, только ложкой махать, возраст-то уклонный. Вот никому и не надо совсем скоро станем.

Крестиха двигалась быстро. Ее голос раздавался то с кухни, то с мосту, то из чулана. Она успевала и сама говорить, и на все вопросы отвечать, и ни одного не пропускала мимо ушей и не оставляла без ответа.

— Так сама-то как хоть живешь? Со скотского-то двора ушла, значит? — спросила Катерина Вячеславовна.

— А живу эдак же: вверх головой, ноги до полу. А из доярок ушла. У них ведь работа-то... вертятся, робят, как железный трактор, моют, моют, а и бела нет. Нетом-то им вот как напрывает. А и зимой воду из колодца черпаешь, — так выпуча глаза и достаешь. А у меня уж рука, нога по нитке. Вытрудила в соломинку. И тут-то да около дому уползаешься за день, так уснешь, себя не помни. Ты-то вот, я гляжу, хорошая еще из себя, если бы у тебя не глазная фальша. А я-то ведь суходушная и смолоду была, а теперь совсем...

Крестиха и вправду была длинная и тоненькая, как драночный гвоздик, но поворотная, востроглазая и моложавенькая лицом. Жизнь еще кипела в ней. Красненький платок на ее голове торчал шалашиком, а длинные концы его, завязанные под подбородком, свисали на грудь, и она была похожа на пионерку, которой, кажется, скажи: «Будь готов!» — и она вскинет сухую ручку над головой и бойко ответит: «Всегда готов!»

Крестиха скорехонько наставила самовар, вынула из печи суп, сняла с подлавошника кринку молока, достала из горки пирога и нарезала батона. Потом она стала усаживать Катерину Вячеславовну за стол:

— Давай садись, сватья, только поосторожнее. Скамеечка-то шутовенькая, не опрокинься. А я еще кваску нацежу.

— Да пашто ты эстолько много приготовляешь-то? Я ведь не овни молотила. Ну, коли, и я достану свои гостицы. Вот привезла тебе плетку барапков. Да материи на платье. Гляди. Не маркое и не сумасшедшее, самое старушечье, — и Катерина Вячеславовна положила Крестихе на колени кусок штапеля. — Нарочно продавщице знакомой эдакого заказала.

— Ой, да на что ты павезла-то всего? Ну, спасибо, спасибо.

Видно было, что Крестихе по душе такое внимание и забота, и она начала пододвигать Катерине Вячеславовне собранное на стол:

— Похлебай-ко давай сперва супу хоть с дороги. Вот и пирога бери, а хошь дак и батона. Ну ешь, ешь. Да об себе-то порассказывай, как живешь. Я уж и то об вас все сумлеваясь.

— А что об нас сумлеваться, — сказала Катерина Вячеславовна. — Мы живем все в одну премь. На чужое не заримся, своего не жалеем, без дела не сидим. Что об

нас сумлеваться. Вот только виденья у меня не стало, так худо. Операцию, вишь, мне неладно сделали. Не в то место. Так приехала сюда молочка попить, не будет ли лучше.

— Ну и ладно сделала. Быват, и поможет. Ведь молоко-то свое, ненаболтанное, от всего здорово. Да я вот тебе еще и калины излажу, так попою. Калина-то, говорят, тоже от двенадцати скорбей. Может, и повыладится дело. Да на спокое хоть поживешь. Ведь от первов тоже много вреда случается.

Крестиха была баба понятливая. Она смекнула, что Катерина Вячеславовна не на отдых приехала. «Видно, худа стала, — подумала Крестиха, — надо будет ее поводить хоть по старухам-то. Всю ведь жизнь здесь прожила, разве неохота на родине побывать...» И, словно услышав ее мысли, Катерина Вячеславовна заговорила:

— Я ведь надолго к тебе приехала, смотри. И белья с собой много навезла. Ты уж меня и в баньке попарь. Да к дедушку своему на могилу охота бы сходить тоже. Да, может, и на болото сводишь. Поди-ко, черница-то уж доходит. Мне ягод самих не углядеть, наверно, так я хоть ощупью-то пособираю.

— Ну да что об этом говорить. Везде сходим, везде успеем, коли долго-нько поживешь, — охотно откликнулась Крестиха.

Катерина Вячеславовна ободрилась, повеселела и спо-ва сказала:

— Может, здесь и поправится виденье-то. Больно уж неохота слепой-то умирать.

Она сказала это просто и обыденно, но у Крестихи екнуло сердце.

А обед шел своим порядком. Наполнялись и скоро осушились чашки крутого чая, поубавилось в блюде похлебки. Крестиха постаралась перевести разговор на свой лад:

— Да ты что суп-то гольем хлебаешь? Бери давай пирога-то. Да подошовку-то не ешь, оставь, пригорелая она. Ешь мягкое. Давай я тебе чай-то из самовара разогрею. Поди, остыло в блюдечке.

— Да я сейчас поравняю, — и Катерина Вячеславовна вылила оставшийся чай в чашку, а потом налила подогретый снова в блюдце. Она долго мусолила кусок черствого батона, и Крестиха, заметив это, сказала:

— Да ты оставь сухлетины-ти эти. У меня ведь на

дворе хватит подхватушек, съедят. С курочками ведь живу. Все поповадней.

— Верно, что ваши батоны не скоро добудешь, — немножко конфузливо проговорила Катерина Вячеславовна. — Или у меня зубы худые совсем?.. Эх, был конь, да весь изъезжен. Уж и на это не стало столькё. Нету прежнего провору. Ты, я погляжу, еще бойка. Жизнь-то и у тебя повыладила...

— Да, бывало, живем — не больно цветем, — сказала Крестиха. — Но сейчас вроде поотвалило забот. У меня ведь были Нинкины робятишки, так согрешила с ними. Только поспевай за обоими убирать да приглядывать. В зауке колодец, посередь деревни пруд — да глубокой, что мужика скроет, — так хоть робят из дома не выпускай. А оба такие забойники, того и смотри, что или себе голову свернут, или кому другому. Кошка после них три дня с печи не слезала, отлеживалась.

Увезли, да как гора с плеч скатилась. Мы-то ведь с детства нелакомо жили, не широко глядели. А этим во все надо нос сунуть. Да и чем-нибудь не накормишь... А где я им возьму? После них-то сиялась тоже с ремонтом, бревна подводили да крышу новую надевали, так было забот.

— Ой бы сейчас пожила в своем-то домике, под своей-то крышей, да со своей-то скотинкой, да в тишине-то, — мечтательно пропела Катерина Вячеславовна.

— Да у меня-то, сватья, конечно, не больно тихо. Живу тоже, как на чертовой тропе. Остановка для автобусов почти под окошком, так ждут-ждут, а в сырую погоду все крылечко в грязи извозят. Опять добавят старухе дела. За день упластаешься, ляжешь на постелю, а машины туда-сюда. Как пила режет. Немного наотдыхаешь.

Увидев, что Катерина Вячеславовна перестала есть, Крестиха спохватилась:

— Да ты ешь, ешь. Да пе вались на воду, пей молоко. Да больше пей, тебе ведь полезительно, из-за него приехала, а я тебя чаем душу. Я и сама люблю наверх сытку молочка попить — язычка погладить. Пей, не жалей, я ведь теперь живу хорошо; не гляди, что я ругаюсь. Это я все из-за мужиков наших злюсь, каждый день расстроят. Ох, уж тоже управители... Силосовали — так что патрашат... Нацапают земли-то на силосную яму, а кругом прудухи. Глаза на солоп не глядят. Опять все

сгиоят, а им и горя нет. Скорей бы расчет получить, да в магазин за вином. Не видывали ведь, как по-настоящему работают. Раньше-то ведь работали, так кровь из-под ноготков текла, а теперь только бы с рук спехнуть. Сказала бригадиру, что это ведь вредительство, так нако-зырился на меня. А что на меня исподлобья глядеть, я зря не скажу. Сельсовет, конечно, на него тоже не прямо смотрит, а ему хоть бы что: гнет свое. Много развелось дураков, да на каждом шапку не исправишь.

Крестиха встала и прошла за перегородку на кухню. Оттуда она вышла с кулечком в руке и сказала:

— Чего это ты у меня не ешь ничего да не пьешь? Может, с сахаром неохота, дак на вот, я тебе сосулечку дам, — и она подпихнула Катерине Вячеславовне карамельку в фантике. Та потрогала карамельку, но не развернула.

— Да я слушаю. Да и наелась уже. Тебе ведь надо, поди, по своим делам, так ты иди, на меня не гляди.

— Ой ты, господи! Да сели кормиться, так что торопиться? Все успею.

...Завраженские бабы, хоть и были заняты сеноиском, все же находили время на минутку-другую забежать к Крестихе и поговорить с Катериной Вячеславовной. Чаще всего они прихватывали с собой по банке молока и оставляли Катерине Вячеславовне, хотя Крестиха и говорила им, что хватает своего.

— А может, наше ей полезительнее окажется, — возражали бабы, и она отступила.

В субботу Крестиха рано укладала спать гостью, предупредив, что завтра поведет ее на болого. Катерина Вячеславовна для приличия поотказывалась:

— Да что уж тебя от дела отволакивать. Можно ведь, коли, и не ходить. Необязательно. Конечно, хорошо бы и ягодок поись, от них тоже худова не бывает. Теперь бы чего хошь выпила и съела, лишь бы польза... — закончила Катерина Вячеславовна, и Крестиха поняла, что сводить на болото ее надо завтра же.

Они вышли раным-рано, вышли через двор, задними воротами, чтоб еще кто не навязался. В этом стремлении уйти незамеченными было что-то детское, смешное и павивное. Но так делали их отцы и матери, так привыкли делать они сами и так учили делать своих детей. А то, мол, с артелью не видать ягодок.

Обогнув деревню поскотиной и выйдя на колесную дорогу далеко за отводом, они немного отдохнули. Вести Катерину Вячеславовну было трудно, она не разбирала дороги и часто спотыкалась. Особенно когда шли поскотиной.

У Черной речки Крестиха остановилась. Здесь была вечная, никогда не просыхающая грязь, через которую и зрячemu переходить — работа: нетолстое бревенчко да несколько жердинок было набросано кое-как в чавкающую трясину. Но, посадив Катерину Вячеславовну на закорки, Крестиха осторожно перебралась на другую сторону.

— Ой, батюшки-светы, сколько со мной тебе уживанья-то. Хуже малого или пьяного. Того хоть прогнать можно, если надоел. А я уж нет. Экой пестерь ведь надо переволокчи. Ведь во мне, поди, пуда четыре будет.

— Нашивала и боле, — отозвалась Крестиха, а сама подумала: «Вот жизнь человеческая. Уж ходить сама не может, а надо хоть пошарить ягодок. Не дает душа дома усидеть, когда все с болота корзины тащат. Уж поносила она, поносила. Не бывала без ягодок домой. Поди-ко, у Леньки-то хватает и варенья всякого, а ей вот самой на болото надо. Вон как улыбается-то, как глядит-то. В городе-то и закапать можно в глаз свежего, и натиранье дают заграниценное, а ей вот надо молочка попить. «Только, — говорит, — это и может помочь». Все, видно, сумлевается, ночь-то ворочалась с боку на бок».

— Ты что-то, гляда, худо ночь спала. Уж не клопы ли знакомиться приходили? — вслух сказала Крестиха.

— Да нет, ничего. Я и дома эдак сплю. Годы-то набежали. Да об детоньках все задумье. Все ведь на чужой стороне. Лягу спать, так во всех городах побываю. И к Щурке на Черное море съезжу, и в Архангельском всех обойду. Да за ночь-то и наревусь всегда. У меня и видение-то от этого, думаю, сдало. Ведь Коленьку-то похоронила ноне, так что слез пролила. Коленька-то у меня остатки докарал.

Катерина Вячеславовна сморщилась, подняла подбородок и минуту шла молча, глотая тихие слезы и шевеля губами, а потом уж пагнулась и высморкалась в фартук. Крестиха дождалась, пока Катерина Вячеславовна успокоится, оправится. Она по себе знала, что, если выплакаться, потом сможешь говорить о своем горе спокойно, как о рядовой жизни.

— После Кольки парнек-от, Валерко-то, где теперь? — спросила Крестиха.

— В Ленинграде, в военной школе.

— Что уж это Нина одного-то, да и то выпихнула на казенную еду?

— Да что Нина? Сердце о родном уж не болит. Ничего, говорит, привыкнет, и там люди живут, — сказала Катерина Вячеславовна.

— Люди и в аду живут, — раздумчиво протянула Крестиха. — Ведь жизнь-то в этих школах — все как на струне. Не своя воля.

Когда они прошли Рудишку, Крестиха спросила:

— Где, Катерина, лучше заходить-то? Ты ведь тут все места знаешь. Мы теперь за Рудишкой.

— За Рудишкой? Ну, так пройди до Крутого Бора, а потом сверни в Гордовину. Ой, походила я по этой дороженьке, походила... И с Коленъкой не одинова сюда бывала, и с дедушком полакомилась. Все. Теперь забывай, душа, чего пила и ела...

Скоро Крестиха пришла в Гордовину, выбрала куст побольше да поягодней, подвела к нему Катерину Вячеславовну.

— Ну, щупай теперь. Найдешь или нет?..

— Да как не нашарю, как не найду. Ты только дай мне посудину, так я и наошелушиваю еще, что не каждый и зрячий за мной поспеет.

Катерина Вячеславовна протянула руки к кусту, слегка пробежала по крайним веткам, словно примериваясь, много ли тут работы, и вдруг скоро заперебирала, заперебирала пальцами, и первые ягоды глуховато ударились о дно тусклой и мятои тарочки, нарочно припасенной и прихваченной Крестихой для Катерины Вячеславовны.

Скоро совсем забыла Катерина Вячеславовна про сватью и не разговаривала с ней. Старческое лицо ее было освещено встречным солнцем и выражало сосредоточенное спокойствие человека, занятого обычным своим и вечным делом, накопилось которого много, а передавать никому нельзя, потому что все равно не сделают чужие люди так, как надо самому. Да и неохота передавать или делить его с кем-то, потому что сам по нему соскучился и натосковался.

Крестиха видела, как старуха, ошелушив первый куст, сама перешла к другому, опять его огладила и, убе-

дивишься, что куст попался подходящий, принялась его обирать. Крестьиха не мешала товарке ни словом, только про себя дивилась: «Не может же она с того времея упомянуть каждого кустика, а переходит ладно. Вот и поди!..»

А Катерина Вячеславовна брала чернику и все будто взглядалась, взглядалась под солнце, где синела даль и кружил ленивый ястреб, и вдруг улыбнулась. Словно и вправду что-то увидела там такое, что скрыто от обычного глаза.

КРЮК

Петров день в Заводче считали праздником особым, поэтому он справлялся по всей волости, а не одной какой-нибудь деревней, как это делалось с остальными прежними праздниками. Правду сказать, из этих праздников и справляли-то нынче мало: Иванов день, Ильин день, ну, да еще Спасова два дня. Верующие старухи почти все примерли, пожилые бабы в бого засомневались, а молодежь ни во что не верила, и помнить о прежних праздниках стало некому.

Но Петров день праздновался широко. И хотя имя первого апостола никем не поминалось, а если и поминалось, то единственно пьяными мужиками и в совершенно противоположном смысле и по непристойным поводам, но праздновали апостола Петра все. И конечно, Серега Зыренок, особо нечестиво отзывавшийся в похмелье о святых, ежели его разозлят или не вовремя заденут. Справлял Серега престольные праздники, был грех. Но, зная отношение Советской власти к религиозному опиуму и не желая конфликта с правящим классом на этой почве, Серега так же исправно и старательно готовился к праздникам Октябрьской революции, к Первому мая и к дням Советской Армии и Победы и обстоятельно отмечал их.

Серега был нрава крутого, силы необыкновенной. Все это ему незадорого досталось от родителя по прозвищу Зыря, о котором по сию пору в Медведкове говорили как о человеке богатырского сложения и мертвой хватки. Старики рассказывали много необычных историй, но чаще всех о том, как Зыря ездил по Сухоне в город со своим братаном Ванькой по делам. За день они набегались и устали, но все свои дела сделали и к вечеру начали подвигаться к пристани, приворачивая по пути к веселым голубым ларькам. Не для пьянства, конечно, а для утоления жажды. Накупили они до этого стекол и олифы, леденцов городских для ребятишек накупили и с полной поклажей наконец забрались на пароход, который уже третий гудок подавал. И тут Зыря вспомнил:

— Ванька, ведь мы табаку-то на дорогу забыли взять. Как поедем-то?

Но выход был найден скоро:

— Ты давай беги, а я, случай чего, придержу корабель-то. Только ты долго не бегай...

Они выпрыгнули на дебаркадер; Ванька помчался через дорогу в ларек, а Зыря остался, намотал на руку взятый с парохода конец каната и уперся в какую-то железную тумбу. По сравнению с большими двухколесниками этот пароходик был невелик, с одним задним колесом (над ним даже бабы посмеивались, что он-де и ездит-то «на заду»), но увезти он мог добрую деревню народу.

И вот пароходик плициами по воде хлоп-хлоп, а вперед не подается. Капитан чует, что дело неладно, выскочил на свой мостики, увидел, что это Зыря пароход за канат держит, закричал на него:

— Ты чего, такая мать, балуешь, судно в рейс не пускаешь?

А Зыря ему:

— Я, — говорит, — не балую. Это Ванька у меня за табаком убежал, так погодить надо.

Так и дождались Ваньку с табаком, и только потом пошли.

Сереге Зыренку парохода уже не удержать, но, говорят, когда он отправлялся в армию, проходили они с призывниками через Селезенево. Почти всю деревню ладно с песнями да гармонью прошли. Но под окошком крайнего дома поперек трошки лежало недавно, видимо, привезенное из лесу для дела сырое шестиметровое бревно. Гармонист запнулся за него, и песня нарушилась.

— Ты чего бревно не можешь прибрать? Не виши, людям мешает, — крикнул Серега хозяину, выглядывавшему из окна.

— А если тебе мешает, так возьми да убери.

Тогда Серега, поднатужась, взвалил это бревно на плечо и унес далеко за деревню и бросил в болотину. Мужик долго бежал за ним, извинялся, поскучивал, но Серега нес, пока хватило сил.

— Ну вот, теперь оно и тебе мешать не будет, — сказал Серега мужику, и ребята с песнями снова направились своей дорогой.

Теперь такого и бревна, поди-ко, Сереге не унести. Разве что на спор за один конец приподнимет. А поспорить он любитель. Особенно если дело коснется крюка.

У него железный средний палец. Согнет он его крючком, упрется сапогом в землю — и ни один мужик не перетянет Серегу.

Желание потянуться крюком к нему обыкновенно приходит в праздники. Правда, вчера он гостила у сестры в соседней деревне, где народишко был маломощный, пожилой и потянуться было не с кем. Не станешь же меряться силой, например, с Пуней, у которого уже семеро ребятишек да жена здоровенная, как свая, и Пуня с ними со всеми до того изработался — штаны еле на заду держатся. Поэтому Серега от тоски и безделья так напился, что до дому не мог дойти. Утром жена его, не ругаясь, спросила:

— Чего не пришел домой-то?

— Пару не было...

— А хошь, дак вон бери, осталось у меня легонького-то. — И она подала ему полбутылки «Гамзы», которой однажды много завезли в сельмаг, и бабы набрали, потому что бутылки большие, а стоят недорого.

Серега повертел в руках бутылку и сказал:

— От нее опять только ночью потеть...

Жена порснула в кулак и обругала его. Серега знал, что, кроме этой «Гамзы», ему дома ничего больше не перепадет. Он вышел на середину деревни, сел на лужок, осмотрелся по сторонам и стал поджидать, не пошлет ли бог доброго человека.

Подходило несколько товарищей, да все таких, которые сами смотрят, кто бы налил. Тоже с утра пораньше убрались от жен, потому как ни на какое снисхождение давно не рассчитывали.

Серега с одним из них, Маерёнком, попытался завязать разговор:

— Крюк дашь?

Но тот как-то криво и виновато заулыбался и, подбадривая себя, зашумел:

— Ну тебя к едрене-фене. Я тебе в прошлом году дал крюк, так до сих пор палец по ночам спокою не дает. Сустав, видно, измолол. Баба всего изматерила. Думает, я притворяюсь да от работы отпекиваюсь. А я и вправду тяжело ничего не могу поднимать. А и ей: охота ли из-за мужика-то его работу править. Иди уж ты лучше к Вальке да с ним и тяниесь.

Валька — единственный достойный соперник Сереги и друг его с детства, но идти к нему неохота, — не было

желания попадаться на глаза старику Проне, который живет напротив Валькиной избы.

Проня — малого росточка старикашка. Жил он с глухой старухой в Медведкове так давно, что никто не помнит, чтобы он еще где-нибудь жил. Детей у них не было, поэтому Серегу они почитали за своего сына, и главной гордостью Прони был Серегин непобедимый крюк. Бывало, назовет Проня к себе в праздник мужиков, Серегу в передний угол посадит, первых капель ему подаст стакан-другой, а потом всех вызовет на крылечко посидеть, а сам то одного, то другого подзадоривает:

— А вот кто Серегу крюком перетянет — не сходя с места ставлю литруху.

И Серега ни разу не пронарекнул старика, не омрачил ему праздника.

А тут был будний день. Серега с Валькой пилили тес напротив Прониного дома. (Валька задумал перекрыть крышу на своей избе.) Старик по обыкновению с утра сидел в оконце в своей пестрой сатиновой рубахе до колен, смолил козью ножку и смотрел, как мужики нехотя расшаркивают бревна. День был жаркий, дело было с воскресенья, а после него кому в охотку работать.

Проне надоело, видно, молча курить, он и крикнул:

— Чего, ребята? Эта работенка потяжелей будет, чем стаканами-то боркать?

Валька поглядел на Проню и лениво огрызнулся:

— Сиди давай, боркало. Самого загнать на стелюги, поди-ко бы, много опилок насыпал. Вперемежку с песком.

Проню заело:

— Да я свое отпилил, любого спроси, кто помнит. Если бы мой тес собрать, хватило бы во всем Медведкове крыши закрыть да и на опушку бы осталось. А вы одно бревно катаете взадь-впередь по три часа.

— Сиди давай: три часа, — махнул рукой Валька.

— А вот разделаете за час — не сходя с места бутылку ставлю, — раскипятился Проня.

Мужики переглянулись и, понимая, что старик завелся не на шутку, поменялись местами. Серега залез на стелюги, а Валька встал внизу — и через сорок пять минут последний горбыль отвалился в сторону.

...К выставленной бутылке Проня пододвинул еще и блюдечко прошлогодних рыжиков.

Начали появляться первые зрители разыгравшейся сцены: приперся хромой Евстоха, который умел появлять-

ся в самое неподходящее время, да трое ребятишек под полатями швыркали носами и поглядывали на закусывающих мужиков.

Евстоха, которого хозяин за стол не посадил, сидел на лавке, опираясь на батог, и как бы про себя, но вслух размышлял:

— Худо у Прони седни день начался, с убытка. Зато у ребят ничего. Для понедельника особливо...

Серега пошевелил плечами, почесал грудину и согласился:

— Ничего вроде как... Только что один стакан для физического человека? (Видно, первая поллитровка добро разъела ноздрю.)

Проня не слушал его, не до этого ему было. Больше всего горевал он, что приходится в таком подбитом виде сидеть перед Евстохой. Но Проня заодно с ребятами сначала невесело протянул стаканчик, потом еще разогрелся и скоро начал заводиться.

— Осечка с любым произойти может... Но когда у Прони на Медведкове чего-нибудь высparивали? То-то... Вот не сходя с места литру ставлю, хто Серьгу крюком петянет!

Валька насторожился, в глазах его засветилось тихое ожидание. Он запоталкивал Серегу в бок: «Ну давай, Серега. Чего ты? Что тебе стойт?» Серега понимал Вальку, и брови его поползли к переносице, губы оттопырились, и резко обозначились крылья носа. Серега думал, а Валька все его поталкивал.

— Давай!

Тянулись они угрюмо и сосредоточенно, оба вспотели и устали. Жилы на шеях и руках вздулись, пальцы заскользили.

Проня сперва пытался сохранить спокойствие и достоинство, но его не хватило и на полминуты. Он соскочил с табуретки и заходил то с одного, то с другого боку, приседал и глядел на посиневшие ногти скрюченных пальцев. Он даже покряхтывал, помогая Сереге, но глаза его почти выкатились, когда он увидел, как железный Серегин крюк вдруг распрямился.

Ошарашенный Проня сначала молчал, но через минуту, когда мужики снова уселись за стол, он уже колотил сухими кокотышками по опущенной Серегиной голове и приговаривал:

— Ой ты гребаной, ой ты гребаной...

Не мог он найти себе ни слов, ни места. Он то выскакивал в другую половину, то убегал на кухню, то зачем-то заглядывал в подпол.

А Евстоха подтрунивал:

— Да, паря, худо у тебя нонешний день пошел. Все сикось-накось. Смотри, как бы к ночи совсем не свернулся.

Выставив две бутылки, Проня отсел в сторону. Пить с мужиками отказался наотрез и рыжиков больше не принес, и они закусывали корками хлеба, макая их в оставшийся грибной рассол.

Валька сидел благодушный и веселый, он похохотывал да изредка подмигивал Сереге; но тот молча допил свой стакан и шумно вздохнул. Лицо его поугрюмело, и губы сжались. Видно было, что он тяжело переживает потерю былой славы. Даже ребятишки на него смотрели как-то жалостливо и печально. А Проня все на него вскакивал. Он обозвал Серегу «шкiletом» и пригрозил, что к осени, когда они со старухой зарежут барана, он, Проня, поотъестся на свежатинке да маленько потренируется и наверняка тоже Серегу одолеет. Серега сердито засопел и наконец грохнул по столу:

— А ну становитесь оба... Можете и Евстоху прихватить.

Валька было заотказывался: «Мол, зачем снова, да на сегодня бы хватило», — но Серега так на него глянул, что тот покорно выполз из-за стола, и они с Проней уцепились за Серегин крюк.

— Косовато стрижены, чтобы паверху лежать, — процидил Серега и довольно легко одолел обоих супротивников.

Проня, разинув рот, глядел на Серегу.

— Вот так. Закрой рот, не то простудишься. А вдруга́рдь пускай дым в окошко да помалкивай, когда людям и без тебя тошно.

И тут Проня докумекал, что мужики его просто нахгли, вытянули ни за что две бутылки. Всех больше, конечно, веселился Евстоха, и это особенно расстраивало Проню. Если бы не Евстоха, может быть, он так и не обзывал Серегу, который забрал свою кепку и с тех пор к старику не заглядывал.

И теперь вот сидит Серега посередь деревни на лужке, как пацан какой-нибудь, а Проня угощает созванную в гости родню, а о нем и думать не хочет.

Но вот напротив Валькиного дома послышались голоса, и громче всех вырывался визгливый Пронин голосишко:

— Да не сходя с места литруху ставлю...

И тут же из заулка показалась знакомая худенькая фигурка в пестрой сатиновой рубахе до колен и остановилась.

Серега услышал, как бухнуло в боку сердце и начало сохнуть горло. Он отвернулся от Прони и стал щипать траву. Он больше не взглянул туда, но почувствовал, как Проня постоял, подумал и, покачиваясь, направился в его сторону.

ПЕРЕСТАРАЛСЯ

Свое ружье Леха Фуртин выменял у знакомого стояржа Глухаря, который по дряхлости лет да из-за похудавшего зрения, а пуше всего из-за врожденной, но долго скрываемой глухоты окончательно вышел со службы на пенсию.

— Ты чего такую выгодную должность-то оставил, — всерьез спрашивал Глухаря Леха Фуртин, частенько забегавший к старику потрепаться. — Ведь золотое дно, почитай, потерял.

— Да не говори, паря, — и вправду сокрушился Глухарь. — Совсем глаза перестали работать. Да и в уши как будто пакли напехано.

— Ну, напехано-то не сегодня, — назидательно произносил Леха.

— Да не сегодня, конечно, — соглашался Глухарь и двигал коротенькими красными бровками, за которые и получил еще в парнях свое прозвище.

Эту особенность его облика первым заметил отец новорожденного и сказал жене:

— Ты погляди-ка, матка, у Пашки брови-то, как у глухаренка, — красные.

Мать всмотрелась в лицо младенца, тоже увидела, что бровные дуги, на которых еще и волосиков не прошиблось, теплились крепкой краснотой, будто их натерли солью, и поостерегла мужа:

— Ты хоть никому не мели про своего глухаренка, а то прилепят парню сызмалетства... наименование, потом век не ототресся.

С годами Пашка вырос в крепкого рыжеволосого парня, и брови у него получились рыжие, и рыжина только больше подчеркивала красноту бровных дуг. Рано или поздно всей деревне стало видно и понятно, что парень этими самыми бровями больше всего походит на Глухаря: деревня тогда была лесная, и эта птица никому не была в диковинку.

Так Пашку и прозвали. А детей его, хотя они и не унаследовали отцовской особинки, — глухарятами.

Глухарята давно разлетелись по разным сторонам, а старый Глухарь доживал век со своей Глухарихой в той же избушке, в которой от пазов пахло старым сухим мхом, а от широких, сознательно непокрашенных половиц тянуло прохладой и свежей колодезной водой.

— Так теперь как старуху-то будешь содержать, — опять допытывался Леха Фуртин, — ведь не прокормить без приработка.

Глухарь вскидывал короткие поредевшие бровки и отвечал:

— Да, приработок бы не помешал... — И вдруг однажды повернулся к Лехе: — Ты бы, паря, продал мне свою плоскодёнку. Все одно без дела у тебя сгниет.

— А на что тебе она? — удивился Леха Фуртин.

— А рыбу иметь, — невозмутимо и убежденно ответил Глухарь.

— Да ведь тебе не поймать ничего, ты же поплавка за два метра не увидишь.

— А пошто мне поплавок. Я ие на блесну.

— Так ведь и за блесной наблюдение требуется, — не унимался Леха, — тоже проморгать возможно.

— А я леску на руку накручу. Как ежели шишка али окунь за железку схватится — я сразу учую, — не сдавался Глухарь, и Леха уступил ему плоскодонку, которая действительно давно лежала на берегу без пользы, и выменял на нее у Глухаря одностволку.

Старик долго упирался, не хотел отдавать свою верную многолетнюю напарницу.

— Ведь я к ней, как к цигарке, привык, — жаловался он.

— Тогда будешь сидеть без рыбников, — допекал его Леха Фуртин. — Как хошь, я тебя не приневоливаю, — и он поднялся с лавки, вроде бы не желая продолжать разговор, но медлил.

В дело вмешалась старуха и доконала старика:

— Все равно лесничать не ходишь, со службы снялся... А тут человек, может, чего и подстрялит.

Дичи Леха Фуртин погубил не лишка, хотя стрелял охотно и лучше многих добычливых и удачливых лесников. Те часто и в охотку потешались над Лехой, встречая его у отвода, пустого, понуро несущего за спиной бесполезное орудие.

— Ну чего, Леха, опять на твои «три кольца» — ни одного птенца?

— Это они намекали на то, что Глухарь когда-то хвалился своей одностволкой и утверждал, что это знаменные бельгийские «три кольца». Врал, конечно.

— А чего, Леха, не обменять ли твою гаубицу на мою телегу: у моей оглобли длиньше твоей стволины. Да их и боле: две как-никак. И будешь по рябкам палить сразу душлетом.

Леха нехотя огрызаясь и все думал, чем бы отплатить неунимавшимся насмешникам.

И как-то его осенило...

Теперь он, встретясь с очередным зубоскалом, осторожно и беззлобно начинал подначивать:

— Ты вот, Панко, оскаляешься, а кроме своей фузеи, в руках никакого путевого оружия не держал.

— Кто? Я? — не понимал Панко.

— Ну, ты!

— Да я в армии служил знаешь в каких частях?

— Ну в каких?

— Э-э... в каких... — уклонялся Панко, соблюдая военную тайну.

— Так скажи, в каких же ты служил частях? — опять спокойно допытывался Леха Фуртун.

— Да в таких, что тебе еще и знать-то не положено, — заводился Панко.

— Ну тогда уж, конечно, в ракетах, — всезнающе заключал Леха и пренебрежительно сплевывал через щель между верхними зубами.

— А хотя бы, — прищуривался Панко, — это тебе не по птичкам палить...

— А что, по птичкам проще? — спрашивал Леха почти равнодушно.

— Да уж, наверно, не тяжеле.

— Так на, пальни. На, на! Докажи всем, что ты не зря в ракетах служил. — И Леха всовывал ему в руки свое ружье.

— Дак где птички-то? — растерянно оглядываясь, спрашивал Панко, уже поняв, что Леха успел ему всучить свою одностволку.

— А ты найди, — требовал Леха.

Панко опять беспокойно крутил головой, но ничего подходящего вокруг не находил, и тогда Леха добивал его окончательно:

— Да зачем тебе птичка, — Леха Фуртун начинал злиться, — ты и в пенек-то вон тот не попадешь.

Панко выкатывал на него глаза, хотел что-то решительно возразить, но Леха уже не давал ему открыть рта.

— Да я тебе повешу свою новую кепку, понял, — смотрел он в упор на Панка. — Коверкот, понял? Почти два червонца отдал. Ты и то промажешь.

— Ну уж я тебе из нее таких лепесточков счас наделаю... Дочекам не на один сезон хватит в куклы играть, — угрожал Панко.

— С тридцати шагов? — деловито спрашивал Леха, понимая, что зацепил мужика за живое.

— Да хоть с сорока!

Леха отмеривал сорок шагов, вешал на сухой кол изгороди свою «коверкотовую» кепку, подходил к Панку, доставал из нового патронташа крайний патрон:

— Покрупней дробь-то али помельче? — Он уже заявил.

— Да все равно. Пойдет и средняя.

— Тройка устроит?

— Меня все устроит, — бегло отвечал Панко и твердо вгонял в патронник манерно поданный Лехой Фуртиным патрон.

Никаких сомнений патрон вызвать не мог. Упаковка заводская, гильза картонная, пропарафиненная, капсюль «жевело», обозначающая номер дроби, и типографская цифра «3» на стандартном кружочке начертана...

Панко вскидывал ружье, коротко прицеливался и плавно нажимал крючок. Раздавался выстрел.

— Ну иди собирай, — пренебрежительно и вяло приказывал Панко.

— Может, вместе сходим? — вкрадчиво спрашивал Леха Фуртин.

Они вместе подходили к колу, где целехоньким висел Лехин «коверкот».

— Мазепа, — нехотя ронял Леха, — «я из ракет стрелял...», — передразнивал он Панка, хотя тот вовсе и не заявлял такого. — Да тебя к пожарной кишке и то допускать нельзя — не в ту сторону струю пустишь.

Потом Леха выдерживал нужную паузу и командовал:

— Отмеривай полсотни шагов и вешай свою кепку.

Панко хотел что-то возразить, но Леха перебивал его:

— А ты как думал? Я ему, считай, два червонца повесил под расстрел, а он за свой трешник беспокоится. Давай, давай. — И Леха нахально сдирал с Панковой головы рябенькую выгоревшую кепчинку и папяливал ее

на тот же кол. Потом сам себе намерял дистанцию, громко отсчитывая назначенную сумму шагов, чтобы Панко не усомнился в его честности.

На глазах Панка Леха вкладывал в ружье такой же патрон с «тройкой», так же коротко прицеливался, и во время выстрела оба видели, как кепку резко встряхивало.

— Ну а теперь неси, будем считать, — нагло говорил Леха Фуртин притихшему Панку.

Тот, полностью утратив недавнее достоинство, поспешными жалкими шагками подбегал к колу, сдергивал свою рябенькую кепчинку и прямо там, стоя на ветру с расстрепанными поредевшими волосами, подсчитывал количество пробоин.

— Ну как? — издалека съito спрашивал Леха Фуртин. — На четвертинку хватит?

И в деревне после этого никто не видел Панка в его неизменной кепке. Куда он ее задевал, только бог знает, а Панку приходилось надевать шапку раньше обычного: до настоящих холодов.

Так Леха посрамил еще не одного мужика; мнение о себе как стрелке и охотнике выровнял, имя доброе восстановил — и заскучал.

Никто, конечно, не догадывался, что Леха всех проводит, как школьников: никому и в голову не стукнуло, что Леха Фуртин подсовывал всем холостые патроны. У него для этой цели была куплена в городе целая коробка заводских гильз, специальная завертка для их обработки, пыжи и все остальное припасено, чтоб комар и носу не подточил.

Такой холостой патрон (да, бывало, и не один), Леха всегда держал в патронташе крайним справа, чтоб слу-чаем не перепутать да самому не опростоволоситься. И поскольку просто так доказывать свое преимущество ему поднадоело, он решил от своего предприятия иметь хоть какую-то прибыль. Его непременное условие: стрелять только из его ружья, которое, как утверждал он, «не каждому рылу дарит свою силу».

Сначала он спорил на четвертинку, потом понял, что можно и на бутылку. Зная, что мужики всегда берегут и прижимают свои заряды, Леха при любом споре широко расстегивал свой полностью набитый патронташ и лихо выдергивал из него первый же попавший под руку патрон. Им, конечно, всегда оказывался крайний справа.

Почти все кепки в деревне Леха уже нарушил, про-дырявил несколько портсигаров и начал подбираться к оцинкованным ведрам, но тут на него ополчились бабы, и он дал себе осадку.

Сам за все это время Леха не только ничего не проиграл, но обнаглел до того, что даже пару раз в большом подпитии снимал штаны, становился около чьей-нибудь бани на четвереньки и разрешал хмельным возбужденным мужикам палить в свой тощий обнаженный зад, который даже в сумерках был удобной и хорошо различимой мишенью (днем до этого дело не доходило).

Мужики неизменно делали промах, и развеселившийся Леха прогонял их в магазин за новой бутылкой.

В таком нескучном настроении всей честной компанией однажды они подкатились к баньке Глухаря. Она стояла недалеко от речки, а мужикам захотелось убраться подальше от женских глаз, чтоб бабы не оговаривали всякий и без того горький глоток и не усчитывали каждую копейку, загодя припрятанную для непредвиденного случая.

Глухарь как раз копошился возле бани, то ли прибираясь в ней после мытья, то ли готовя растопку к завтраку.

— Здорово, дедушко, — приветствовали его мужики.

— Здорово, робята, — чинно ответил им Глухарь, — куда это правитесь?

— Да вот хоть бы к тебе в гости! — погромче покричали ему. — Воздух у тебя тут свежий, простору много, а нам как раз его и не хватает.

— Ну, ну, — согласился старик, — дышите на здоровье, — правда: воздуху тут много.

Мужики как раз открывали очередную проспоренную бутылку и налили с четверть стакана и Глухарю:

— На-ко угостись, дедушко.

Глухарь подношение принял, отказываться не стал, только спросил:

— А за чего пить-то?

— Да вот за его ружье, — ткнули мужики пальцем в Леху Фуртина, который так весь день и таскался сегодня с одностволкой и с патронташем; там еще один холостой патронишко оставался.

— Это ему от меня досталось, — тепло сказал Глухарь. — Не подводит, всяко? — спросил он Леху.

— Не, дедо, не подводит. Не одну бутылку уже подстрелила хозяину, — похвастал Леха.

— Я из нее, бывало, чирка на лету снимал, поди, метров за шестьдесят, — вспомнил Глухарь снова потеплевшим голосом.

— Ну ты, дедо, уже поразогни маленько-то, — недовольно сказал порядком окосевший Леха Глухарю и нагловато сплюнул через верхнюю щель между зубами.

— А я те говорю, — настаивал Глухарь, — за шестьдесят метров... на лету... это же «три кольца», — дед уже ходил главным козырем. Пьянел он быстро.

— Ты смотри с ним не спорь, — поостерегли мужики старика, — а то придется выставлять бутылку, а в магазин бежать далеко. Да и темно уже.

— Да за чего бутылку-то? — удивился старик, приподняв свои короткие алые бровки.

— А что не попадешь!

— Смотри во что... И с какого места, — сказал Глухарь.

— Да хоть бы в эту заслонку, — указали мужики на старую ржавую заслонку от загнетки, прислоненную к углу бани.

— Из своего-то ружья?

— Да не ерепенься, дедо, — устало и великодушно попросил Леха Фуртин, — верно говорят мужики, промажешь. Не те глаза, и руки дрожат, и ружье старого хозяина забыло.

Ну этого уже Глухарь вынести не мог.

— Вот чего, парень! За лодку тебе спасибо, а я вижу, что ружье тебе не по уму досталось.

Тут уже закипятился Леха.

— Чего ты перья распушил? Ведь жалея тебя, старого пня, говорят: не только в заслонку не попадешь (она темная, тебе не разглядеть), а в голую задницу промажешь.

— Да в чью бы это?

— Да хоть в мою!

— Так давай станови ее, — все еще не веря, что дело пошло на полный серьез, сказал Глухарь, — тогда я и мушки разглядывать не буду, па твою-то и по стволине наведу.

И Леха недолго думая сам зарядил ему ружье, отошел метров на тридцать и спустил штаны.

— Хорошо ли видно-то? — поиздевался он, пьяно ко-

рячась. — А то могу еще подвинуться. — И Леха вправду даже чуть-чуть подался ближе.

Дед спросил у мужиков, не желая больше обращаться к Фуртину:

— Чем это он зарядил-то?

Те ответили:

— Как всегда, тройкой.

— Да ведь я ему весь тыл разворочу, — засомневался и, похоже, даже испугался Глухарь.

— Не бойся, дедушко. Не такие глазастые ребята — и то мазали.

— Нет, это не годится, — уже вроде как сам себе твердо сказал Глухарь, что-то пошарил в карманах и достал. — Вот это в самый раз! — разложил ружье и перезарядил.

У него по старой привычке в драном ватнике, в котором он раньше сторожил, а теперь рыбачил и трудился в огороде, по карманам между сухих хлебных крошек и просыпавшейся махорки всегда валялись заряженные солью патроны.

Вот теперь такой патрон он и вставил в стволину. Никто из мужиков, конечно, не придал этому значения. Да никто почти и не видел по-настоящему, с чем там дед копошится: пьяные были. Леха тем более не видел. Он только издалека нетерпеливо аукинулся:

— Ну, чего ты там, старый хрен, богу, что ли, молишься? Все равно плакала твоя бутылка.

И тут сначала грянул выстрел, а потом взвыл Леха Фуртин.

...Говорят, дома ему эту соль всей семьей выколупывали. Зерна были крупные, темные, видно, еще из прежних запасов. Теперь такую соль редко где и в продаже встретишь. Только разве по дальним деревням.

А Леха с тех пор ружье забросил насовсем и даже пить стал намного меньше!

МОРЖ

О показательном выступлении местных моржей было известно за неделю. Об этом говорило радио, об этом писали здешние газеты и даже помещали фотографии знаменитостей.

Широкая и длинная полынья была прорублена заранее и не однажды по утрам очищалась от вновь образовавшегося льда. Сегодня она дымилась на морозе, который, казалось, все крепче и крепче закручивал гайки. С ближнего берега спускалась поправленная к случаю длинная лестница, а ниже была укреплена новая из сосновых досочек, по которой выступающие обычно спускаются в воду; на противоположном берегу давно красовались приветственные транспаранты и плакаты.

Народу на реке толпилось уйма; люди сошлись задолго до начала выступлений и расходиться не собирались, хотя стоять на одном месте в такой холод — удовольствие ниже среднего.

Вокруг синенькой дощатой раздевалки, где летом обычно квартировала лодочная станция, теперь разместился своего рода моржовый штаб. И в будние-то дни вокруг этого места частенько крутились ребятишки и подглядывали в окна, когда там кто-нибудь раздевался перед тем, как спуститься к проруби; а сегодня у штаба особенно было людно и шумно, потому что в выступлениях участвовали не только моржи, но и моржихи; причем очень соблазнительного возраста; а кому не хочется посмотреть на молоденьких девушек в цветных и туго натянутых купальничках да еще на таком морозе; и ожидание обострилось...

Вдобавок ко всему прочему по репродуктору объявляли уже не в первый раз, что на показательные выступления в Вологду пожаловали маститые моржи из соседних областей — Архангельской и Псковской, назывались фамилии, которые и вправду кое-кто раньше слышал или читал, а может, это просто казалось от возбуждения.

Уже несколько раз из будки вроде бы по какому-то делу выходили в одних плавках бодрые молодые ребята,

протискивались сквозь толпу мужиков, от которых несло выпивкой и хорошей закуской, к тому же и одетых в овчинные полуушубки, пальто на вате, меховые шапки и поддетье к случаю бумазейные кальсоны с начесом. Мужики вежливо, даже почтительно, расступались перед этими голыми ребятами, сочувственно на них смотрели и участливо спрашивали:

— Не холодно, мальчик? Может, погреться дать?..

— Не, нам и так тепло, — улыбались ребята в ответ и, сказав что-то явно пустяковое человеку с красной повязкой на рукаве, снова, играя мышцами, уходили на глазах очарованной толпы в свой голубой штаб. Ничего им, видимо, и не надо было: просто они выходили проверить, много ли собралось народа, почувствовать его дух и убедиться, что все их очень ждут.

Наконец диктор объявил, что показательные выступления, впервые проходящие в городе, начинаются, и назвал фамилию открывающего торжества: это был кандидат математических наук, преподаватель пединститута.

По длинной деревянной лестнице не спеша спустился рослый и сильный парень в очках, подошел к краю дымящейся цыпленки, снял розовые мягкие тапочки и, не торопясь, опустился в воду сначала по щиколотку, потом по колено; затем протер холодной водой руки и плечи, поплескал на бедра, побрызгал на грудь и только потом зашел в воду подальше. Когда вода достигла сосков, парень медленно погрузился до плеч и поплыл, размеренно и плавно работая руками и ногами.

Беспорядочный шум на какое-то время стих, и стал слышен только умиротворенный плеск воды и довольное пофыркивание моржа. Кандидат доплыл до жерди, брошенной поперек полыни у противоположного края, дотронулся до нее и, повернувшись, направился обратно.

— Все по науке! — раздался чей-то восхищенный голос, когда пловец выходил из воды и, приняв махровое полотенце из рук помощника-распорядителя выступлений, на глазах у благодарных зрителей стал докрасна растирать свое натренированное тело.

А в это время из репродуктора доверительно рассказывали, что кандидату наук всего тридцать три года, «как Илье Муромцу», — позволил себе пошутить диктор, что он уже три года занимается зимним купанием; кроме того, посещает секции легкой атлетики, играет в тен-

нис, и это ничуть не мешает его научной работе; а чувствует он себя прекрасно!

Народ еще гуще начал спускаться с высокого берега. Все старались как можно ближе подойти к кандидату, чтобы получше его разглядеть.

Распорядитель в красной повязке просил не загораживать подходную дорожку, не мешать спортсменам и отойти подальше от полыни, потому что от чрезмерной тяжести лед проседал, и вода, выжатая из проруби, все дальше выступала на него.

В репродукторе снова затрещало, зашипело, потом заговорил требовательный голос, чтобы все отошли от проруби на два с половиной метра. Этого же требовал и милиционер, приставленный к полынье для порядку.

— А то случится непоправимое, — пообещал диктор для устрашения тех, кто еще сомневался, стоит ли верить и не разумней ли сохранить за собой выгодную для наблюдения позицию.

Когда все-таки особо любопытных и напиравших удалось поотогнать, диктор спокойным тоном объявил следующего участника.

— ...майор запаса, сорока двух лет.

— Чего ему не плавать! Вон какой боровок, — говорила седенькая старушка в кatanках с калошами, — что эдакому мороз, вон сколько мяса-то на боках...

— Заработал себе человек пенсию, теперь купайся сколько влезет, — позавидовал майору мужчина средних лет и интеллигентного вида, стоящий рядом со старушкой.

— Нет, в его бы годы надо уж полковника заработать, — рассуждал еще кто-то, — видно, поленивился. Купаться-то, конечно, веселей, чем служить...

Называли еще несколько моржей, тоже людей достойных и заслуженных. Гости из Архангельска покупались, из Пскова. Их встретили, как и полагается, аплодисментами, но все-таки интерес к воскресному зрелищу начал заметно падать. Большинство смотрело так, по инерции и за компанию. Потом стали раздаваться недовольные голоса:

— А чего женщин зажимают?

— Опять никакого равноправия!

— Давайте выпускайте женщин, пусть поплавают!

— Чего мы, зря мерзли-то, что ли?..

Похоже, в штабе посовещались, видимо, что-то изме-

нили в расписании, и диктор объявил самую юную участницу, студентку пединститута третьего курса иностранного факультета. Вышла действительно молодая стройная девушка в голубом купальнике и, легко сбежав с высокой лестницы, смело направилась к воде.

— Во! Это другое дело... — удовлетворенно заметили мужики. — А то бегемотов всяких гляди...

Увлекшись плавающей студенткой, никто не обратил внимания на то, что с противоположной стороны проруби, около перекинутой жерди, протиснувшись сквозь толпу зевак, вышел невысокий мужичок в потасканной фуфайке и, ничего не говоря, бодро скинул ее, шмякнул себе под ноги, потом уселся на фуфайку и стал снимать сапоги, разматывать портянки.

Никто не успел толком ничего сообразить, как он уже стоял на краю полыни босиком, в серых застиранных трусах до колен и недовольно бормотал:

— Устроили тут концерт... Думают, только они и могут... Видали мы таких... — И он сложил руки лодочкой, приподнял их перед грудью, словно кающаяся Магdalина, и на мгновение застыл, собираясь прыгать.

Многие знали его. Это был Иван Кирьянович Трояков. Он работал возле старой каланчи, недалеко отсюда; служил в пожарной команде уже много лет. Не один дом спас от огня и даже получил медаль за спасение...

Сегодня утром у него закончилось дежурство, после которого он «встряхнулся» маленько в соседней столовой и направился было к дому по старой тропинке через реку. Но, услышав голос диктора, который предупреждал людей о возможном несчастье, и увидев большое скопление народа на берегу, Трояков свернул со своей тропинки и решил узнать, почему сбежалось, будто на пожар, столько народу.

— Кирялыч, — кто-то окликнул его, видимо, из своих, но ему было не до этого, и он не оглянулся.

Кирялычем его прозвали давно за пристрастное внимание к горячительным напиткам. Он не обижался на прозвище. Он вообще никогда не обижался на правду.

Когда Трояков раздевался, милиционер не видел его, потому что стоял к нему спиной и старался снова оттеснить нациравшую толпу на два с половиной метра. Милиционер обернулся и увидел Кирялыча в тот момент, когда он, глубоко затянувшись воздухом и сложив руки лодочкой, приготовился к прыжку.

— А ну прекратить сейчас же! — прикрикнул милиционер на пожарника.

Кирялыш задержался, повернулся на крик, вопросительно поглядел на милиционера: «Мол, чего тебе?»

Тому бы не трогаться с места, спокойно постоять и со своей позиции с противоположной стороны поговорить бы с Трояковым, поубеждать его; может, и отговорил бы. Но милиционер резко сорвался и бросился к пожарнику, а тот, боясь, что этот резвый парень сейчас все испортит, торопливо крикнул:

— Глядите, коль сами не можете, — и ухнулся в полынью с головой, успев все-таки руки сделать «лодочкой».

Девушка-моржиха, увлеченная вниманием зрителей и собой, ничего этого не видела и не слышала: она плыла в другую сторону.

Кирялыш долго не показывался, и на льду забеспокоились: не унесло ли хоть?.. Вдруг он вынырнул с шумом около самой моржихи, когда она, развернувшись, хотела еще раз проплыть вдоль полыни.

— Во дает! — удивился вслух кто-то, пораженный.

Девушка вытаращила глаза, ничего не понимая, увидела небритую рожу пожарника, охнула и, неловко развернувшись, саженками торопливо поплыла к берегу; а Кирялыш было метнулся за ней, но догнать не смог, поэтому скоро успокоился и, распластав руки, показал всем, как надо отдыхать на воде.

— Ну артист! — похвалил его пожилой мужчина.

Милиционер, не зная, что предпринять, бегал по самому краю, скользя в своих яловых на коже сапогах, и полы шинели его разевались.

— Вылезай сейчас же! — властно требовал он и хватался за кобуру.

— Да гляди хоть сам-то не нырни, — остерегала его седенькая старушка в катанках с калошами, — а то из-за него, фулигана, сам искупнаешься. — Старушка тоже не могла удержаться от улыбки. — Ой ты, сотоненок, лешой водяной! Виши, чево удумал, в экую пору купаться. Это ведь не вино пить. Вот погоди, будешь потом хрипеть да сопли на кулак наматывать...

А милиционер ничего не слышал, он подскачивал совсем близко к воде и только угрожающе шипел:

— Вылезай, говорят тебе. Хуже будет!

Молодая моржиха, нечаянно перепуганная, уже давно

вылезла из воды, перевела дух и убежала по лесенке в штаб, и Трояков наслаждался купанием теперь один. Он еще несколько раз нырнул, достал со дна горсть илу, показал его всем на ладони и наконец поплыл к жерди передохнуть. Он уцепился за нее, подтянулся, выставив из воды худые лопатки, и перекинул через жердь локти. Трояков поогляделся и кое-кого из мужиков узнал: вместе ловили рыбу на Кубенском в позапрошлый выходной. Трояков помахал рыбакам ручкой:

— Э-э, здорово, мормышечники! Окунь-то берет нынче?

— Не, Кирялыш. Один ерш, зараза! Надо ждать тепла...

Трояков попытался пятерней взбить свою шевелюру, но ее уже прихватило, волосы смерзлись и торчали неровным серым гребнем.

— Ты выйдешь или нет! — раздражался все больше милиционер. Он уже был рядом с Кирялышем и норовил его ухватить за плечо или торчащий гребень, чтобы вытащить; Кирялыш прекратил разговоры с мужиками и, быстро перехватываясь руками, по жердочке перебрался в другой конец.

Толпа хохотала, и с берегов сыпалось все больше желающих поглядеть на нового моржа; полынью снова тесно обступили, и вода опять хлынула на лед. Милиционеру приходилось бегать в ней по щиколотку, он чуть не обмакивал полы не по росту длинной шинели и уже сам боялся, как бы действительно ненароком не сыграть в прорубь.

— Сачком его! — кричали милиционеру одни. — Сачком!

— На блесну! — советовали другие.

По микрофону уже кричал распорядитель требовательным голосом:

— Товарищ плавающий, просим вас немедленно освободить бассейн!

Трояков слушал требования, но горячо возражал:

— Купаться никому не запрещено. Река у вас не купленная. Я тоже воевал.

— Молодец, Кирялыш, не ударил в грязь лицом. Показал скобарям и трескоедам, что такое вологодский морж, — хвалили его мужики.

Наконец милиционер догадался вытащить из-под Кирялыша жердину на лед, и пожарнику пришлось снова плавать. Видя, что так ничего не добиться, милиционер

присел на корточки у самого края и усталым просительным голосом сказал:

— Слушай, друг, кончай это дело. Мне же за тебя шею намылят.

— Да, Кирялыш, — понимающие поддержали его знакомые мужики. — Ты свое дело сделал. Отдохни, пусть теперь другие поработают.

— А он меня не возьмет? — недоверчиво спросил Трояков, кивая на милиционера.

— Да не возьму, вылезай ты, — нетерпеливо пообещал тот.

— Побожись, — попросил еще раз Трояков.

— Вылезай, вылезай, не трону...

— Во! Все слышали? — спросил Кирялыш у мужиков. — Вы свидетели!

— Давай! Давай!

— Ну гляди, чтоб без подвоха...

Он подплыл к своему краю, выполз на скользкую льдину брюхом, потом поднялся и твердо направился к своей одежде: хмель, видимо, из него повышибло. Трусы прилипли к тощим посиневшим ляжкам, но висели все равно до самых колен. Кирялыш хотел было поотжать их, но потом махнул рукой и стал натягивать штаны. Кто-то ему уже набросил на плечи фуфайку и нахлобучил шапку на голову, а пацаны, столпившиеся вокруг, подставили какие-то санки, чтобы ловчее было обуваться.

Знакомые рыбаки уже налили ему полстакана прозрачной жидкости и сунули в руки.

— Давай рвани — посогреешься маленько.

Кирялыш, не раздумывая долго, хлопнул содержимое и крякнул.

— Давай одевайся быстрей, — снова начал командовать милиционер.

— А чего торопишь? Ты же говорил, что не возьмешь, — упрекал Трояков, — чего я тебе сделал? Драться не дрался, матом не крыл...

— И воды не замутил, — поддержали его мужики.

— Одевайся, одевайся. Там посмотрим, — никого не слушая, говорил милиционер, и в голосе его зазвучала угроза.

Тогда мужики вступили с ним в переговоры:

— Ничего ведь, действительно, не случилось.

— Ну, подумаешь, человек внес свою струю в общее дело...

И незаметно милиционера оттеснили, отвели в сторону, стали что-то объяснять, доставать из-за пазухи и показывать какие-то бумаги, а может, и документы.

А в это время Кирялыча, еще не успевшего по-настоящему одеться, тащили дальше от места происшествия, тянули за рукав и подпихивали в спину. Большая толпа сопровождала его, особенно много было мальчишек, которые смотрели на Кирялыча восторженно.

Отойдя метров на семьдесят, Кирялыч остановился за править рубаху, застегнуть штаны и, обернувшись назад, к публике, увидел, что почти все стоят к нему лицом. Тогда он снова распахнул фуфайку и гордо постучал небольшим кулачишком в выпуклую грудь: «Во, мол!», но паданы потащили его дальше, боясь, что может подойти милиционская машина и тогда Кирялычу не отвертеться.

Над рекой снова как ни в чем не бывало раздался дикторский поставленный голос, сообщающий, что перед зрителями выступят теперь самые опытные и знаменитые моржи, у которых за плечами более чем по десятку лет зимних купаний. Видимо, предусмотрительные организаторы их приберегли на конец...

Но зрителей становилось все меньше. Одни уже нагляделись и разошлись, другие стояли в стороне кучками и живо обсуждали случившееся, а остальные повернулись спиной к полынье и смотрели вслед удаляющемуся Кирялычу, за которым, гомоня и прискакивая, тянулась оживленная толпа местных ребятишек.

МАТРОХА

Вадим Петрович уже не первый отпуск проводил в этой деревне, хотя попадать сюда из Москвы было не так-то легко. Но в последнее время пристрастился он к рыбалке, и волей-неволей приходилось смириться с дорожными мытарствами, потому что серьезному рыбаку вблизи столицы давно уже было делать нечего, а Вадим Петрович считал себя человеком серьезным.

В деревне он хорошо устроился у словоохотливого стариичка пенсионера дяди Кости, тоже заядлого любителя путать лески, пробовать на живца и на донку, и они быстро сошлись, подружились и ежевечерне копались в заросшей канаве, искали самых живучих и ярых краинивых червей и грозились, что завтра обязательно на-крутят хвосты красноперым, которые опять перестали брать и обычных дождевых за мясо не считают.

Каждый раз с крылечка за рыбаками снисходительно наблюдал хозяйствский кот Матроха.

— Что, и ты, поди-ко, заскучал об ершиках? — спрашивал кота дядя Костя.

Матроха отводил желтые глаза в сторону, безразлично зевал, но к разговорам прислушивался.

— А почему он такой тощий стал, дядя Костя? — допытывался Вадим Петрович.

— Так с утра, поди-ко, пинка три-четыре уже схлопотал от Дарьи Степановны. — Так называл старик свою жену. — Где тут растолстеть...

— Да, жулик он, конечно, отменный... И в кого такой? — Вадим Петрович сокрушенно покачивал головой.

— Да ему есть в кого...

Матроха слушал мужиков и, казалось, начинал задумываться.

...В этой деревне прожил он всю свою сознательную жизнь, хотя родом совсем из другого места. Дальний он.

Но так повернула судьба, что в Ершово принесла его в старой плетенке, пропахшей грибами, ягодами и всякой всячиной, его теперешняя хозяйка Дарья Степановна, женщина бранчливая, но незлопамятная. Вернее, вообще

беспамятная. С ней Матроха воюет уже вторую пятилетку и все не может приучить к порядку: то не закроет она ларь, где хранится сметана и мясо, то на полу оставит подойник с парным молоком, а сама утянеться в огород, то свежую рыбу разложит на кухонном столе так, что свешиваются хвосты и почти задевают за кошачьи уши, когда проходишь мимо.

Одно согрешенье с этими бабами!

И кота она приобрела не потому, что знала толк в породе или разбиралась в масти, а так, по счастливой случайности; хорошо, что знающие люди надоумили да подсказали, а то бы сокрушили ее крысы да мыши, квартировавшие в соседнем амбаре и старом гумне и частенько делавшие ночные вылазки в единоличные хозяйства.

А теперь они одного Матрохиного духу боятся!

Ходила как-то хозяйка в район за товаром к празднику да заодно и привернула в двухэтажную больницу показаться специалистам: все у нее чего-нибудь болело и отказывалось служить по причине крайней изношенности и устарелости.

Ее раздели, без интереса ощупали, оглядели, навыпывали лекарств почти на рубль да и пожелали доброго здоровья. При выходе, в нижнем коридоре больницы, Дарья Степановна и встретила своего будущего супостата. Непонятно, чем он ей тогда приглянулся: лапки короткие, туловище длинное — сущая несуразица.

— Не лишняя ли кошечка? — поинтересовалась Дарья Степановна у случившейся тут истопницы. Дернуло ее!..

— Да этого дак, пожалуй, можно и отдать, — переглянулась та с проходившей мимо санитаркой и лукаво улыбнулась.

У хозяйки дома оказалось четверо ребятишек, не считая хозяина. Старшие наловчились зимами на приманку ловить лукошком голодных воробьев и синичек и пускали их летать по избе. Матроха сразу же очень живо заинтересовалась пернатыми и поначалу попробовал допрыгнуть до воробья, усевшегося на краю голбца, но воробей перелетел на комод, и Матроха только облизнулся. Новый прыжок опять ничего не дал коту: воробей пересел на рамку с семейными фотографиями.

Мальчишек все больше разжигал азарт, глаза горели, как у везучих картежников.

Матроха, не встречая человеческого осуждения и от-

пора, смелел все больше, носился как ошалелый и с маxу, словно цирковой мотогонщик по вертикальной стене, забегал почти до потолка. Однажды он все-таки загонял воробья и сожрал его, настигнув возле божницы.

Взрослых дома не было, и никто, может, ничего бы и не узнал, если бы не расплакалась под конец меньшая Настенька от жалости к птичке да Матроха во время погони не сшиб со стола чашку...

Дядя Костя, узнав о происшедшем, кокотышками сухих пальцев подолбил по головам старших и запретил приносить в дом птичек. Да и ловить их тоже запретил.

Но Матроха уже понял сладкий вкус дичи...

— В те поры надумало наше начальство в колхозе цыплят разводить, — рассказывал потом дядя Костя Вадиму Петровичу. — А опыта не имели, как с такими кошками их пасти. А уж Матроху ребята напрактиковали так, что он только за дичью и шел. Все стадо переволочил, ничего и подсаженные наседки уберечь не могли. Пришлось свернуть полезное начинание. Конечно, ему, врагу, после этого охота ли с нами картошку есть... Не тот парень! Так ведь стал ходить в лес — в деревне-то боялся жить, знает, что рано или поздно уколоколят его мужики. В лесу нарепетировался белок ловить, да и другой живности спуску не давал, коя послабее его. Теперь уж вроде дома чего поесть хватает, накормишь его до отвалу, перевернешь, пощупаешь кузовок — как футбол. Ну, думаешь, наконец нажрался! Нет, все равно где-нибудь чего-нибудь сопрет и тащит в заначку. Как-то плавил я по осени да насыпал почти цельный мешок рыбы. Весной посылаю бабу на сарай: «Принеси-ко да свари ушки, давно не слышал рыбья запашку». Бежит Дарья Степановна в избу и сразу за ухват: уж Матроха давно мешок прогрыз и ополовинил его.

Матроха во время таких разговоров обычно лежит не пэдалеку и щурится. Он знает, что ему сейчас ничего не грозит: голос у хозяина спокойный, даже веселый. Он как бы даже хвастается своим котом перед московским гостем. Да если припомнить, так старик его почти и не бывал. Не то, что хозяйка.

Как-то прислала дочка из городу колбасину толстую, килограмма на два. Дарья Степановна преспокойно положила ее в посудник, а сама вышла на минутку из избы. Упер ее, конечно, Матроха и шмыгнул в открытое подполье. А уж хозяйка бежит по мосту, сапогами грохает —

и прямо к посуднику. Да как взвилась! Схватила кочергу да за ним в подполье. А там темень. Она и давай бухать железной-то кочергой по всем углам. Хорошо, что тогда еще не было моды в подполье электричество проводить, а то бы конец пришел Матрохе.

Долго не показывался он па свет божий. А снизу слышал, как хозяин говорил жепе да похочатывал:

— Чего на кота вздыматься? Себя надо кочергой-то... Кот, может, тебя учит, как жить, как добро прибирать. Не оставляй кое-как, он и не наблюдает. Ему что сейчас! Налопался, поди-ко, как пузырь да над тобой хоочет. Худо ли, кило два мяса досталось. Поди-ко, оплетает — только хвост тряется. И гладить не надо, колбаса без костей.

Долго тогда хозяйка морила кота в подвале. Дыру закрыла противнем, да на него и ведро помойное поставила. Но Матроха дождался, когда она занаряжалась в правление колхозное уходить, значит, надолго, поднапрягся, да и вылез из заточенья. Хозяин на печи спал, проснулся, а Матроха уж под боком лежит как ни в чем не бывало да песенку помурлыкивает.

— Что, назябся, дак сразу и на печь? — встретил его дядя Костя миролюбиво. — Опять безобразия наделал? Ну, смогри, паря, Дарья Степановна не я, ты ей пока на глаза не попадайся, дай злости из бабы выйти. Везет тебе, все сходит. У нас вои на фронте было: чуть что — и к стенке. А тебя даже не приговорили за мелкое убийство, когда цыплят-то колхозных нарушил. С твоей родней-то круто расправились тогда.

...Матроха слыхивал, как мужики рассказывали о своих битвах с его дедом — огромным, по словам, черным и властным котищем. Он столько совершил преступлений, что в правление колхоза каждый день поступали на него жалобы. Люди требовали коту смертной казни, и на заседании правления было постановлено приговор привести в исполнение.

Спасло только то, что он был сельсоветским котом, и его жалел и любил сам председатель, который холостяком жил при своем учреждении и считал, что сельсоветский кот выполняет общественно ответственную задачу. Не то что заморенные сельские единоличники.

Матрохин дед, правда, мышней не ловил и вообще ими брезговал, поэтому не водил знакомств с местными котами, от которых всегда воняло мышатиной, он только из-

редка наведывался к такой же, как он, крупной и желто-глазой кошке заведующего фермой. Он брал сейчас от жизни все, что мог. За долгие страдания, которые он принял, мыкаясь по разным углам и людям, пока его массивность и внушительность не покорили председателя сельсовета.

С появлением такого могучего зверя в сельсовете и остальные мышки перебрались от греха подальше в ближние постройки, погреба и подвалы. Мышей и раньше-то здесь почти не водилось. Да и охранять от них было нечего, кроме нескольких пухлых папок с записями гражданских актов. Но председателя тогдашнего уважали: он носил галифе и кирзовую сапоги, работал без корысти, имел образование и громкий бас, и, когда выступал на правлениях, к его голосу прислушивались, но и он едва отстоял Матрохиного деда.

Но все равно коту не пришлось долго наслаждаться жизнью. Кто-то пристукнул его ранней осенью и оттащил подальше от деревни, чтобы ни на кого подозрение не падало. Правда, кошка заведующего фермой вскоре привнесла троих котят, очень похожих на погибшего разбойника. Люди подступили к заведующему с ножом к горлу: топи, мол, весь выводок, а то не будет жизни снова. Он пообещал, но то ли от жалости, то ли из осторожности и уважения к близкому начальству, потихоньку сплавил котят на сторону, в другие деревни.

И брошенное семя, как говорится, дало росток...

Мать Матрохи тоже покрыла свой путь громкой славой, хотя была не столь широка в кости и дерзка в мысли. Но виной тому ухудшившиеся условия жизни: некому было застаивать ее буйную кровь. Приходилось перестраиваться.

Она не переживала, что не отличалась от других кошек стройностью и внушительностью фигуры.

Матроха достойно продолжил свой род, сознавал это и гордился. Ему нравилось жить в Ершове. Река рядом, люди без рыбы не живут, и он тоже. Магазин в деревне есть. Придет он к нему, ляжет в лопухи напротив дверей и наблюдает, кто вынесет чего-нибудь повкусней, чтоб потом наведаться. Дома в деревне он знал наизусть, хозяйские чуланы — тем более.

Хорошо еще жилось в Ершове потому, что попался ему добрый хозяин. Это он ему имя придумал — Матрос. Поэтому что Матроха действительно черный, как матросский

бушлат, а на груди белый треугольник с темной поперечиной: ни дать ни взять тельняшка. Пока он был молод и наивен в деревенской жизни, все его звали Матросом, а когда приобрел опыт и силу да начал других котов трепать, так имя переделали в кличку. Но он об этом не тужил: и без того хватало забот. Совсем недавно к дяде Косте приходила соседка Римма жаловаться. У этих баб теперь нет другого дела, как плевать Матрохе в душу. Прямо с порога понесла такое, что слушать не было сил:

— Костя, твой кот у меня котенка украл, сама видела, как тащил...

— Да что ты, Римма, — засмеялся дядя Костя, — на что моему Матрохе твой котенок. У меня вон свои есть, да не ворует. Он, поди-ко, это крысу нес.

Старуха засомневалась. Она знала, что у дяди Кости действительно недавно окотилась молодая серенькая кошечка.

— Ну, не знаю тогда. Может, и крыса...

— Ты, Римма, на Матроху зря мне и не жалуйся. Подавай лучше на него, на вора, прямо в суд. Я подпишу. Пусть его Федя Шухов судит. Он гражданские дела разбирает. Даст принудиловки месяца три. Вот и пусть пилит дрова у школы. А то там все некому, гляжу.

Потом дядя Костя объяснил Вадиму Петровичу Матрохины злоключения:

— Конечно, не похвалю, вор наголимый. Да сам знаешь, и тебя не раз учил. Но теперь его и пожалеть можно. Недавно отбухали батогом: не выпускал из дома рыжего кота нашей продавщицы. Не знаю, чем тот досадил ему, а проходу рыжему не давал. Вот и попало. Почитай, все лето был на излечении. Придется теперь, как ветерана, до смерти даром кормить. Да персональную пенсию назначить. На простую, поди, не согласится, ведь не простой кот, а вор отменный. Долго скакал на трех ногах. Кормили как инвалида. Почти все лето подвигов не совершал. От безделья-то и блошки завелись, так я его дустом попудрил. Теперь вроде опять ничего, отошел.

Вадим Петрович припоминал свои первые встречи с Матрохой и удивлялся собранности и силе его характера. Он ни разу не видел Матроху бегающим по деревене. Матроха обычно ходил, почти шагал, и обязательно по тропке, где ходят все порядочные люди. Он даже не обо-

рачивался, если наперерез ему через дорогу шмыгала какая-нибудь трусливая животная душа. Матроха ревниво оберегал свое достоинство.

Он понимал не только слова, но и человеческий взгляд. И у самого был взгляд очень требовательный и определенный. Особенно, когда ждал, чтобы с ним чем-то поделились, например, рыбой. Он словно говорил: отдав лучше добром, иначе хуже будет. Вадим Петрович чувствовал силу этого взгляда, но не сразу понял его смысл.

Обычно, когда Вадим Петрович отправлялся на берег реки с удочками, Матроха встречал его у крыльца, провожал до калитки и ложился под старой береской, дожинаясь его возвращения с утренней зорьки. Все ли время он так лежал под береской — Вадим Петрович не знал, но, когда возвращался с рыбалки, Матроха встречал его в том же положении, но уже с надеждой во взгляде. Кот ни разу не пришел на берег, хотя он был совсем рядом. В воспитанности Матрохе не откажешь.

Вадим Петрович обычно всю мелкую рыбку делил между ним и невеста откуда набегающими кошками. Удачливый рыболов бросал мелочь горстью и видел, как Матроха мгновенно выбирал самую крупную рыбину, хватал ее зубами, а на вторую накладывал лапу и с урчаньем подгребал поближе к себе. Однажды Вадим Петрович попробовал помочь молоденькой кошечке полакомиться рыбкой покрупнее. Матроха на него выразительно поглядел. А утром Вадим Петрович прибежал к дяде Косте:

- Украдл восемнадцать крупных окуней!
- А где они были-то? — не удивился дядя Костя.
- В чугуне. И главное — закрыты.
- Чем?
- Доской. А на доске стояли рыбакские сапоги.
- Э, голова. Что ему твои бродни... Он почуял поживку, так пудовый камень спихнет.

Теперь после каждой удачной зорьки самых крупных сорог и окуней Вадим Петрович три дня держал в соленом рассоле, потом вялил на улице, в тенечке, нанизав на миллиметровую жилку, протянутую под навесом от дома до изгороди. Вскоре Матроха в отместку содрал за ночь всю партию — штук тридцать — и куда-то спрятал.

— Да как он мог? Ведь тут не допрыгнуть. Я жилку в шестом в середине специально поднял, — недоумевал Вадим Петрович.

Дядя Костя осмотрел место происшествия и сказал:

— А вот как... Видишь эту навозную коляскую у стены, где зацеплена леска с рыбой?

— Ну? — все не понимал Вадим Петрович.

— А гну! — осклабился дядя Костя. — Он по коляске долез до жилки, а потом по ней дошел до рыбы. Не хуже любого циркача.

Другого пути действительно не было, Вадим Петрович отступил и перестал перед Матрохой демонстрировать свои порядки. Когда он вскоре после этого случая до отвалу накормил кота свежими окунями, чтобы скорей забылось их разногласие, Матроха принял угождение как должное, окуней всех до единого съел тут же, но ничем не выказал своего расположения к благодетелю. И конечно, не приласкался. Это было против его правил: он вообще ни к кому и никогда не ластился. Принципиально. И ничего не просил, не канючил. Лишь изредка беззвучно открывал розовую пасть и требовательно смотрел в глаза. Он понимал, что ласкающихся и заглядывающих вся кому в рот и пнуть можно, и погладить. Матроха же требовал не подачек, а серьезного отношения к себе, почтительности и уважения. Признания его как личности, наконец! И предупреждал, что, если к нему будут худо относиться, добра ждать нечего. Это нескрываемое нахальство делало свое дело.

— Да, — размышлял Вадим Петрович, — этому коту не откажешь в характере. Он, наверно, потому так и живет — не тужит, что уверен в себе. Живая легенда.

— А у нас с ним дружно из-за того, что признаем друг друга, — сказал дядя Костя. — Я ведь его ни разику не дирил и говорю как с человеком. Он все понимает. Жалоб на него, конечно, поступало много. У той же Риммы упер одинова рыбину. Сижу как-то у окошка, смотрю, а вижу-то худенько после контузии. Смотрю, Матроха взапятки к дому правится и волокет по земле — ни дать ни взять — березовое полено. Я кричу на кухню: «Матка, матка, гляди-ко, гляди-ко, Матроха, кажись, к зиме нам дров заготовляет, поленья носит». Дарья Степановна в окошко зыркнула — и на волю, я за ней. Подходим, а он, вор, трещину кило на три домой правит. Завезли тогда в магазин трески, вот он и выглядел, как Римма покупала. А баба она неприбористая. Матроха и воспользовался этим. «Ой, Костя, опять обокрал меня твой кот, — жаловалась Римма. — Уплати мне штраф за грабеж».

Что ты сделаешь — пришлось откупаться от тюрьмы. Ну, вот опять ему все тут и припомнили. И цыпляток нарушеных, и птичек тоже. Он ведь эту практику взял и ловил их по всей деревне. Им эта добычка, пташка-то, дороже всего. Многим досадил кот. Пришел ветеринар, говорит: «Костя, надо твоего кота убирать с лица земли». Я загоревал: куда мы без кошки. Рядом гумно, сокрушают мыши да крысы. А этот парень бойкий, ничего не боится. Ходит по деревне, как командир. Только бы еще наган сбоку навесить. Все ему ни почем, цыгану. Бывали у нас серенькие кошечки, да не живут. Не могут перенести нашего климату. Уж каких только я не заводил! Жила одна троещерстка, Дуська. Красивая была тигра! Мыши, бывало, нигде не цапнется. Не ужила. Съела какую-то рыженькую мышку и околела... Сейчас мыши-то почти все травленые. А Матроха хоть бы что. Он, видно, знает, как ее обрабатывать. Куснет — и выплюнет. У нас и отец все черных кошечек держал, эти, говорит, для нас понадежнее. А мне, признаться, надоело на этого арапа любоваться. Охота со светленькой кошечкой пожить. Вот и взял я ионе одну, но нет надежи, что с ней ничего не приключится. Каждое утро хожу проводывать воспитанку на сарай, где она с котятами лежит. Да, я ведь тебе начал про ветеринара-то Мишку... «Так вот, — говорит, — убрать с лица земли. Или сам нарушай, или я давай». — «Нет, — говорю, — у меня сердце не позволит». Что мне за нужда его бить. Мы с ним не враждаем. Он тогда дома не блудил, да и блудить было не у чего... А ребят своих предупредил, что ветеринар надумал убить кота. Я сам-то сапогами тогда подрабатывал, тачал, так сижу у оконечка и как увижу ветеринара, кричу Матрохе: слезай долой с печи, вои за тобой смерть идет. Бежит вкругую — и прямо в двери. А ежели ребята увидят ветеринара — прятали кота. Так ни с чем и уходил Мишка не один раз. А уж Матроха, видно, запомнил его, на глаза не казался. Но однажды все-таки наткнулся в заулке. Ветеринар-то сунулся к нему, да где там! «Все равно, — говорит, — доберусь до него. У тебя в доме жить буду неделю, а изловлю». Я было разгневался. «Что, — говорю, — тебе надо от него?» Да потом подумал: Матроха все равно обхитрит его. Долго домой не показывался, арестант. Вышел я как-то за баню, гляжу, а он сытой на лужке с боку на бок перевертывается, наслаждается на вольной шири... Поди-ко, нажрался где-то ворованной петушатины.

— Так ничего и не могли сделать? — спросил Вадим Петрович.

— Так и отступились. Как от неисправимого.

...Все это снова вспомнил и переживал Вадим Петрович, одолевая с набитым рюкзаком последний криуль ершовской дороги. Нынче он вез дяде Косте и цветной и японской жилки, и добытые по большому блату посеребренные крючки, и донки с колокольчиками, и много всяких других хитроумных рыбакских приспособлений. Возле самой деревни ему встретилась знакомая на лицо старуха. Он поздоровался и хотел идти дальше, но она сама заговорила:

— К Костеньке гостенек?

— Да вот выбрался порыбачить недельки на две, — сказал Вадим Петрович.

— Хорошее занятие. Он поджидает и письмом вашим хвастал.

Вадим Петрович никак не мог вспомнить женщину, хотя все было в ней знакомо. Только, может, еще больше постарела. Он не знал, о чем говорить.

— Что, здоров Константин Назарович? — попытался он подладиться под деревенский строй речи.

— Какого лешова с ним сделается.

— И Дарья Степановна?

— И она.

— Кот-то живет у них? — бессильно пытался поддержать разговор Вадим Петрович.

Женщина помедлила, нахмурилась и нехотя ответила:

— А этому и подавно горевать не об чем.

— Ну, тогда скучать будет некогда, — словно обрадовался Вадим Петрович и вдруг узнал женщину. Это была Римма! Видно, опять насолил ей Матроха. Вон какая недовольная! Он быстро попрощался с ней и весело заторопился в деревню.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Он появлялся в учреждении с утра всегда в одно и то же время, всегда в одном и том же обвисшем пиджаке с измятыми лацканами, и всегда с одной и той же жалобной мольбой, которая, наверно, не дремала в его мутноватых глазках даже ночью, когда он спал, — одолжить двугривенный на стакан самого дешевого вина, которое тогда свободно и широко продавалось в автоматах. Больше он не просил, да ему бы и не дали, потому что всем было известно, как он возвращает долгги...

— Старик, — страдальчески начинал он и оглаживал «старика» своими узкими глазками, — выручай, а то уже землей пахну...

— Сеня, побойся бога, — отвечали ему, — я же вчера тебя спас от земли. Вон сходи к Андреичу, что-то он давно не занимался спасением погибающих. Ты же знаешь, он добрый...

И Сеня шел в кабинет к Андреичу, замирал у порога и начинал гипнотизировать того своими прищуренными глазками. Андреич долго делал вид, что не замечает Сеня, но Сене спешить было некуда, и он знал, что у него единственное оружие — терпение. Наконец Андреич не выдерживал, молча лез в карман, добывал двугривенный, не глядя на Сеня, протягивал, говорил: «На» — и только тогда снова спокойно продолжал работу.

Так Сеня делал утренний обход.

Потом он пропадал на несколько часов и появлялся снова только после обеда. По лицу его уже разливался ровный жарок, окрепший голос звучал свободней, и в глазах посвечивал сталистый блеск. Теперь он выходил на встречу любому решительнее, необходимую сумму добывал быстрее и незадолго до окончания работы покидал учреждение, чтобы не тревожить его уже до утра.

Все служащие к Сене привыкли, никто его не обижал и не злил. Мужчины, бывало, добродушно посмеются, встречая его утром:

— Ну что, Сеня, опять за данью пришел?

— Тебя, Сеня, надо бы к нам в штат зачислить: у тебя, наверно, ни одного прогула не было.

— Сеня, а ты не можешь договориться с автоматом, чтобы он тебе бесплатно наливал?

Сеня молча переносил эти шуточки, даже улыбался вместе со всеми, а его тоскующие глазки словно говорили: «Смейтесь, смейтесь, только недолго, мне уже принимать пора...» И, словно извиняясь за свое жестокосердие и вольность, за то, что заставили человека так долго томиться, кто-нибудь из собравшихся угощал Сеня сигаретой и мимоходом опускал в нагрудный карман заношенного Сениного пиджачишко светлую монету:

— Не сердись, Сеня, мы ведь это так, по-свойски. Дерни давай за наше здоровье. Мы бы тебя сами поддержали бы, да служба.

А где служит Сеня и служит ли он вообще, никто не знал и не интересовался. Слышали, что была у него семья, даже квартира. Но все вроде бы расстроилось, распалось, а как, почему?.. Некому этим было заниматься, да и незачем: в чужую душу как полезешь?

И Сеня продолжал свое шествие из кабинета в кабинет и везде встречал дружеский прием и снисходительное сочувствие.

Так он однажды вновь добрался до кабинета Андреича. Сеню опять потряхивало со вчерашнего, поэтому он не сразу нашарил дверную ручку и сначала не в ту сторону стал открывать дверь, но все-таки, разобравшись и войдя, он по обыкновению покорно замер у порога и положил свой горький взгляд на лысоватую голову Андреича. Тот, как обычно, долго писал что-то, делал вид, что Сени не видит, но потом терпение у него лопнуло, он твердо положил самониску на стол и повернулся.

Это был человек далеко не молодой. Лицо его с тяжелыми темными подглазницами выражало глубокую озабоченность: работы у него всегда было много, так много, что порою он не успевал с нею управиться за день и поэтому часто оставался в учреждении по вечерам и даже брал бумаги на дом. А там его поджидало трое детей, да большая жена, да старенькая мать, и все они мало чем могли помочь ему, а дети так часто еще и мешали. Его мучили бессонницы. Он плохо спал уже давно, поэтому и сегодня поднял на Сеня усталые с красными веками глаза:

— Вы ко мне?

Сеня не ожидал такого приема и вопроса и от неожиданности сказал:

— Ага...

— Тогда прошу, — произнес Андреич и показал Сене стул напротив себя. — Чем могу служить?

Этого Сеня уже совсем не ждал, ему казалось, что его просьба всегда написана на лице и всем слышно, как у него по утрам трещит голова.

— Ну, говорите, говорите, не стесняйтесь, — подбадривал Андреич.

— Да я не знаю, чего говорить-то, — простодушно признался Сеня.

— Но ведь вы зачем-то пришли, — настаивал Андреич.

— Да, пришел... Шел вот... и зашел, — неопределенно объяснился Сеня.

— Ну, так говорите — зачем?

Сеня покрутил головой, похлопал коротенькими острынкими ресничками и наконец решился:

— Да мне бы в долг... копеек двадцать, — последние два слова он почти простонал.

— А-а, вот в чем дело. Так бы сразу и говорили, — передохнул Андреич, — только что же так мало-то? Двадцать копеек... Что можно приобрести на двадцать копеек? Разве только стаканчик мороженого — так вы уже не ребенок. Или стакан вонючего прокисшего вина, каким заправляют нынче уличные автоматы...

При последних словах Андреича Сеня зашевелился, заерзal на стуле и улыбнулся, словно давая понять, что дальше можно не продолжать: угодили в самую точку.

Но Андреич, не замечая этого Сениного нетерпения, продолжал:

— А вы человек серьезный, солидный, в возрасте. Вам уже неловко, да и вредно пользоваться услугами таких автоматов. Вам бы надо что-нибудь подостойней... Уж если, скажем, выпить, так хотя бы в баре, чтоб к стаканчику мадеры можно было и бутерброд присовокупить. А на все это уж никак не меньше рубля попадобится. Разумно я говорю? — осведомился Андреич.

— Да вообще-то, конечно, так, — со вздохом согласился Сеня, и в его глазах замигал нетерпеливый огонек.

— Ну вот, значит, нужен рубль, — помедлив, повторил Андреич, — а это уже деньги... В каждом солидном

учреждении на каждый рубль уже пишется заявление, — он еще многозначительно помолчал, посмотрел на Сеню и закончил: — Вот и вы должны подать заявление, если хотите иметь этот рубль.

Сеня не ожидал такого поворота и искренне удивился:
— А как писать-то?

— А по форме. Как все заявления пишутся. Тому-то тому-то, от того-то того-то, ввиду сложившихся обстоятельств... и так далее. Вот вам бумага, вот ручка. В правом углу назовите учреждение, имя вы мое знаете... от такого-то, проживающего там-то, номер паспорта... А дальше — заявление и суть вопроса: сколько вам надо...

— Рупь, — не дождавшись конца фразы, выпалил Сеня, воодушевленный словами Андреича.

— Ну вот, так и пишите, что рубль. А дальше — зачем надо...

Сеня даже вспотел: то ли от кабинетной духоты, то ли от непривычной работы и положения, но он старательно выводил буквы. Они у него прыгали, и строки выходили кривыми: рука-то со вчерашнего тряслась и плохо слушалась и тоже быстро потела. Поэтому Сеня не однажды останавливался, выпускал из легких воздух и вытирая вспотевшие ладони о штанины.

Когда закончил, выжидающе посмотрел на Андреича: что же, мол, дальше? Тот взял из рук Сени заявление, внимательно изучил его и сказал:

— Что же это вы в серьезной деловой бумаге допускаете такие ошибки? Не «заевление», а «заявление», «ввиду» пишется вместе, номер паспорта надо ставить отчетливее. Так не пойдет! Переписать, — и вернул заявление обратно.

Снова, напрягая больную голову и сдерживая дрожание в руке, Сеня принял выцарапывать буквы на листке канцелярской бумаги. Ему было очень тяжело, но мысль, что все это скоро кончится и окупится, утешала его и удерживала на месте.

Наконец и переписанный листок был готов. Андреич снова его принял, неторопливо прочитал и кивнул головой:

— Вот теперь все верно, — и, достав из пластмассового черного стакана толстый красный карандаш, в левом углу что-то размашисто написал, серьезно и решительно перекинул лист обратно через стол и как человек, сделавший нужное, но побочное дело, нахмурил брови,

наклонился и, сосредоточившись, погрузился снова в свою основную работу.

Сеня поднес заявление к глазам и замер: в левом углу бумаги, четко и крупно было выведено красным карандашом: «Отказать!» И подпись Андреича.

Обманутый в лучших надеждах, Сеня молча вышел из кабинета и, не заходя больше ни к кому, скоро и незаметно вышел на улицу и торопливо побежал, не понимая куда.

А сам Андреич, стоило гостю выйти из кабинета, откинулся на спинку стула, налил стакан воды, выпил его залпом и только тогда перевел дух.

ТРОФИЧЕСКАЯ ЯЗВА

Утро в больничной палате начиналось, как всегда, с уколов. Входила усталая сестра с эмалированным подносом, включала свет и, недолго побрякав шприцами, выбирала подходящую иглу и сперва подходила к Василию Ивановичу:

— Ну, Голубев, давай.

А Голубев, которого мучила продолжительная изнуряющая бессонница и который только под утро забывался недолгим сбивчивым сном, поначалу не сразу понимая, в чем дело, испуганно вскидывал голову, виновато и торопливо моргал бесцветными реденькими ресничками и растерянно спрашивал:

— Чего это?

— А ничего, — почти угрожающе отвечал за медсестру безногий Степа Усиков, лежавший напротив Василия Ивановича, — снимай штаны и молись богу!

Голубев укоризненно смотрел на Степу и устало прикрывал красные набрякшие веки, которые с утра алели всегда особенно болезненно и пугающе.

После Голубева девушка меняла иглу, ставила перед глазами шприц вертикально и, пустив вверх тоненький фонтанчик, оборачивалась к Степе:

— Теперь ваша очередь, Усиков.

Но Степа сидел на кровати, как маятником, покачивая единственной ногой и уткнувшись в разлохмаченную толстую книгу, и делал вид, что ничего не слышит.

— Усиков, вы что, опять отказываетесь от укола?

— Я дарю свою порцию Василию Ивановичу.

— Как хотите. Я доложу врачу, — и на этот раз пристращала медсестра. — Вы вчера и к зубному не ходили, как велено...

— И не пойду, — беззлобно отрезал Степа, — потому что это не врач, а рвач. Он лечить не может и не хочет. Только одно и выучил — рвать. А у меня их, Зубов-то, милая, не то что у крокодила: помене. Тому бы дак рви хоть через день — все равно не на один год хватит.

Девушка, не пускаясь в дальнейшие пререкания, по-

ложила на тумбочку Степе какие-то таблетки и вышла из палаты. Она понимала, что Усикова не переговорить. Дома он работал пасечником и научился жалить кого задумает, как пчела. Он уже давно лежал в хирургическом отделении и за это время сумел перечитать почти всю больничную библиотеку и беспрестанно сыпал цитатами, останавливал неожиданными звучными репликами и смущал незнакомыми анекдотами; и невозможно было понять: то ли все это он запоминал из книжек, то ли сам придумывал, но книгу он не выпускал из рук, и даже если отправлялся на костылях вдоль коридора по своим нуждам, — и тогда ее совал под мышку.

Степа мог часами перелистывать страницы, не участвуя в самом животрепещущем мужском разговоре, даже насчет женского полу, и лишь изредка вскидывал кудлатую голову, сосредоточенно смотрел перед собой, но как-то всегда мимо увлеченных собеседников, и вставлял какую-нибудь значительную, чаще всего философскую фразу, вроде бы и не относящуюся прямо к делу; однако, если поглубже вникнуть, то сказанную не без умысла и тонкого намека.

Точно так он и сейчас посмотрел сквозь Василия Ивановича и произнес:

— Надежды юношей питают.

Василий Иванович Голубев по привычке никак не отозвался на это; он улыбался навстречу входившему пареньку лет восемнадцати из соседней палаты, беловолосому, плотному, тяжело переставлявшему ноги в кожаных тапках.

— Опять колола? — участливо спросил паренек у Голубева.

— Да ерунда, — сказал Василий Иванович, — садись, Коля, не надсажай ноги.

Коля был их постоянным гостем. Он, собственно, весь день просиживал в их палате и только на ночь уходил к себе. Он убегал от своего соседа, нудливого, бесконечно жалующегося на свои хвори нестарого мужчины с печально сдвинутыми бровями.

— Да врет он все, — категорически заверял Коля, — я же с ним из одного колхоза, знаю. И дома так же... Все стонет, стонет, чтоб на тяжелую работу не посыпали. Как баба.

— Ну, Коля, зря ты так, — пытался его поостудить Василий Иванович.

— Да чего зря? Может, у него где-то и болит, так чего пытъ-то? Все жилы вытянул. А все равно больше придумывает...

— У самого-то как дела? — спрашивал Василий Иванович.

— Однако лучше, — раздумчиво произносил Коля и, поддернув штанину, щелкал ногтем по тугу патянутым раздувшимся икрам. Щелчок получался сухой, словно по старой неживой коже. — Как барабан гремит, — улыбался Коля. — Вчера опять накачали кислороду под кожу. Теперь как «зисовский» баллон.

В колхозе Коля работал трактористом; видимо, скучал по технике, к которой пристрастился съязмала, и поэтому часто вспоминал о ней при удобном случае.

— Ничего, Коля, поправишься, к весне в армию поспеешь, — усмокнул его и сегодня Василий Иванович, — будешь, как мой Шурка, на танке разъезжать.

— Кобылой тоже брезговать негоже, — не поднимая головы, вставил Степа Усиков.

— Да я хоть пешком... Только бы не забраковали.

— Если будешь глотать все таблетки подряд, не забракуют, — сказал Степа, намекая на странную и неразборчивую привязанность Коли ко всевозможным таблеткам. Он ел их, словно девка сладости, почти с удовольствием; причем не только те, что прописывали ему самому, но и те, от которых, бывало, отказывались Степа или Василий Иванович, или стонучий сосед по палате. Коля с такой же охотой ходил и на уколы и даже выпрашивал у сестер, чтоб сделали лишний уколчик для верности, хотя у него и так были искалоты все ягодицы. О его странных наклонностях скоро заговорили все медсестры и обеспокоенно следили, чтоб он не собирал таблетки по палатам и, грешным делом, не отравился. Но Коля все равно ухитрялся раздобыть дополнительную порцию...

— Только бы не забраковали, — повторил Коля, и Василий Иванович Голубев понимающе посмотрел на него и многозначительно произнес:

— Да, паря...

Сам Голубев сидел на кровати, как турецкий шах, по обыкновению подогнув под себя ноги и чуть заметно раскачиваясь, все время поглаживая и пошевеливая правую перебинтованную ступню, которая глухо и постоянно ныла и которую не сегодня-завтра должны были резать...

В это время к ним и вошла сестра с новым постельцем.

— Вот ваше место, — указала девушка на койку, уже второй день никем не занятую, хотя в последнюю ночь человека три лежало в коридоре.

«Вон, оказывается, для кого место берегли», — подумал Степа Усиков и, оторвавшись от книги, с любопытством посмотрел на новичка.

Мужчина средних лет, кивнув собравшимся, как старым знакомым, прихрамывая, прошел к указанному месту.

— Это моя? — спросил он, показывая на тумбочку.

— Угу, — мотнул головой Степа.

Из мутного целлофанового мешочка мужчина извлек какой-то пухлый пакет, положил его в выдвижной верхний ящичек, а все остальное сунул в тумбочку и сел на кровать, вытянув больную ногу.

— Тоже облитерирующий? — кивнул он на поджатую конечность Василия Ивановича.

Голубев ничего не понял, похоже, что он порою был глуховат, поэтому промолчал, только заинтересованно смотрел на новичка.

— Тоже, — ответил за него Степа Усиков.

— Я сразу вижу, — с гордостью сказал мужчина. — Сам давно с такой же проказой маюсь.

Ему не ответили, но он этого особо и не дождался и запросто продолжал:

— Вот еду из института Вишневского. Профессор Сосновский лечил по схеме и с собой велел ее взять. Говорит, лечить только по схеме! И никак иначе. Вот видишь, написано, — и он развернул перед Степой какую-то бумагу. — Трофическая язва! Сколько у меня там с ней возились — и никакого сдвигу. Вот какая зараза! — опять с гордостью сказал он. — В институтах подолгу не держат больного: посмотрели, изучили — все ясно. Поеzzай! И сюда телеграмму дали, чтоб ждали меня. Сестра на поезд проводила, билет в мягкий вагон достала, в буфете всего набрала на дорогу. Даже пива бутылку додала...

Василий Иванович, пачасто мигая реденькими ресничками и не шевелясь, слушал доверчиво и внимательно нового человека. Коля тоже молча смотрел на него. А тот уж совсем, похоже, освоился и увлеченно говорил, хотя никто его к этому не подталкивал:

— Отношение в институте Вишневского что надо! Во всех других больницах кормят никак не больше, чем на семьдесят копеек, а там — на рупь восемь. Носки белые выдают и меняют через два дня. К чаю то печенье, то молочные сухарики, а этого компоту или какава — пей сколько влезет...

— Да, так можно болеть, — согласился Степа Усиков и посмотрел на Коля. — Правда, Николаха?

— А мне хоть давай каждый день по арбузу — все равно бы в больнице не остался.

— А чего, арбузы любишь? — спросил мужчина шутливо.

— Свободу люблю, — как-то очень по-серьезному ответил Коля.

— А кто ее не любит, — уже в тон ему сказал мужчина. — Да вот держит, — и он шлепнул по коленке больной ноги. — Жить не дает и спать по ночам тоже.

В это время в палату вошел доктор, пожилой, но крепкий еще и улыбчивый мужчина.

— Здорово, гвардейцы, — поприветствовал.

— Здравствуйте, Станислав Алексеевич.

— Как дела, Голубев, — начал он обычный обход. — Как спишь?

— Да ничего, хорошо, Станислав Алексеевич, — ровно ответил Голубев.

— И аппетит нормальный?

— Нормальный.

Станислав Алексеевич недоверчиво посмотрел на Василия Ивановича и потер лысоватый лоб. Потом обернулся к Усикову.

— Врет, Станислав Алексеевич, — ответил тот. — И нас всех утешает. А сам всю ночь опять сидел, раскачивался на кровати из стороны в сторону да ногу огаживал.

Степа начинал кипятиться:

— И не ест ничего. Только в тарелке побулькает. Хорошо вон Колька за ним лишнее посмотрит... Молочка из магазина принесет да под руки сводит, куда надо...

— Да чего ты, Степан... — сконфуженно запротестовал Василий Иванович.

— А ничего... Операцию пора делать!

— Да, надо, — согласился доктор. — А не боишься, Голубев? — Станислав Алексеевич зорко посмотрел на больного. — Смотри, мы не в первый раз с тобой пробуем.

Может быть, придется отнимать всю ступню... Ну, может, пятку удастся спасти...

Василий Иванович помолчал, долго не мигая усталыми веками, потом сказал:

— Да хоть бы уж пятку... Все хоть на своей ноге стоять, а не на деревяшке.

— Ладно. Готовься. Может, завтра и сделаем, — сказал Станислав Алексеевич. — Помойся в ванне, белье попроси сменить. Попробуем еще...

— Ну а с Усиковым как будем? — обратился он к Степе.

— А Усикова пора коленом под зад, — подсказал Степа, — нечего на дармовых хлебах жиреть да чужое место занимать.

Станислав Алексеевич осмотрел его, помолчал, потом хлопнул леонько Стену по колену:

— Ну ладно. Отправлю с ближайшим санитарным самолетом.

Степа не сразу поверил, пытливо посмотрел на доктора, но, видя, что тот не шутит, захлопнул книгу, швырнул ее в тумбочку и понял, что теперь уже не дочитает: не позволит взыгравшая душа. Книги помогали ему забыть о медленном и тягомотном больничном времени, помогали не считать дни и не думать о сроке, когда его выпишут, потому что был он неизвестно где, этот срок, далеко отодвинут и плотно закрыт.

Но вот все стронулось и заторопилось, и Степа знал, что теперь он не даст покоя ни сестрам, ни себе, ни врачам. Он тут же хотел поскакать к кастелянше, чтобы принесла из нижней кладовой его белье наверх: а то вдруг из-за этой мелочи придется терять время, когда скажут, что пора ехать на аэродром.

Степа покружили на костылях по палате и, остановившись напротив выключателя, лихо вскинул правый костыль, прицелился, как из пистолета, и ткнул в кнопку. Вспыхнул свет.

Станислав Алексеевич одобрительно улыбнулся и присел на табурет перед новеньkim.

— Вы к нам поступили сегодня?

— Да, прямо с поезда.

— Где вы лечились до этого?

— А где только не лечился. И в Свердловске, и в Архангельске, и в Сыктывкаре... А сейчас к вам направлен из института Вишневского.

— Как ваша фамилия?

— Сыров. Геннадий Павлович.

— Понятно. Широкая у вас география, Геннадий Павлович.

— Да, судьба повозила по свету.

— Сейчас-то где живете? — осторожно спросил Станислав Алексеевич.

— Сейчас у вас живу, — нехотя ответил мужчина, немного подумал, прикинул и, что-то решив, сказал болро и внятно: — А вообще-то, я без постоянного местожительства. Как говорится, мой адрес — Советский Союз.

— Ну что ж, бывает, — понимающе кивнул Станислав Алексеевич. — Давно болеете?

— Да еще в заключении началось. Сначала с одной ногой, а теперь вот и вторая то же самое. Трофическая язва.

— Да я вижу, — сказал Станислав Алексеевич и снова потер лысоватый лоб.

— Велено лечить только по схеме, — Сыров полез в тумбочку за своими бумагами, — был сделан даже рентгеновский снимок...

Станислав Алексеевич посмотрел бумагу, спросил:

— Мазью Вишневского лечили?

— Сначала ей. А теперь привязали какой-то твердой. Как канифоль. Десять дней не велели развязывать.

— Ну уж... Так и десять... А как же я тогда лечить вас буду? Мне же посмотреть надо. Сестра! — крикнул в приоткрытую дверь Станислав Алексеевич.

Бошла молоденькая шустрая девушка, не та, что приходила рано утром с уколами. Та уже сменилась и ушла отдохнуть. Эта была и ростиком пониже, и глазами повострее.

— Здорово, реактивная, — весело приветствовал ее Степа Усиков.

— Женя, — сказал девушке Станислав Алексеевич, — проводите больного в перевязочную, — он показал на Сырова. — Снимите повязку. Я через минуту подойду.

Когда Сыров с сестрой вышли, Станислав Алексеевич снова подошел к Голубеву:

— Не переживай, Василий Иванович. Все сделаем как полагается.

— Да я ничего. Только уж, Станислав Алексеевич, я лично вам доверяюсь, ладно? Не побрезгуйте, сделайте сами последний разок.

— Конечно, сам! Не волнуйся. А ты, Усиков, — обернулся он к Степе, — готовь вещички, — и не торопясь вышел из палаты.

Коля, промолчавший все это время, поглядел на Степу и Василия Ивановича.

— Геннадий-то Павлович, видал? Только по схеме — и все. И никто против ни звука...

— Видно сокола по полету, ворону — по посадке, — откликнулся Степа.

— Бывалый мужчина, — неопределенно заключил Василий Иванович.

— А ты смотри, глаза, как шилья, так и прорыкают, — сказал Степа, — надо скорее подавать матери телеграмму, чтоб денег на дорогу высыпала, — посмеялся он.

— Зубы все почти вставные, так и сверкают, — изумился Коля.

— Так там ведь им витаминов не выдают, — объяснил Усиков, но Коля пока чего-то не понимал, и Степа, видя это, подосадовал:

— Ой, Колька, не знаешь закон Ома — сиди дома!

Когда Сыров вернулся из перевязочной, мужики уже заварили в литровой банке чай, как они делали каждое утро, и Степа парезал тонкими ломтиками лимон. Один лепесточек сунул в рот:

— Ох, добро, — поморщился, — аж в плешику ударило.

— До того доколупали, что зубы заболели, — недовольно пробубнил вошедший Сыров.

— Неужто и железные болят? — притворно удивился Степа, улыбаясь ему навстречу.

— Одно лечат, другое калечат, — не замечая его слов, продолжал Сыров.

— Конечно, — словно посочувствовал Степа, — здесь не столица. Только режут да шивают. — Он явно подтрунивал над Сыровым и, видно, совсем не боялся его. Хотя обычно самые смелые мужики с бывшими заключенными стараются ладить и говорят поначалу осторожно и долго приглядываются.

— У меня и в Москве не сразу гладью шилось. Пришлось до Президиума Верховного Совета дойти, — сказал Сыров вроде бы вскользь.

— Ну, — искренне удивился Василий Иванович.

— Пришлось, — спокойно подтвердил Сыров и сделал паузу, — а то бы неизвестно, чем закончилось. Может, уж тоже бы на костылях прыгал, как он, — и кивнул в сторону Степы. Сыров недолго помолчал и, словно боясь, что ему не поверят, сжал кулак, выпрямился, стоя возле тумбочки, и засверкал глазами: — Приехал в Москву. Туда-сюда посовался — говорят, поезжайте обратно, где лечились. Ну, думаю, не на того нарвались, голубчики. И записался я на прием в Президиум. Жду. В приемной секретарша молодая, свеженькая. «Садитесь, — говорит, — гражданин, в это кресло, вот вам журнальчик, почитайте пока».

— Да там вроде товарищем называют-то, а не гражданином, — вставил слово Степа.

— Ну, я не помню точно как. Помню, что в журнале читал чего-то про дельфинов... В общем — жду. Через какое-то время — звонок. Секретарша туда зашла, потом выходит: «Пожалуйста, входите». Вхожу. А сам в одном ботинке, ко второй ноге галоша привязана: нога распухла, в ботинок не влезит. Сидит мужчина, в очках толстых, седоватый. Показывает на кресло: «Вам тяжело стоять, садитесь, пожалуйста». Потом спрашивает, какие жалобы. Я, ни слова не говоря, развязываю повязку, говорю: «Вот смотрите: денег нет даже на автобус, есть нечего, ходить не могу, в больницу не берут». Он достает из ящика бумагу, ничего не говорит, пишет. Я молчу тоже. Писать кончил, нажимает кнопку, отдает секретарше бумагу и говорит: «Я жду». Ну, думаю, все. Сейчас придут, возьмут меня под белые ручки — и привет. Через несколько минут заходят в кабинет мужчина и женщина, оба в белых халатах...

— Из сумасшедшего дома? — нетерпеливо вскрикнул Коля.

— Надень на рот глушитель, — обрезал Сыров, — «из сумасшедшего дома»... Из самой Кремлевской больницы! Не дали больше сделать ни шагу. Положили на носилки, белой простынкой закрыли... А он сам наклонился надо мной и говорит: «Вы пока отдыхайте, поправляйтесь, я вас найду».

— Приходил? — опять не вытерпел Коля.

— Конечно, приходил. Вместе со своей секретаршой. Нанесли мне столько... Потом всей палатой не один день ели.

— Ничего себе! — восхитился Коля.

— А потом меня направили в институт Вишневского, — заключил Сыров.

— А чего ж в Кремлевской-то не оставили? — вымогал Степа Усиков.

— Я ж беспартийный, — простодушно признался Сыров.

Степа глубоко вздохнул и больше не докучал вопросами, молча открыл тумбочку, достал из нее недочитанную книгу, лег и отвернулся к стене. Тогда в разговор вступил Василий Иванович.

— Ну там уж, поди-ка, лечат по всей науке?

— Где, в институте-то? Да, там больше разных приспособлений. А вы сами здешний? — неожиданно спросил Сыров.

— Да так-то здешний, только не из самого города, — ответил Василий Иванович.

— Из деревни, что ли?

— Из совхозу.

— А далеко?

— Да не особо. Тут дорога хорошая, дак не боле часу автобусом.

— Богатый совхоз-то?

— Ничего. К соседям займоваться не ходим, — добродушно усмехнулся Василий Иванович.

— А работники вам нужны? — прямо спросил Сыров.

Василий Иванович немного помолчал, что-то посображал, не сразу ответил:

— Я, конечно, не директор, но специалисту везде найдется место занятья.

— С такой ногой, — стукнул Сыров по своей коленке, — па комбайн или трактор не полезешь, сам понимаешь. А вздымщиком я работал не в одном колхозе.

— Это чего, дым, что ли, пускать? — заинтересовался Коля.

Сыров снова круто посмотрел на него, и Василий Иванович пояснил:

— Нет, Коля, это лесная работа. Смолу собирать, сок березовый весной...

— Из него хороший самогон получается, — подсказал, не оборачиваясь, Степа.

Сыров засмеялся, обнажив оба ряда железных зубов. Смех его звучал хрипло и глухо, словно Сыров смеялся в себя. И хрипота была устойчивая и старая, видимо, дав-

но и навсегда приобретенная где-нибудь на северных лесоповалах...

— Не знаю насчет вздымщика, — снова вернулся к теме Василий Иванович, — у нас был тут старичок приставлен к этому... Работает ли он?.. А у вас образование-то какое?

— Образование? — переспросил Сыров.

— Да букварь на двоих с братом искурили, — опять подсказал Степа Усиков, не оборачиваясь от стены.

— Специальностей много, да при моих теперешних картах, сам понимаешь... Курить вот и то пришлось бросить.

— Ага, полчаса назад бросил, — не мог успокоиться Степа, — окурок за окно.

Но Сыров его упорно не замечал. Он тоже опытным глазом определил в Степе человека бывалого, ушлого и не хотел с ним скандала.

— У вас семья-то есть? А то с жильем у нас тугово-то, — сказал Василий Иванович.

— Это не проблема, — живо откликнулся Сыров, — мне места много не надо. У меня — никого... Один на льдине, как говорится, — и он опять глухо засмеялся, сверкая металлическими коронками.

— А где же все? — не мог сообразить Василий Иванович.

— Да как тебе сказать, — нехотя потянул Сыров, — пока меня судьба водила, жена вышла за другого. Ну, и ребятишки при ней остались. Давно уж и связи никакой.

— Дак и не помогаете? — не давал себе покоя Василий Иванович.

— А чем помогать-то? Сам вот из больницы в больницу. Да они и выросли уже.

— Там им-то хоть писали о своей болезни?

— А зачем тревожить? Все равно с передачей не прибегут с другого конца Союза, — Сыров опять глухо хохотнул. — Да и правду сказать, когда они росли, я ничем не мог им помочь, так что и мне надеяться нечего.

В последних словах Сырова вдруг независимо от него прорвалась настоящая человеческая боль и ясное понимание собственной неприкосновенности, которую он явно скрывал от посторонних, а может, даже и стыдился или не хотел замечать как человек еще совсем не старый. Хотя голова его с жесткими и коротко стриженными уцелевшими волосами была вся пересыпана сединой, и, когда

он улыбался, обнажая светлые казенныe зубы, эта седина, словно перекликаясь с ними, тоже отдавала металлическим блеском и становилась еще заметнее.

— Долго тянул-то? — спросил Степа без обычной неприязни и ехидства. Было похоже, что последнее признание Сырова тронуло его и заставило даже пожалеть.

Но Сыров, видимо, опомнившись и почувствовав эту Степину перемену и не желая участия с его стороны, снова влез в привычные одежки неунывающего ухаря и твердо ответил:

— Сколько оттянул — все мои.

— Да я ведь отбирать не собираюсь, — вернулся и Степа к прежнему тону.

Дальнейшему разговору помешала медсестра Женя, широко распахнувшая дверь в палату и сразу же сделавшая выговор Степе:

— Усиков, сколько раз тебе говорить, чтоб не валялся на кровати в одежде.

— Ну, реактивная, как ты войдешь, так сразу все испортишь, — обиделся Степа. — Такую содержательную беседу сбила.

— О чём уж вы таком беседовали, интересно?

— О прекрасном женском поле, — игриво сообщил Сыров, уже до конца преобразившись.

— В вашем возрасте пора переходить на более спокойные темы, — срезала Женя. Было видно, что девушка на язык бойка. И не глупа.

— Во, реактивная, молодец! — похвалил Степа.

— Ты давай мне, молодец, слезай с кровати, — не унималась Женя, — опять, наверно, свои таблетки скормил Коле.

— Ну, что ты, Женя, я и свои-то не знаю, кому сплакнуть, — запротестовал Коля с улыбкой. Он все это время сидел смирно в уголке, и его было не видно, не слышно.

— Знаем, знаем, — ответила Женя, — уж твои-то наклонности нам известны. Давай-ка лучше, дорогой, выкатывай коляску, сейчас повезем твоего соседа на операцию.

Коля округлил глаза и с недоверием спросил:

— Неужто у него и вправду чего-то болит?

— Раз будут оперировать, значит, чего-то болит, — передразнила Женя.

— Кто бы мог подумать, — все еще сомневался Ко-

ля. — А может, он так, для отводу глаз... А то столько времени проваландался по больницам, неловко в колхозе без операции вертаться...

Но Коля все же, весело щелкнув ногтем по закинутой на колено раздутой ноге и сказав «елки зеленые», встал и тяжело вышел из палаты:

— Надо уважить соседа...

— А вам необходимо сегодня сдать кровь на группу, — обратилась Женя к Сырову. — Кабинет в конце коридора. Сестра сейчас там, на месте.

— Нет, милая, — сказал Сыров, — вот мой документ, там группа крови указана. — И он достал из тумбочки потрепанный паспорт.

Женя коротко и удивленно посмотрела на Сырова:

— Запасливый товарищ...

— Ничего, с мое поживешь — и ты кое-чему научишься... У меня ее и так попили, кровушки-то, ой-ой-ой сколько!

Женя сунула сырковский паспорт в карман халата и обернулась к Василию Ивановичу:

— Голубеву нужно сегодня вечером принять ванну. Завтра операция, — и направилась из палаты, на ходу обронив Степе: — Усиков, больше на кровати не вальяться!

— Успокойся, реактивная, не буду, — заверил Степа и, стоило Жене исчезнуть, как тут же разлегся поверх одеяла.

— Вот для кого-то бессонница растет, — заметил Степа, — ну ни минуты покоя не даст. Войдет — как стакан новой крови вольет. Утром всех на зарядку поднимет, самых-то стариков и то вытянет. «Давай, давай, дедушка, ручками помаши, ножками подрыгай». И ведь все идут, никто на нее не пообидится. Вот реактивная... Только ее и видно и слышно. Будто другого персоналу и нету.

Степа говорил это все вроде для себя, ни к кому не адресуясь, но Василий Иванович согласно покивал головой и сказал:

— Веселая девка. С такой, поди-ко, и умирать-то много легче, — и взялся за стакан недопитого чаю.

— Ну от нашей болезни пока никто не погибал. А вот сладкого тебе перед операцией надо поменьше зобать, это уже точно, — предостерег Сыров Василия Ивановича, и тот как-то сразу послушался, отставил стакан, слов-

но ему посоветовал строгий доктор. Он был из тех людей, которые, опасливо приближаясь к решительной черте, согласны выполнять любые советы и кого угодно слушать, лишь бы хоть чем-то помогло.

— Да я бы согласился неделю ничего не пить, лишь бы хоть пятку оставили, — покорно сказал Василий Иванович, — рентгеновский съемок, кажется, был не особенно хорош, хоть врачиха и успокаивала меня.

— Это их работа — успокаивать, — не обрадовал на этот раз Сыров. — Да... Тяжело в деревне без нагана, в городе — без трешника. Может, тебе закурить дать?

— Ты же бросил, — съязвил Степа.

— Да ладно ты, — отмахнулся Сыров. — Человеку тяжело.

— Так ты ему лучше чего-нибудь веселое расскажи, отвлеки его. У тебя ведь география богатая, не зря доктор говорил...

— Это пожалуйста, лишь бы помогло. — Сыров помолчал, чего-то вспомнил и усмехнулся. — Был у нас в конторе один фрайер, с детства презирал трудовую деятельность на благо народа. И как надоест ему по стулу задницей елозить, он на нее раз червонец — приклейт и чешет в медпункт: «Посмотрите, доктор, чирей не дает покоя». Тот посмотрит, говорит: «Да, действительно красивый», — отклеивает его. И — освобождение от работ на сутки. Долго так этот фрайер гужевал. Очень книжки читать любил, кстати. А тут один молодой тоже решил посачковать. Однажды подглядел в окно, с какой болезнью ходит в медпункт его кореш, — и тоже туда. Но, как говорят: «Жадность фрайера сгубила». Сначала тоже приклеил к корме червонец. Потом подумал: нет, за одни сутки дорого. Перелепил пятерку. Опять жалко стало. Присобачил, наконец, трешник — и дует к тому медпункту. Тот говорит: «Вы с чем ко мне?» — «Да вот, — отвечает, — тоже фурункул замучил». — «Снимите, — говорит, — штаны». Тот снял. «Наклонитесь!» Тот наклонился. «Нет, — говорит медик, — у вас еще зеленый, вполне можно работать». Вот так-то, мои хорошие.

Василий Иванович от души расхохотался.

— Неужто вправду у вас такое и случилось? — спротодушничал он.

— В нашей жизни еще и не такое бывало, — Сыров лукаво и примиренчески подмигнул Степе, наконец повернувшемуся от стены. — Верно, земеля?

— Факт, а не реклама, — иронически заключил Степа Усиков.

Сыров вышел в коридор, а через некоторое время в палату вернулся Коля.

— Ну что, — спросил Степа паренька, — опять, наверно, курить бросает наш хрипун?

— Да смолят на лестнице с какими-то мужиками. Сколько всего знает — ужас!

— Ну и птица! — покачал головой Степа. — Это он переждать зиму сюда сунулся. На дворе холодно, ни кола ни двора нет... А тут и койка мягкая, и кормежка подходящая. Вот и шляется из больницы в больницу.

— Ну, Степан, ты уж больно его раскладываешь... прямо на спину, — пожалел Василий Иванович и даже вроде обиженно помигал красивыми веками.

— В самый раз раскладываю, — возразил Степа, — я ведь тоже как-то по дури залетел туда... за проволокуто. Так что всяких видывал. Он и курит-то нарочно, чтоб у него дольше не заживала его язва. Может, и еще с ней нарочно чего-нибудь творит, лишь бы дольше болела. Он теперь все свои таблетки будет Кольке скармливать. А то выпишут — куда он? Работать неохота, бродяжить холодно, в лагере насидался... Вот он и пристраивается. Хорошими документами запасся, институт Вишневского направил. Попробуй откажи ему — он всех жалобами замучит, а своего добьется. А как солнышко пригреет — только его и видели. Скоро вылечится, на одной ноге ускакет. А ты думаешь, отчего он все мои насмешки сносит? Другой бы урка сразу глаз вышиб. А он и там-то, сразу видно, никакого авторитета не имел. Так, сачок, служил на побегушках у кого-нибудь...

Степа не успел закончить свою мысль — в дверь вошли медсестра Женя и Сыров.

— Я вам, Женечка, могу такие произведения на память записать в ваш альбом, что вы меня всю жизнь нежно вспоминать будете, — улещал Сыров.

— Какие, например?

— Я многое помню, но вам, конечно, лучше всего про любовь?

— Ну, пусть про любовь, — согласилась Женя.

— Пожалуйста!

Сыров не умел декламировать, хотя пытался подражать эстрадным чтецам, которых, видимо, видывал. Он все

сбивался на тот неопределенный ходячий мотив, под который исполняют обычно не только скороспелые сочинения расхожих стихоплетов, но и коверкают и подстраивают известные и заслуженные песни и стихи. Сыров, похоже, чувствовал силу и неотразимость поэтического слова, поэтому с таким упоением начал:

Луна пыла в серебряном тумане,
Под окнами холодный ветер выл.
Забыла ты с другим о хулигане,
Но он тебя, конечно, не забыл.
Пусть он не носит фетровую шляпу
И золотых часов не заимел,
Но съездить в город солнечный Анапу
И он с тобою тоже бы хотел.
Он посадил тебя бы на колени
И от души...

Но Женя не дала докончить Сырову эту приблуденную песенку.

— И это вы мне хотели в альбом? — расхохоталась она.

— А что, не подходит? — не очень растерялся Сыров.

— Нет уж, такую лучше оставьте при себе.

— А я могу вам другую предложить.

— Спасибо, хватило и этой. Да и не до стихов пока. Вам, Голубев, — повернулась она к Василию Ивановичу, — пора в ванну. Давайте готовьтесь, я вам помогу.

— Да я его помою, Женя, — откликнулся Коля, который все это время с интересом наблюдал за Сыровым и очень серьезно слушал его хриповатое пение.

— Так, совсем хорошо. Ты, Коленька, дольше не выписывайся от нас. В половину работы меньше, — порадовалась Женя.

— Ну, спойте еще чего-нибудь, — попросил Сырова Коля, — и эту спишите для меня, а?

— Вон Степан пусть исполняет и списывает, он тоже знает, — покачевряжился Сыров.

— Да нет, — вяло ответил Степа, — я все эти песни забыл. Память стала что у старой девы: заросла монжком, не проткнешь и батожком.

— Ну, спишите, — снова попросил Коля.

— Пойдем тогда в коридор, — сжался над ним Сыров, — там есть такие куплеты, что лучше кое-кому не слышать, — и он выразительно посмотрел на Женю.

— Колька, не забудь вовремя рот захлопнуть, — прокричал им вслед Степа, но Коля не оглянулся на его голос.

...Ночью в палате не спали двое: Степа, потому что все боялся проспать самолет, и Василий Иванович, — заранее переживая свою операцию. Сыров лежал на спине, свесив с кровати больную ногу, и почти всю ночь хралел.

— Ну и хрюпун, — негромко ругался Степа, — что днем, что ночью — все одним голосом.

Василий Иванович сидел опять на кровати по-турецки, раскачивался из стороны в сторону, оглаживал поджатую под себя ногу и бог весть о чем думал.

— Ты так и не спал всю ночь? — спросил его проснувшийся Сыров.

— Да я уж привык так, — ответил Василий Иванович.

— Тебе бы перед операцией не лишнее отдохнуть, — позабочился Сыров, — а вот мне боли всю ночь не давали покоя... Но сегодня пощупал: в левой есть пульсация и в правой есть пульсация. Значит, еще ничего.

— Ничего, ничего, — поддакнул Степа, — пульсация и в горле была всю ночь такая, что хоть галошой затыкай.

— Ну, это с дороги, — оправдался Сыров. — Столько времени не спал по-человечески.

— Теперь отоспишься, — заверил Степа, — отсюда дальше гнать некуда. Тут больница областная, всех принимают. Будет время...

Он встал на костыли и похромал в коридор ловить Станислава Алексеевича да насчет самолета поразузнать; но скоро вернулся, чертыхаясь:

— Ох уж эта мне авиация: чуть бычок помочил — все, погода нелетная.

А пока он хлопотал насчет отправки, Женя с Колей увезли на операцию Василия Ивановича Голубева.

Его долго не привозили. Таких тяжелых больных после наркоза обязательно сначала кладут в специальную палату, где они приходят в себя и где за ними наблюдают медсестры, смачивают им губы мокрой тряпочкой, когда оперированные слабо и жалобно произносят всегда одно и то же слово «пить».

Прикатили Василия Ивановича уже к вечеру. Как сказала Женя, ногу ему пришлось отрезать по щиколот-

ку, так что пятку Станислав Алексеевич сохранить ему не мог. Кровь у Голубева не пробивалась по сосудам даже до пятки, и Станислав Алексеевич побоялся, что процесс отмирания плоти может распространиться еще выше и придется снова подвергать больного мучениям и, возможно, к тому времени пилить ногу еще выше.

Вечером он зашел (сегодня было его дежурство) к своему больному, присел на край кровати.

— Ну, Василий Иванович, дело сделано. Думаю, теперь процесс остановится.

— Хорошо бы, — слабо ответил Василий Иванович.

— Не переживай особо. Не высоко отрезали. У других намного хуже бывает, а и то ходят, работают, даже танцуют.

— Да какие там танцы, — грустно улыбнулся Василий Иванович, — буду хоть чеботорить на дому. Я с детства еще отцом научен сапоги-то тачать.

— Ничего, — вмешался в разговор Сыров, который вместе с Коляей вошел в палату вслед за врачом. — У меня вон был дружок — на обоих протезах. Я говорю: «Как ты, Вася, себя чувствуешь без ног, на протезах-то?» — «А еще, — говорит, — лучше: теперь, — говорит, — хоть ноги не мерзнут да и коленки перед начальством не дрожат».

Коля залился от смеха и снова посмотрел на Сырова с восторгом. Станислав Алексеевич потрепал по плечу Василия Ивановича и сказал:

— Теперь хорошенъко отдохай, солдат. Жена-то навещала?

— Как же! Два раза приезжала, — ожил Василий Иванович, — однова даже дочку с собой привозила.

— Значит, положение знает?

— Как не знать...

— Ну ладно. Я завтра зайду, посмотрим, как будет, — и вышел, плотно закрыв за собой дверь.

— Я тебе, Василий Иванович, джему вот принес, — сказал Коля и достал из тумбочки Голубева банку с яблочным джемом.

— Спасибо, Коля, только ни до чего мне теперь. А особо — не до сладкого. Бери вон у меня в тумбочке печенье, жена привезла. Ешьте, чего ему сохнуть.

— Правильно, — заключил Сыров, — ему сладкое теперь не на пользу. Давай, Коля, готовь все да и банку

откупоривай, мы счас чаю сварганим, — и начал рыться в своей тумбочке, видимо, ища открывашку.

— Вот когда я был на войне, — продолжал он, — в летних частях нам каждую неделю выдавали то сгущенку, то шоколад, так мы... это самое... обменянем у населения на самогонку и всю ночь...

— Ну ладно! Хватит с чаями раскладываться, — резко сказал Степа Усиков, — человек после операции, ему покой нужен. Идите в коридор, если не терпится, — и, вскинув костыль, направил на выключатель и одним тычком погасил свет.

НА СВИДАНИЕ

Пока стояла мягкая смиренная пора. Трава только начинала жухнуть, но уцелевшие тлеющие маковки клевера держали себя высоко и уверенно, и именно они бросались в глаза, хотя большинство было отгоревших, уже роняющих семена. Как ни в чем не бывало повсюду желтели одуванчики, и коровы приносили домой полное вымя. Только чистая молодая озимь, большим резким пятном выделявшаяся на холме и далеко видная, набирала силу и словно подчеркивала, что все растущее вокруг нее старо, изношено и обречено.

Катерина Вячеславовна любила эту пору, хотя давно ее не видела собственными глазами; она могла только чувствовать, угадывать и вспоминать былые сентябрь, в которых она — зрячая и здоровая — купалась, как в прохладных омутах. Те дни вставали перед глазами всегда ясные и полные; ведь память старого человека так устроена, что может не припомнить, что же происходило вчера, но как бывало пятьдесят лет назад, восстановит в мельчайших и самых неожиданных подробностях.

Иногда Катерина Вячеславовна забывалась и настолько далеко уходила в прошлое, что вдруг начинала улыбаться, с кем-то разговаривать там и даже двигать руками.

— Ты чего опять, бабка? — испуганно глядя на нее, говорил недовольный внук, сидевший рядом с ней и забавлявшийся па крылечке с котенком.

— Да вспомнила, Шурка, как с дедушком сенокосили за Шитровой рекой. Поди-ко, лет сорок прошло... Да, не мене. Ребята уже помогали, Колюха да и Антонин. Большие оба были... Господи боже, вся жизнь как во сне привиделась.

— А чего руками-то зашевелила? — все еще недовольный, спросил внук.

— Да я наклонилась, охапку сена хотела на копну бросить, а дедко-то мне на спину ковшик воды, эдакой-то холодной, и плеснул. Вот я и давай отряхиваться да его ругать, а сама смеюсь.

Внук, видимо, успокоенный ее объяснением, снова завозился с котенком, а Катерина Вячеславовна, опершись о ступеньку рукою, начала тяжело подниматься.

— Ну, засиживаться нам долго некогда. Божатку ждать уж не будем, она долго проубирается в школе; две-ри-то ты припрешь колышком и сам. Давай напишем поминальник да и пойдем. Не коротко до Никольского-то еще.

Она снова приехала на могилу к своему мужу, с которым за долгий переменчивый век нажила шестерых детей, поставила не одну тысячу стогов и перепластила столько земли, что если бы соединить всю вместе, то этому бы полю не было видно предела.

Последний раз она приезжала на могилку лет семь назад, когда сама еще маленько видела. Тогда ее сюда, к божатке, проводила старая подружка Павла, а божатка сводила в Никольское. Катерина Вячеславовна долго тогда стояла на могиле одна, разговаривала с хозяином, отчитываясь за все эти годы, а на прощание побывала в церкви и поставила свечку за упокой.

Дома она несколько раз намекала, что давно не бывала у отца, а это большой грех. Дочь и сын обещали свозить ее на могилу, но потом забыли: своих дел и досад было выше горла.

Нынче хозяин особо часто снился ей.

— Смотри, девка, — предостерегла Катерину Вячеславовну соседка, тоже много и всяко пожившая старуха, — стал часто сниться — это ои под тебя подбирается...

— А мне теперь в красу и умирать, — и Катерина Вячеславовна рассказала ей последний сон. — Вот вроде бы вижу большую широкую лестницу. Похоже, как в нашем дому, тоже крашеная. Он стоит наверху, глядит на меня и ждет. Я наверх-то бегу, бегу, запыхалась вся. До половины лестницы добежала — и пробудилась. Видно, ноне еще не помру...

Но успеть съездить последний раз на родину, очистить душу на могиле покойного мужа стало так необходимо, что Катерина Вячеславовна со слезами и упреками подступила к дочери и та отпустила с ней внучонка.

— Не заблудимся, — успокоила старуха дочку, — я все помню там и знаю, а он все видит... Знакомые у нас чуть ли не через дом. Да и родня кое-где осталась, хоть и дальняя.

Добрались они хорошо, переночевали у божатки, а от нее до Никольского оставалось километров пять.

— Ну, дак пиши, — сказала она внуку, как только они уселись за стол.

— Чего писать-то?

— Да ведь не одинова писывал мне. Опять забыл? Ничего нужного-то не держите в памяти, — походя журила она. — Пиши сначала «о здравии», а потом «о упокоении». Можно, конечно, и «о упокоении» сперва. Написал?

— Написал. Говори, говори, — нетерпеливо сказал внуку.

— Ну, давай, коли начнем, — не заметила этого нетерпения Катерина Вячеславовна, — сперва запиши мою мать, отца да своего деда — Анна, Вячеслав, Александр. Теперь детей, братовей да сестер — Николай, Антонин, Алексей, Павел, Михаил, Сергей, Татьяна, Дарья, Александра, Марья, Прасковья. Вроде всех назвала. Теперь бабушек да дедушек, да уж заодно и теток, и дядек, и всю родню. Пиши — Андрей, Василий, Василий, Михаил, Михаил, Михаил...

— Да зачем три-то раза повторяешь? — возразил внуку.

— А с ту и с другую сторону Васильи были и дядюшки три Михаила.

— Тогда давай так и запишем: два Василия, три Михаила.

— Ишь ты какой вострой! — обиделась старуха. — Они разные были, как же их всех вместе поминать. Я каждого по отдельности помню и знаю...

Наконец они составили список упокоенных и перешли к здравствующим.

— Запиши маму свою, дядю Леню, себя...

— А меня зачем? — удивился внуку.

— Чтоб дольше жил, — ответила Катерина Вячеславовна. Здравствующих набралось около десятка человек, которым старуха была чем-то обязана и которые были ей дороги.

— Баб, а чего у тебя так мало «о здравии»-то? — спросил внуку.

— А все остальные мои в первом списке, — ответила она и покачала головой.

Внук отложил бумагу, молча посмотрел на старуху, о чем-то подумал, потом сказал осторожно:

— Я все написал, баба, всех перечислил.

Шли они через поля, деревни, шли берегом и перелесками, шли медленно, с остановками, потому что старуху давно мучила одышка и ходить быстро и долго она не могла; и как только останавливались отдохнуть, Катерина Вячеславовна спрашивала внука:

— Листу-то много нападало, Шурка?

Внук, уставший от медленной, непривычной и потому тяготившей его ходьбы, опять начинал раздражаться и нехотя отвечал:

— Хватает.

— Больно уж лес-то красив, поди-ко... — опять не замечая его раздражения, говорила с улыбкой Катерина Вячеславовна. — Наши ребята об эту пору всегда за рыбками ходили. Много, бывало, нанесут. Не один день варим. Ты вот не интересуешься ни лесом, ни рыбой... Конечно, в городу рос, к другому и наклонение. Где мы теперь идем-то? — спрашивала она опять.

— Да к мостику какому-то подходим.

— Так это через Вотчу, — обрадовалась старуха, — ну, так мы далеко-ко отошли тогда. Шавряем, шавряем в час по половице, а к Вотче подошли, гляди-ко! Вода-то уж потемнела в ней, наверно, — обращалась она снова к внуку.

— Темная... — отвечал тот. — Везде она такая.

— Ой, что ты! — запротестовала старуха. — Летом-то Вотча бывает сколь светла да чиста... пьешь, пьешь — не напиться. А голову вымоешь — так волосья под гребенку не собрать, так из-под нее и вытекают и рассыпаются. Как пух делаются — эдакие легкие. Идешь — и на голове не слышишь. А сколько вылавливали раков-то. Мы, девки, подолы подоткнем да прямо ногой — только ну их между пальцами зажимать. Живехонько ведро наловим.

Раки заинтересовали внука, и он спросил:

— И теперь их ловить можно?

— Да теперь-то холодно. Сам говоришь, вода темная. И давно ведь мы ловили. Ноне, может, и не живут. Не слыхала, чтобы теперь кто хвастал раками. А озимые-то нынче хорошие, Шурка? — никак не молчалось ей.

— Какие озимые?

— Ну голова! Не знаешь озимых? — Старуха незло поквохтала. — Вот тебе, шешнадцать лет прожил на самой главной улице... Да озимая-то рожь! Хлеб-то! Хотя

где вам знать. Вы это и в классах, поди-ко, теперь не проходите.

Внука задел не столько старухин смех, сколько упоминание о классах.

— Не беспокойся, не меньше, чем вы, проходим, — у внука было нежное юношеское лицо, темные и длинные волосы, и, когда он сердился, резким движением головы закидывал волосы назад, хотя они и так не мешали ему.

Мешало что-то другое. Может, старуха, которая когда-то выняничила его и которая по несколько раз на дню своим фартуком вытирала внуку сопли не один год подряд. Ему было стыдно сознаться, что злится именно на нее, хотя и понимал, что многим обязан своей бабке. Но поездка эта сорвала ему все планы. Они договорились с ребятами, что на мопедах отправятся в воскресный поход. К ним присоединились знакомые девчонки. Среди них была та, которой он уже послал несколько туманных записок и получил на них такие же туманные ответы... И вот все это пришлось отставить и по требованию матери сопровождать старуху в эту глушь, потому что ей вздумалось побывать на могиле своего старика, его деда, которого он совсем не помнил, хотя мать и бабка рассказывали, как тот любил своего внука, названного его именем, и как баловал его сластями, разрешал раньше всех лакомиться в огороде и выпиливал и выстругивал для него из дерева всякие финтифлюшки.

Чтоб не выглядеть неблагодарным, внуку, пересиливая себя, сделал вид, что поездка в деревню ему даже в диковинку и бабушка, разумеется, не в обузу, по все-таки своим ломающимся баском упрекнул мать:

— И когда вы меня перестанете эксплуатировать...

Старуха слышала его слова, но промолчала; только потом, уже в автобусе, прислонилась к плечу и, как бы между прочим, промолвила:

— Потерпи уж, Шуренька, последний разок.

Наконец они забрались в Никольскую гору, где стояла давно не беленная, видать совсем обедневшая, одиночная на всю округу, но все еще действующая церквушка. Вплотную к ней примыкало и сельское кладбище.

— Ну, пришли, — облегченно выдохнул внук и сразу вроде подобрел. — Куда теперь?

— А теперь ищи Старостиху, она покажет нам, где де-

душко лежит. Самим-то не разыскать: ты не знаешь, я не вижу.

Старостиха оказалась дома, хорошо их приняла, наполнила чаем, взяла поминальник и деньги, давно припасенные Катериной Вячеславовной на поминки, и пообещала все исполнить в ближайшую родительскую субботу.

— Самой-то мне больно недосуг, — оправдывалась Катерина Вячеславовна. — И то уж с греха сгорела, что эстолько лет у дедушка не была. Я бы пожила здесь, да ведь за мной опять кто-то должен нарочно приезжать. А внуку надо в школу. И так с ученья сняли на два дня из-за меня.

— Да я понимаю, понимаю, — успокаивала ее Старостиха и помахивала навстречу ладошкой. — Не беспокойся, Катерина, я все изложу как следует.

— Ты после погоста-то зайди ко мне хоть попрощаться, — попросила она, указав им могилу и оставляя одних. — Теперь парнек домушку мою знает, доведет, — и тихо ушла.

— Ну, здравствуй, Санушко, — тепло и грустно сказала Катерина Вячеславовна, склоняясь и оглаживая неровный бугорок земли, траву на нем, какие-то прутья, покосившийся облезлый крестик. — Это я, твоя Катя, пришла тебя проведать. Как ты тут... Один-то... без меня.

Внук, попав на кладбище, сразу притих, стал ближе жаться к бабушке, и ему было уже увереннее и спокойнее оттого, что слепая неотступно держится за его рукав сухими скрюченными пальцами. И то, что старуха в этом нежилом месте ровна и уверenna, как у себя дома, тоже придало ему крепости и внушило силу.

Сказать он пока ни слова не мог, дыхание перехватило, и он осторожно повертывал голову и натыкался глазами на заросшие холмики, на подгнившие серые кресты, нескладные оградки и кругом видел теснившуюся большую — обойденную человеческим вниманием — траву да кое-где тусклые — тоже неухоженные — цветы.

Старуха с внуком стояли под высокой пожилой елью, широко развесившей ветви над их могилой и много насорившей на нее за годы ржавых иголок.

— Не обижайся на меня, Санушко, что долго не была: не своя воля.

Внук невольно вздрогнул от ожившего бабкиного голоса. До этого она долго молчала, и он подумал, что она забылась, и не мешал ей.

— Вот скажи спасибо Шуреньке, что допровадил меня к тебе, а то бы не свидеться боле. Видишь, не зря ты внучка так нежил да на коленке накачивал: и он к тебе приехал. Это чего, Шурка, над нами пошумливаet? — неожиданно и другим тоном спросила она. — Не елка ли тут?

— Ага, — несмело выдохнул внук.

— Ну-у, — удивилась старуха, — шумит уж эдак! Когда дедушку хоронили, она еще совсем молодехонька была, а теперь вои как шумит... Видишь, Санушко, как годы-то машут, — снова она склонилась к земле. — Ты бы на меня сейчас поглядел, наверно, и не узнал бы: сколько я без тебя-то еще пережила... Коленъку похоронила, младшего тоже похоронила. Ты ведь ничего и не знаешь? Али я тебе про Коленъку-то в прошлый раз сказывала? А младший-то совсем недавно помер. Все от этого раку. Такие молоденькие погибают. Видишь, как мне живется без тебя? Жила у Леонида, больше не смогла, ушла к Варе. А и эта тоже со своим разошлась. Ой, не глядел бы ни на чего! Ты тогда верно сказал, что нашим робятам обязательно попадутся какие-нибудь проходимки: больно сами-то полороты. Так и вышло. Я сколь раз твои слова вспоминала: вот, говорю, отец все знал наперед. Сбываются твои слова.

В голосе Катерины Вячеславовны вперемежку со скорбью и обидой слышались и гордость, и благодарность, и обострившееся сожаление, что так мало пришлось прожить им вместе и что теперь ей приходится доживать век одинокой и, в сущности, не нужной больше никому: дети — одни умерли, другие на ноги встали; внучата вынужчены, а до правнуков уже не дотянут.

Наверно, за все семь миновавших лет она впервые выговаривалась так свободно. Кроме этой могилы, у нее, видно, уже никого не было в людном мире, кто бы захотел, не перебивая и не тяготясь, выслушать ее до конца. Пусть не понять даже... Понять ее теперь было, может, и трудно: слишком долгую и кропотливую жизнь прожила она, и представления ее об этой жизни часто не совпадали с принятыми; она словно перешагнула невидимую грань, которая делит людей на тех, для кого пока не существует смерти, и тех, кто давно живет ее предчувствием.

Катерина Вячеславовна понимала, что даже собственные дети ее наставления и упреки в суетливости, расто-

чительности и беззаботности воспринимают как старческое брюзжание и отмахиваются, снисходительно улыбаясь у нее за спиной, думая, что она не видит и не угадывает их равнодушия. Старуха с этим давно примирилась, хотя не могла сдерживать себя от новых назиданий, и здесь, на встрече с хозяином, пожаловалась ему:

— Никто больше не слушает меня. Против не говорят, а не слушают.

Внук, потихоньку оглядевшись и наконец придя в себя, но от проникающих непривычных старухиных слов озябший, словно от мокрого ветра, стал нерешительно и жалостливо звать ее домой:

— Баба, пойдем, хватит, постояли. Да и холодно...

— Ты не бойся, Шуренька, — угадала его Катерина Вячеславовна. — Родного дедушка чего бояться? Он ведь тебя любил. Попрощайся с ним хорошенько. Без меня уж, наверно, не бывать тебе здесь...

— Пойдем, баба, — настаивал внук.

— Ладно, Санушко, — начала прощаться с могилкой старуха, — видно, уж последний раз поговорила с тобой, отыхай спокойно: ты лежишь-то хоть в родной земле, а я не знаю, где меня и похоронят, на какой чужой стороне. И крестик не знаю, поставят ли. У тебя хоть и худ, да есть. Теперь в городах, говорят, и в землю не пускают, а сожгут, да в банку пепел складут, да и вручат: хорошие. А чей пепел — бог знает... А ты все ж таки у себя дома да на сухом месте. С этой горушкой и нашу деревню всегда видно было... Что бы меня-то рядом с тобой положили, так я бы хоть сейчас.

Эти слова совсем испугали внука, и он потащил не грубо, но настойчиво старуху за собой между могилами, и она уже на ходу послала торопливое прощание:

— Прости меня, грешную, Санушко, если в чем проницилась перед тобой. — И только тут впервые негромко всхлипнула и почувствовала такую слабость, что даже покачнулась и зашарила в воздухе рукой, ища, на что бы опереться. Внук подхватил ее, ненадолго прижал к себе и тихонько потянул к выходу, испуганно и заботливо шепча:

— Ничего, баба, ничего. Потерпи немножко. Сейчас дойдем до дому — и ты отдохнешь.

КРОВЬ

Сессия подходила к концу, а Саня Уточкин, вместо того чтобы напрячься для последнего рывка, расслабился. Воображение уводило его от окружающей действительности далеко-далеко: в легкую и прогретую июньскую зелень, к вечерней умиротворенной воде или просто в просторное и ветреное поле; иногда одного, иногда с другом, но чаще — вдвоем с Люськой Егоровой, которая, как он ни старался, на его записки и намеки или молчала, или хихикала.

Саня Уточкин заканчивал уже четвертый курс политехнического и, хоть заниматься с каждым годом приходилось больше, успевал и на танцульках попрыгать, и с какой-нибудь сокурсницей на вечерний сеанс слетать, а потом еще и пошушукаться и подурачиться в отдаленном общежитском углу.

Учился он хорошо, но эти вольности создали ему определенную славу, которая не очень нравилась педагогам, а Люське Егоровой — особенно, потому что втайне она тоже симпатизировала ему.

Все от него ждали серьезности, солидности, предрекали несомненное и завидное будущее, если он вовремя оステпенится. А Саня не хотел меняться ради того, чтобы всем нравиться, и отшучивался:

— Поздненько мне о солидности думать, а при моей фигуре просто смешно.

Он не кокетничал — фигура и в самом деле не добавляла ему солидности: тощий, мосластый, сутуловатый, с длинными болтающимися руками, выпирающими ключицами и лопатками, он ходил расслабленной, даже несколько вихляющей походкой, а русая челка небрежно падала набок.

— Санька, у тебя даже сквозь пиджак ребра торчат. Вроде и суп макаронный хлебаешь, и шаньги ешь, и пиво пьешь, а толку никакого.

— Не в коня корм, — соглашался Саня Уточкин. — Только перевод деньгам. Да ладно бы своим, а то ведь маминым...

Мать и вправду посыпала иногда Сане перед стипендией пятерку-другую — больше бы он и не принял. В техническом вузе все-таки учился, а там стипендия побольше, чем в гуманитарных, прокормиться можно. А в крайнем случае не заказана дорога и на товарный двор, где всегда рады грузчикам. Потаскаешь ящики да покатаешь бочки — и народ продуктами обеспечишь, и себе на пропитание подработаешь.

Матери это не нравилось, и она внушала сыну, что не позволит ему пропасть с голоду: незачем зря ломаться. Но Саня отмахивался от ее слов, и она частенько корила его:

— Вот отцовская кровь! Не может без лишних трудностей. Глаза ввалились, а все равно хорохорится.

— Да брось ты, мама, — нерешительно возражал Саня.

— Что бросать-то! Отец вон добросался, раньше срока в землю ушел. И ты хочешь? Или меня норовишь туда скорее загнать?

Этих слов Саня уже вынести не мог и умолкал, зато Левка, младший брат, обычно подначивал в таких случаях:

— Ну что ты, мать, сдерживаешь энтузиазм? Он ведь жаждет битв и подвигов, поисков и дерзаний.

— Ты-то хоть заткнись, — возмущался Саня.

— Правильно он тебе говорит. И не мешает у него поучиться рассудительности. Да и спокойствию. — Мать с теплотой смотрела на Левку. — Слава богу, хоть один в меня уродился.

— Да уж, — усмехался Саня, — ты у нас само спокойствие. Из-за такого пустяка и столько шума. А ты, мальчик, — обращался он к Левке, — не учись у родительницы, береги нервные клетки. Жизнь долгая, пригодятся.

Но Левка не нуждался в наставлениях.

От рождения уравновешенный и неторопливый, он рано приобрел внушительную осанку, говорил, несколько растягивая слова, и на собеседника посматривал насмешливо, словно понимал всегда такое, что недоступно другим. Год назад он закончил десятилетку, больше полугода проработал на заводе, и теперь ему предстояло идти в армию, поэтому частенько приходил домой поздно и нетрезвый. Мать не бранилась, понимая, что у парня кон-

чаются вольные деньки, не грех и повеселиться напоследок.

У матери всегда было к Левке особое отношение. В детстве он перенес операцию аппендицита и долго не мог поправиться. В школу пошел с опозданием, ребят боялся, а те, почувствовав его маломощность, частенько изголялись над ним. Много пришлось повозиться матери с младшим сыном, чтобы поставить его на ноги, — до сих пор не позволяла ему поднимать тяжелого, быстро бегать и вообще слишком утомляться. Левка со временем к этому привык и сам себя начал оберегать от излишних усилий.

— Ну что ты с ним носишься, мать, как курица с яйцом, — сердился Саня. — Вон уже какой лоб вымахал. На нем пахать можно, а ты все как с ребенком. В армию ведь скоро пойдет...

— Тем более не грех побаловать! Да и тебе не худо бы пожалеть его лишний раз. Он ведь твой младший брат. Парень всю жизнь недомогал, учеба трудно давалась — не то что тебе.

— Что ж ты обо мне так никогда не пеклась?

— Ты первый и старший, а он последний. Может, по молодости меньше за тобой смотрела. А потом ты всегда был очень самостоятельным, и я за тебя не тревожилась. А о нем все время сердце болит.

Последние годы мать жила вдвоем с Левкой. У них была неплохая квартира. Мать получала хорошую пенсию да и прирабатывала на соседнем хлебокомбинате; Санька учился в институте и жил в общежитии. Все шло хорошо. Чего еще желать матери? Разве только чтоб Саня почаше давал знать о себе.

Но Саня не любил писать письма. Кто знает, как скоро он ответил и на этот раз, если бы неожиданно не получил телеграмму от Левки: «Срочно приезжай. Мать положили больницу».

Саня, не повидавшись даже с Люськой Егоровой, отправился на вокзал и с первым проходящим поездом выехал.

«Господи! Что же такое случилось?» — думал он.

У матери частенько болело сердце, печень. Она пила какие-то таблетки, день-два отлеживалась в постели, и все сходило с рук. А тут?.. Если бы обычный приступ, Левка не подал бы такой телеграммы.

Прямо с вокзала Саня побежал в больницу. Его про-

пустили сразу, хотя был неприемный день, и это насторожило и напугало.

Он вошел в палату и растерялся от многолюдства.

Койки стояли вплотную, на них лежали, сидели, вязали, читали и просто разговаривали — и все женщины. С появлением незнакомого человека они смолкли.

— Я тут, Саша, — из дальнего угла улыбнулось материнское лицо.

Он подошел и содрогнулся от ее беспомощности и худобы.

— Испугался меня?

— Нет, нет! Ты выглядишь неплохо.

Он хотел погладить ее по голове, но побоялся, что и это прикосновение будет для нее болезненным, и отвел руку.

— Что с тобой?

— Фиброма, Саша, — горько сказала мать. — Нашли опухоль.

— Опухоль? — растерялся Саня.

— Не пугайся, — успокоила мать. — Пока, говорят, добroкачественная. Хорошо, что вовремя спохватилась, хвалят. А как тут не схватиться, если кровь ручьем хлестала.

— И много ты потеряла крови? — еще чего-то не понимая, переспросил Саня. — Хотя и так видно... — сказал он, разглядывая ее бледный лоб, ввалившиеся щеки, темные круги вокруг глаз. — Как же лечить тебя будут?

— Предложили операцию.

— Ты согласилась?

— Другого выхода нет. Да я и не боюсь. Меня только заботит...

— Что? — участливо спросил Саня.

— Видишь ли, мне не один раз делали переливание крови. Очень уж много я ее потеряла. А в запасе у них, говорят, почти ничего не осталось... Вот... Впереди еще операция, опять большие потери... Откладывать нельзя.

— Ну и что же? — не понимал пока Саня.

— Вот врачи и говорят, поскольку у вас два сына, оба молодые, здоровые, попросили бы, чтобы они компенсировали... Хотя бы частично...

— Чего компенсировать-то? — никак не доходило до Сани.

— Да кровь, — наконец сказала мать. — Если бы вы

сдали, то они и для меня бы жалеть не стали. А то у них нехватка...

— Нашла о чем беспокоиться, — облегченно вздохнул Саня, наконец все поняв. — Да пусть берут сколько влезет. Только боюсь, что она у меня ненормальная. Волют доброму человеку — и будет всю жизнь дурью маяться.

Мать заулыбалась, довольная, что сын так хорошо все принял. Но потом, приглядевшись к нему, погрустила.

— Совсем доходягой стал со своей учебой. А тут еще кровь откачивать...

— Брось ты. Матерям всегда кажется, что их дети слабенькие да бедненькие. А я второй год подряд держу в институте первое место по спринту. — И он не ушел из больницы, пока окончательно не переубедил ее.

Левка был дома. Он только что вернулся со смены.

— Завтра с утра ничего не ешь, пойдем на станцию переливания, — сказал Саша. — Ну, конечно, и не кури, и не вздумай выпить. Даже пива.

Левка коротко взглянул на брата, помолчал, потом спросил:

— Много надо-то?

— Да ерунда, не больше пол-литра.

— Пол-литра? Куда им столько?

— А ты знаешь, сколько ее нужно? Иногда приходится заменять всю кровь в человеке.

— М-да, — промычал Левка неопределенно.

— Ты чего, боишься, что ли?

— Да надоело быть подопытным кроликом. То одно, то другое.

— Но это ведь для матери.

— А-а... Брось ты! Ей нашей крови, может, и капли не перепадет, вся уйдет в общий котел, а там и без твоей хватает.

— Как раз не хватает.

— Значит, государству надо позаботиться, чтоб котел пополнялся. Увеличивать сеть доноров, платить им побольше. Кровушка все-таки... За так-то отдавать не хочется!

— Ну, ты-то пока ничего не отдал. Тем более за так. — Саша начинал сердиться.

— И не хочу! Что я, богаче всех?

— Хватит дергаться! Завтра с утра пойдешь со мной и сдашь, сколько скажут. Все!

Левка примолк, а наутро покорно шел следом за старшим братом.

Молоденькая девушка-лаборантка, бравшая у них кровь на анализ, ловко проколола каждому безымянный палец и размазала по стеклышкам красные капельки.

Результаты были готовы скоро.

— У вас отличная кровь. Универсальный донор, первая группа, — сказала она Левке. Тот кисло усмехнулся.

— А у вас, — обернулась она к Сане, — четвертая...

— Я знаю, — сказал Саня Уточкин, — и даже слышал, как она называется.

— Кровь эгоиста, — засмеялась девушка и вдруг спохватилась. — Болтаю с вами, а забыла спросить, вы не ели сегодня, не выпивали?

— Нет, нет, — успокоил ее Саня. — Но спрашивать об этом полагалось до анализа.

— Ничего, еще не поздно, — сама себя утешила сестричка. — Венерических заболеваний не было? — деловито допрашивала она.

— Бог миловал...

— Туберкулезом не болели, желтухой?

— Нет, нет, — механически повторял Саня.

— А я болел, — негромко сказал Левка.

— Чем?

— Желтухой.

— Тогда вы донором быть не можете. Зря я у вас и анализ брала, извините.

— Ничего, — еще не прияя окончательно в себя, произнес Левка и повернулся к Сане. — Я правда болел...

На станцию переливания крови Саня Уточкин пришел один.

Тоненькая девушка с чистым высоким лбом и густыми темными ресницами, бравшая кровь, не однажды спрашивала, не кружится ли голова.

— Кружится. Особенно когда смотрю в ваши глаза.

— Это пройдет, как только отсюда выйдете.

— Не уверен...

Потом Сане выдали разные справки: «для получения отдыха по месту работы», для оплаты, благодарность за безвозмездную сдачу крови.

— Спасибо, — улыбнулся Саня.

А последнюю бумажку — талон № 423 на обед в ди-

тической столовой — он оставил дома для Левки, кото-
рого, к сожалению, не застал, чтобы вручить лично. Он черк-
нул ему записку: «Кушай на здоровье. Больше не болей».

Перед отъездом Саня забежал к матери, сказал, что
все в порядке, и быстро помчался на поезд. Ему было
некогда: его ждала сессия, и впереди — самый ответ-
ственный экзамен.

К СБОРНИКУ ПРОЗЫ В. КОРОТАЕВА

Писатель не может ограничить себя каким-то единственным, раз и навсегда выбранным литературным жанром. Необходимость постоянного раскрытия своих возможностей, а также «сопротивление» материала то и дело заставляют обращаться к другим жанрам. Тем временем формы писательского самовыражения, влияя друг на друга, взаимно обогащаются.

Разумеется, далеко не каждый хороший прозаик способен писать, например, стихи. Но я почти убежден, что каждый хороший поэт может писать и прозу, если он в литературе «не мальчик, но муж», если всерьез относится к собственному призванию. Так же точно мне трудно представить настоящего драматурга, не способного написать рассказ, очерк или критическую статью.

Предлагаемый читателю сборник В. Коротаева — первая его книга прозы. До этого автор опубликовал несколько стихотворных сборников.

Что же дает прозаику его поэтическая, вернее, стихотворная школа? Очень многое. И в первую очередь, конечно же, ритмичность. Фраза у рассказчика, который умеет писать стихи, не может быть косноязычной. Кроме того, такой автор быстрее и легче находит свою интонацию, свой стиль, всегда отличающие добротную оригинальную прозу. Так же благотворно, мне кажется, ритм взаимосвязан с ощущением краткости и соразмерности, без которых невозможно умелое композиционное построение рассказа, повести или романа.

Таково, на мой взгляд, формальное, разглядываемое рационалистическим оком отношение поэзии к прозе... Истинные же отношения этих двух родов литературы необъятны и никогда не будут до конца объяснимы. И очень хорошо, что не будут. Поэзия в широком смысле этого слова потому и поэзия, что до конца необъяснима. Она живет сама по себе и тут же исчезает, когда ее начинают объяснять, разлагать на составные части и т. д. А то, во что она воплощена — в стихи, в прозу или в драму, — это, в конце концов, не так уж и важно.

В. Белов

СОДЕРЖАНИЕ

Повесть

Золотое донышко	3
---------------------------	---

Рассказы

Стояли две сосны...	127
С луком	131
Всех жаль	139
На молоко	148
Крюк	166
Перестарался	173
Морж	181
Матроха	189
Резолюция	199
Трофическая язва	204
На свидание	223
Кровь	231
В. Белов. К сборнику прозы В. Коротаева .	238

Коротаев В. В.

К68 На свидание: Повесть и рассказы/Послесл.
В. Белова. — М.: Мол. гвардия, 1978. — 239 с.

В повести и рассказах вологодского писателя В. Коротаева, автора десяти поэтических книг, показана жизнь современной деревни. Герои повести «Золотое донышко», молодые сельские учителя, сталкиваются в своей практике с людьми разных возрастов, взглядов и положений. Высокое чувство долга помогает им найти верный путь в трудном деле воспитания школьников. В рассказах повествуется о сельской и городской жизни. Автору удалось нарисовать живые непривычные характеры, показать высокие душевые качества наших современников.

Р2

№ 70302-244 Б3-45-029-78
078(02)-78

ИБ № 1473

Виктор Вениаминович Коротаев

НА СВИДАНИЕ

Редактор **И. Гнездилова**

Художник **С. Соколов**

Художественный редактор **Н. Печникова**

Технический редактор **А. Михайловская**

Корректоры **А. Долидзе, Г. Василёва**

Сдано в набор 24/IV 1978 г. Подписано к печати 6/IX 1978 г.
А05992. Формат 84×108^{1/32}. Бумага № 1. Печ. л. 7,5 (уд. 12,6).
Уч.-изд. л. 13,1. Тираж 200 000 экз. (100001—200000) Цена
90 коп. Б З. 1978 г., № 45. п. 029. Заказ 633.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии:
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.